books2ebooks.eu

Кохановская

Повести Кохановской.

Москва : [б.и.]
1863

eBooks from your library by
eBooks on Demand
digitised by
University of Tartu Library
UNIVERSITY OF TARTU
LIBRARY

EOD – Millions of books just a mouse click away! In more than 10 European countries!

Thank you for choosing EOD!

European libraries are hosting millions of books from the 15th to the 20th century. All these books have now become available as eBooks – just a mouse click away. Search the online catalogue of a library from the eBooks on Demand (EOD) network and order the book as an eBook from all over the world – 24 hours a day, 7 days a week. The book will be digitised and made accessible to you as an eBook.

Enjoy your EOD eBook!

- Get the look and feel of the original book!
- Use your standard software to read the eBook on-screen, zoom in to the image or just simply navigate through the book
- *Search & Find*: Use the full-text search of individual terms
- *Copy & Paste Text and Images*: Copy images and parts of the text to other applications (e.g. word processor)

Terms and Conditions

With the usage of the EOD service, you accept the Terms and Conditions provided by the library owning the book. EOD provides access to digitized documents strictly for personal, non-commercial purposes. For any other purpose, please contact the library.

- Terms and Conditions in English: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/en/agb.html
- Terms and Conditions in Estonian: http://books2ebooks.eu/odm/html/utl/et/agb.html

More eBooks

Already a dozen libraries in more than 10 European countries offer this service.
More information is available at http://books2ebooks.eu

ПОВѢСТИ

КОХАНОВСКОЙ.

ТОМЪ I.

МОСКВА.
1863.

Одобрено цензурой, Москва 10-го января 1863 года.

Въ типографіи Бахметева.

Товарищамъ
отъ П. Шемякина

ОГЛАВЛЕНІЕ I ТОМА

Послѣ обѣда въ гостяхъ . . . . . 1.
Изъ Провинціальной галлереи портретовъ . . . . . 65.
Старина . . . . . 179.

ПОСЛѢ ОБѢДА ВЪ ГОСТЯХЪ.

ПОСЛѢ ОБѢДА ВЪ ГОСТЯХЪ.

Я, право, не помню болѣе пріятнаго послѣ-обѣда.

Амфитріонъ былъ предводитель,

однако пира никакого не было. Мы просто поѣхали на лѣтній деревенскій чай...

Еще въ передней, отдавая человѣку на руки бурнусъ, я, по двумъ словамъ, долетѣвшимъ изъ зала, уже знала, о чемъ идетъ въ обществѣ разговоръ. Но съ этимъ вмѣстѣ можно было опасаться, что едва ли не сдѣлали мы непростительной неловкости... Мы попали на обѣдъ; иначе зачѣмъ бы всѣмъ этимъ женскимъ голосамъ слышаться въ залѣ?

Но я ошиблась. Обѣдъ кончился; только общество, вѣроятно застигнутое концомъ его въ самомъ жару начавшагося разговора, не захотѣло оставить своихъ мѣстъ и сидѣло за обѣденнымъ столомъ съ чашками кофе. Поданъ былъ десертъ.

— А! нѣсколько протяжно произнесла предводительша, впрочемъ съ достаточною любезностію и немножко удивленною улыбкой.

Ну, это еще ничего, подумала я.

Нѣсколько мущинъ встало, чтобъ уступить намъ мѣста.

Наше прибытіе не могло имѣть того значенія, чтобы совершенно пріостановить разговоръ и дать ему другое направленіе. Чрезъ нѣсколько минутъ разговоръ возобновился и съ тѣмъ немного усиленнымъ жаромъ, который всегда бываетъ слѣдствіемъ неожиданнаго и насильственнаго перерыва. Предметъ былъ въ высшей степени занимательный для разговора въ гостиной; супруги, женившіеся по страсти—громкимъ романомъ ихъ любви наполнены были двѣ губерніи,— и вотъ не прошло трехъ лѣтъ, они разъѣхались. Одни, какъ водится, во весь голосъ обвиняли жену; другіе не оправдывали мужа. Нашелся благоразумный человѣкъ, который замѣтилъ, что семейныя дѣла трудно судить. Вѣроятно, и мужъ не правъ, и жена виновата. Но этимъ мудрымъ рѣшеніемъ никто не удовольствовался. Голоса, державшіеся противоположныхъ мнѣній, были довольно равносильны, и разговоръ шелъ, не ослабѣвая, съ живымъ одушевленіемъ съ обѣихъ сторонъ. Не имѣя права подавать свой голосъ въ вопросахъ такого рода, я встала отъ стола, будто желая снять шляпку, и осталась у окна.

Занявши это выгодное мѣсто, въ верхнемъ концѣ комнаты, я могла окинуть взглядомъ все собравшееся въ ней общество. Предводитель, махнувъ рукою на застольную бесѣду, съ полнымъ числомъ партнеровъ, отправился къ бесѣдѣ вокругъ зеленаго стола. Два лица въ залѣ были совершенно отдѣлены отъ прочихъ: я у окна и, по продольной стѣнѣ, подъ большимъ олеандровымъ деревомъ, сидѣвшая дама въ чепцѣ. Спиною къ этой дамѣ сидѣли двое мущинъ, и ни одного слова, ни взгляда хозяйки не было обращено въ видѣ какого-либо вниманія, или малѣйшаго отношенія къ уединенной гостьѣ. Я хорошо понимала, что это была бѣдная мелкопомѣстная дворянка, пріѣхавшая, вѣроятно, по какому-нибудь дѣлу къ предводителю, и, разумѣется, со стороны предводительши было и того слишкомъ достаточно, что она давала ей стулъ у себя въ залѣ и еще подъ олеандромъ. Но гостья, кажется, не считала себя удовлетворенною. Повиди-

мому, ей страхъ хотѣлось приложить свое слово къ общему разговору. Губы у нея слегка перемигались; она покашливала и посматривала на всѣхъ, не сидѣлось ей спокойно на стулѣ; но все это было напрасно. Разговоръ и безъ нея шелъ; гостью не замѣчали. Мы встрѣтились съ нею взглядами и, кажется, обѣ мы не нашли другъ въ другѣ ничего особеннаго. Не могли же мнѣ казаться особенностями загорѣлый цвѣтъ лица помѣщицы, ея нехоленныя ручки... Женщина, у которой, можетъ быть, трое-четверо дѣтей, которая доставляетъ имъ въ потѣ лица кусокъ насущнаго хлѣба, вѣроятно, вдова (иначе бы мужъ пріѣхалъ хлопотать къ предводителю), и требовать отъ нея того же изящества тѣхъ же бѣлыхъ рукъ и нѣжнаго лица, какъ у знатной дамы, которая переходитъ отъ зеркала къ дивану и отъ дивана къ зеркалу,—смѣшно бы было такое требованіе. И потому мнѣ вовсе не казались смѣшными ни простенькій чепчикъ помѣщицы съ лиловенькими ленточками, ни ея довольно короткое шелковое платье съ какимъ-то *стро-нѣмецкимъ* отливомъ. Мое вниманіе слегка остановилось на мелкихъ, не дурныхъ чертахъ лица помѣщицы, которыя въ свое время были вѣроятно очень живы и милы. Нѣсколько времени смотрѣла я на нее такимъ образомъ, и вдругъ почувствовала, что я такая же лишняя гостья въ этомъ обществѣ, какъ и бѣдная дворянка, забытая въ углу надменною хозяйкой; мнѣ стало неловко, и мною овладѣло неопреодолимое желаніе уйдти куда-нибудь.

Чтобы не вдругъ оставить залъ и сдѣлать это съ бо́льшею непринужденностію, не слишкомъ замѣтно и рѣзко, я встала, будто любуясь цвѣтами, и мало-по-малу осматривая ихъ, пдя и останавливаясь, я вступила въ гостиную. Я вздохнула свободнѣе, скрывшись такимъ образомъ изъ круга зрѣнія предводительши, и спокойно погрузилась въ созерцаніе прекрасныхъ фамильныхъ портретовъ, висѣвшихъ по стѣнамъ. Не знаю, долго ли простояла я въ раздумьи передъ напудренными дѣдушками и нарумяненными бабушками предводителя,

но мои мысли унеслись далеко отъ чопорнаго общества, собраннаго въ сосѣдней комнатѣ, далеко отъ интереснаго разговора, долетавшаго отдѣльными словами до моего слуха.

— Она, матушка, виновата, послышала я шопотъ у себя надъ ухомъ.—Тамъ, что̀ ни говори, а гдѣ мужъ и жена не въ ладахъ—жена виновата...

Владѣя совершенно здоровыми нервами и достаточнымъ чувствомъ приличія, чтобы спокойно принять подобную нечаянность, я отклонилась немножко въ сторону и полнымъ взглядомъ смотрѣла на госпожу помѣщицу, говорившую мнѣ это.

Я еще нѣсколько прежде замѣтила, что она оставила свой стулъ подъ олеандромъ (думаю—къ великому удовольствію предводительши) и пересѣла на стулъ у самыхъ дверей гостиной; но какъ она оттуда перебралась подалѣе, вступила въ гостиную и подошла ко мнѣ, этого я, истинно могу сказать, не слыхала.

Приподнимаясь и оправляя нѣсколько раскинувшееся платье чтобъ этимъ самимъ предоставить возлѣ себя мѣсто моей неожиданной собесѣдницѣ, я не могла воздержаться отъ маленькой улыбки.

— Такъ *она* виновата? спросила я.

— Она, матушка! сѣла, возлѣ меня, моя собесѣдница, покручивая немного головою, и начала живо пересказывать мнѣ все, что̀ я знала и чего не знала, что̀ слышала и не дослышала изъ разговора въ гостиной. — Свѣтъ бѣлый на томъ стоитъ, что жены мужьями мудрятъ, охъ, мудрятъ!

— Все это такъ,—давала я волю своей маленькой веселости: но извините меня, имени и отчества не знаю....

— Любовь Архиповна, подсказала помѣщица.

— Извините меня, Любовь Архиповна; но кажется не вамъ бы такія рѣчи говорить и не мнѣ бы слушать.

— Какія, матушка? спросила помѣщица, съ той безсознательной, летучей насмѣшливостію, которой такъ часто и очень мило проговаривается нашъ простой народъ. — Под-

линно, неслыханныя рѣчи, что жена мужа на поводочкѣ ведетъ!

— Да вѣдь вы не водили вашего?

— А вамъ кто сказалъ, что не водила? перенимая мою живость и почти тонъ голоса, передразнила меня Любовь Архиповна.—Вотъ то-то и есть, что водила. Коли бъ не водила, то и не говорила бъ.

На такой аргументъ возражать было нечего. Я немножко примолкла.

— Вотъ вы и замолчали, сказала Любовь Архиповна, заглядывая съ участіемъ мнѣ въ глаза. — А я, матушка, за цѣлые полдня намолчалась, и больше молчать не приходится... Нѣтъ-таки, вы посмотрите на меня, прибавила, трогая меня потихоньку рукою, разговорчивая помѣщица. — Какъ я вамъ показываюсь?

— Въ какомъ отношеніи? сказала я, весело смѣясь и протягивая руку къ рукѣ Любовь Архиповны, теребившей мой кисейный рукавъ.

— А, ничего, славная кисейка на васъ. По чему за аршинъ платили?.. Я все, матушка, въ томъ отношеніи, что жены мужьями мудрятъ, продолжала Любовь Архиповна. — Вы, можетъ-быть, думаете, гдѣ-то мнѣ было такой мудрости взять?

— Нѣтъ, я этого не думаю, сказала я утвердительно.

И въ самомъ дѣлѣ, вглядѣвшись попристальнѣе въ Любовь Архиповну, въ ея живые пріемы, въ легкую и частую улыбку, замѣчая невольно что-то милое, нетерпѣливое, что немного выказывалось въ глазахъ и вѣроятно находилось въ характерѣ, нельзя было съ увѣренностію отрицать, чтобы у Любовь Архиповны не нашлось той мудрости, на которой бѣлый свѣтъ стоитъ.

Но вопросъ: зачѣмъ ей меня-то увѣрять въ этомъ? И что за причина такого ея одушевленія, съ которымъ она и мнѣ бы то говорила, и тамъ бы она слушала, словечка не проронила.

— Нѣтъ, моя родная, не въ моготу мнѣ! молвила Любовь Архиповна, поворачиваясь такимъ порывистымъ движеніемъ, что причудливая эластическая мебель, на которой мы сидѣли, не смотря на ея англійскія пружины, русскимъ ходенемъ заходила подъ нами.

— Потише, Любовь Архиповна. Вы надѣлаете бѣдъ, вынуждена была я немного предостеречь.

— Тихости, мать моя, негдѣ взять, разводя руками отвѣчала Любовь Архиповна.—Вишь, что̀ поетъ эта большая барыня! Послушать ее, такъ во всякой винѣ мужья виноваты; а женъ бы вотъ собралъ всѣхъ, да и посажалъ подъ святые, только бы что не молился на нихъ... Знаемъ мы про большихъ барынь! Я, матушка, и небольшая барыня, а вотъ вы послушайте-ка...

И прежде чѣмъ я хорошенько поняла, что Любовь Архиповна собирается мнѣ разсказать что-то, Любовь Архиповна уже разсказывала мнѣ:

— Было насъ у покойницы матушки трое—три, то-есть, родныхъ сестрицы: Аграфена Архиповна, Палагея Архиповна...

— Но, Любовь Архиповна, перервала я: — о чемъ это рѣчь идетъ?

— О томъ, моя сударыня, что пятница напередъ четверга не суйся. Послушаешь, узнаешь, какъ жены мужьями мудрятъ (невѣдомо, какими судьбами, Любовь Архиповна уже говорила мнѣ *ты*).

— Такъ вотъ такъ-то, подтвердила она:—было насъ три родныхъ сестрицы, и всѣ-то мы, значитъ, на возрастѣ; хоть сейчасъ трехъ разомъ подъ вѣнецъ веди и всѣхъ насъ матушка за одинъ ряженый столъ сажай, — изъ малолѣтокъ вышли. Ну, намъ-то веселье, разливанное море, пѣсни да затѣи. Чуть матушка покойница ногой переступила за порогъ, ужъ двѣ изъ насъ пѣсни поютъ и въ щелчки прищелкиваютъ, а третья въ пляску идетъ — веселись душа, пока жизнь хороша... Такъ-то, присказала Любовь Архи-

повна.—И не величекъ домикъ былъ, да веселья дѣвичьяго много.

— Большое веселье, Любовь Архиповна, что вы украдкой напоетесь и наплящетесь, пока матушки дома нѣтъ. А вы хорошо плясали? спросила я.

— А какъ ты изволишь думать? въ свою очередь живо спросила Любовь Архиповна, заглядывая мнѣ со стороны въ глаза.—Такъ-то хорошо, душа моя, что и теперь, вспоминаючи, не грѣхъ добрымъ людямъ сказать: заподлинно, матушка, хорошо.

Почему то моей собесѣдницѣ очень пришлась по сердцу маленькая моя улыбка. Она привѣтливо кивнула на меня головою.

— Вотъ послушай, сударыня моя, сказала она.—Это вы нынче стали такія топныя да манерныя, молодыя барышни, что безъ разныхъ прикрасъ и затѣй и веселья вамъ молодаго нѣту. Смѣетесь вы и будто не смѣетесь, Христосъ съ вами! Сказать бы — и кровь-то молодая забыла играть въ васъ. Ни плеску, ни той-то радости, ни заливнаго голосу веселаго—пѣсни, чтобъ за сердце брала, не слыхать въ васъ!

— Что дѣлать, Любовь Архиповна, не весело живется.

Любовь Архиповна встала грозой на меня.

— А какой вамъ жизни еще надобно? Что, вы больше нашего боитесь, или слушаетесь матерей своихъ? Иль сказать бы вамъ, бѣднымъ, повеселиться некогда: работой вы завалены съ утра до ночи?.. Какъ же! И Любовь Архиповна потянула меня за рукавъ.—Небось, вотъ платьеце, а ты къ нему ручки не приложила. Все нынче на васъ швеи да мадамы шьютъ. Такъ что жъ вы дѣлаете, коли и этого женскаго дѣла, юпки, не сработать вамъ?

Я хотѣла было очень живо возражать, но Любовь Архиповна еще живѣе остановила меня.

— Постой, матушка, обожди говорить... Не весело вишь живется вамъ! А кабы ты пожила, хоть бы примѣромъ сказать, у моей матушки-покойницы, не тѣмъ будь помянута.

Одно слово, что Курская была. Ходи по стрункѣ, да и оглядывайся. Досужая была,—такъ я и не знаю, гдѣ бы того досужства взять. Ни минуточки она не сгуляетъ; а намъ-то, думаешь, гульба была? Коли и платьеце какое купили, такъ матушка знать того не знаетъ, когда ты будешь кроить ли, шить ли его; ей до того дѣла нѣтъ. «Дѣвка на возрастѣ найдетъ себѣ время нарядиться», говаривала покойница. А ты изо дня въ день кружево плети да плети, греми коклюшками, чтобъ ихъ нелегкая взяла!.. А вотъ веселились же! Тотчасъ послѣ нелегкаго поминанья коклюшекъ, весело и живо улыбнулась мнѣ Любовь Архиповна. — Купянку изволишь знать?

— Какъ же! отвѣчала я.—Уѣздный городъ, хотя нѣсколько иначе называется.

— Городъ ли, деревня, въ мое время бывало не сразу разберешь; только потому будто и признаешь за городъ, что бабы на улицахъ бублики продаютъ. Ну, да все же, душа моя, городъ,—съ свѣтлымъ какимъ-то умиленіемъ сказывала Любовь Архиповна.—Церкви Божіи на красу стоятъ все каменныя да пятиглавыя; яблоки подъ крестами, какъ одно, всѣ золоченыя. Не чаешь дождаться праздничка Господня; а какъ дождешься-то его, да колокола загудутъ, народъ валомъ повалитъ въ церкви и сама-то идешь между народу, вырядившись: платьеце на тебѣ цвѣтное, да береженое; матушкины большія серьги въ ушахъ, да еще какъ угораздишь алую ленту вокругъ головы положить и бантомъ съ боку пустить—фу, ты, душа моя! Кажется, что краше-то тебя, молодой, и во всемъ мірѣ нѣтъ! Идешь, земли подъ собою не слышишь.

— Ахъ, моя милая Любовь Архиповна! сказала я.

— Вотъ то-то и есть, что милая, сказала она. — Послѣ обѣдни выйдешь на паперть, такъ это благочинно, тихо; остановишься на крылечкѣ съ подругами поговорить. Говоришь, будто и не глядишь никуда; а видишь, что судейскіе молодые господа на тебя всѣ глаза просмотрѣли. Пой-

демъ мы это барышни, за руки взявшись, вокругъ церкви пройдтись, и они слѣдомъ тихонечко за нами. Остановятся гдѣ-нибудь такъ, чтобы мы ихъ проминули, заложатъ руки въ карманы и ждутъ насъ. Только-что мы поравняемся съ ними, а они и заговорятъ къ намъ: «Какія вы, барышни, распрекрасныя: хорошія да пригожія! Хотъ бы намъ у нашего судьи съ большаго носу очки снять, да въ четыре глаза смотрѣть на васъ.»—Глядите себѣ хоть въ пятеро, отвѣтимъ мы: да мы-то на васъ и однимъ глазомъ не посмотримъ. И пойдемъ себѣ, будто намъ и нужды нѣтъ; а все-таки потихонечку посматриваемъ... Таковъ себѣ, матушка, дѣвичій глазъ, заключила Любовь Архиповна: онъ и не глядитъ будто, а что̀ ему надобно, видитъ.

— Далѣе что, Любовь Архиповна? смѣясь отъ души, молвила я.

— Далѣе всего бывало, родная моя. Сама изволишь знать: дѣвичье время молодое... И въ окошечко головою кивнешь, хоть и матушка тутъ на носу сидитъ. «Что ты это раскивалась?» скажетъ. «Надъ коклюшками дремота напала.» А ты и станешь рукой глаза потирать, будто оно въ самомъ дѣлѣ отъ дремоты .. Я, матушка, разудалая была! сказала мнѣ Любовь Архиповна.—Сестрицы ростомъ, дородствомъ взяли, такія себѣ были высокія да хорошія, а я, изволишь меня видѣть, не величка; но по пословицѣ, душа моя: не величка птичка, да ноготокъ востеръ. Ужъ востра была, что и не знаю, какъ сказать тебѣ... Ну то-есть огонь, что воду прожегъ. Какія отъ меня затѣи вставали, такъ доведись на другую—десять бы разъ она на день бранена и бита была, а я нѣтъ. На что матушка и Курская была, и она шутокъ не любила, а я такъ-сякъ, а увернусь, изъ воды сухая выйду... Вѣдь сама научилась на гитарѣ играть! Никто мнѣ и разу не показывалъ; только слухомъ послышала, и гитару-ту, можно сказать, изъ-подъ земли выкопала!

Любовь Архиповна остановилась немного духъ перевести.

— А что тѣ пѣсни! продолжала она, взявъ себя за щеку

рукою и потомъ махнула ею, какъ говорится, на пропалую... —Таковы мнѣ бывали пѣсни: что лучше ты меня медомъ не корми, а пѣснею помани. Вечеркомъ матушка прокурлыкаетъ себѣ какую пѣсенку; а я уже переняла, и на утро во весь голосъ пою. Русскія ли, хохлацкія ли пѣсни, какую хочешь, подавай мнѣ! На все, про все у меня пѣсня была. Взглянула на плетень—

Заплетися, плетень, заплетися;
Ты завейся, парча золотая...

По двору утки идутъ—

Ахъ, свѣтъ, сѣра утица!
Потопила малыхъ дѣтушекъ
Въ медѣ и въ сахарѣ.

Былъ у насъ, матушка, живо говорила мнѣ Любовь Архиповна:—ни медъ и ни сахаръ, а такъ славный, хорошій человѣкъ: Лукьянъ Алексѣевичъ Замошниковъ. Онъ откуда-то родомъ изъ-за Тулы былъ и что-то уже мои пѣсни любилъ... слаще меду и сахару. Онъ мнѣ и ленту на гитару подарилъ. Случится гдѣ на вечеринкѣ, или такъ соберутся гости, да если ему чарочка попала въ голову, онъ уже не отойдетъ отъ меня. «Спой ты мнѣ, матушка, такую пѣсню, чтобъ Замошниковъ, Лукьянъ Алексѣевичъ, не усидѣлъ, не улежалъ».

— И вы пѣли? Ну-те, милая, Любовь Архиповна, какую вы пѣли? допрашивалась я.

Любовь Архиповна зорко поглядѣла вокругъ. По видимому, воспоминаніе о той пѣсни, которая должна была имѣть уносящую русскую силу, не дать Замошникову, Лукьяну Алексѣевичу, ни усидѣть, ни улежать, это вспоминаніе подвигло и самую Любовь Архиповну. Она не усидѣла. Приподнялась было, опять сѣла, поворотилась и ударила меня чувствительно по плечу.

— Эхма! сказала она.—Коли-бъ не эти большія хоромы да большіе господа!..

— Такъ вы бы пропѣли мнѣ, Любовь Архиповна? Но если нельзя спѣть, то хотя слова... просила я.

— Что, матушка, слова? Пѣсня безъ голосу все равно, что сказалъ слѣпой—посмотримъ, а глухой—послушаемъ.

Но Любовь Архиповна, призадумавшись было немного, опять улыбнулась.

— Ну, да вѣдь я и знала, мать моя, какую ему пѣсню спѣть, чтобъ у Лукьяна Алексѣевича всѣ жилки заиграли. Онъ изъ себя толстый да вальяжный былъ; брюхо у него большое, какъ чанъ выпятилось, вотъ я и начну:

Ахъ, и модная, манерная сударушка моя!
Ахъ, и ты меня, сударушка, высушила...

Лукьянъ Алексѣевичъ уже на мѣстѣ не стоитъ. Притопываетъ и приговариваетъ слово: *высушила!*...

Безъ морозу ретивое сердце вызнобила;
Пустила сухоту по моему животу;
Разсыпала печаль по моимъ яснымъ очамъ;
Присушила черны кудри ко буйной головѣ:
Заставила ходить по чужой сторонѣ;
Приневолила любить чужую мужнюю жену...
Ахъ, чужая-то жена лебедь бѣлая моя.
А моя ли-то жена—полынь горькая трава,
На межѣ въ полѣ росла.

— Что же Лукьянъ Алексѣевичъ? спрашивала я.

— Да что, матушка? отвѣчала Любовь Архиповна, — не то усидѣть ему, или улежать: пробовали по двое за руки держать, и не удержатъ. Какъ запоешь ему: *ретивое*, да еще, знаешь, этакъ поведешь голосомъ, чтобы за сердце защемило, кончено все! Обложи путами желѣзными Лукьяна Алексѣевича, и путъ бы не стало! Какъ конь какой ретивый, метнется онъ въ сторону и въ другую, и удержу ему нѣтъ! Призагнетъ, отведетъ голову, пораскинетъ руками, да какъ пустится въ чудодѣйской плясъ — ахъ, мать моя да сырая земля! выноси меня! Вы раздайтесь, разступитесь, добрые люди! И уже раздавайся, матушка... Все-то то было! сказала Любовь Архиповна, въ самомъ краткомъ промежуткѣ между сильнымъ одушевленіемъ и немалымъ сожалѣніемъ... «Ста-а-рый, старый!» говоритъ бывало глядя на него, смѣ-

ючись, Марья Кондратьевна, какъ я пою ему, а онъ выплясываетъ:

А моя ли-то жена — полынь горькая трава...

— А сами вы не плясывали съ Лукьяномъ Алексѣевичемъ? спросила я.

— Можетъ быть, и случалось, сказала Любовь Архиповна,—да нѣтъ! Я переборчива была и не вотъ-то развернусь со всякимъ въ пляску пойдти. Довольно было съ Лукьяна Алексѣевича, что я ему пѣсни пѣвала... И какъ я окончу, матушка, онъ передо мною даже на колѣнки станетъ и въ обѣ щеки меня расцѣлуетъ. Усядется возлѣ меня и слезами плачетъ, что молъ обидѣлъ его Господь Богъ, и Марья Кондратьевна наперекоръ пошла, все ему дочерей народила. А коли-бъ у него сынъ-то былъ, онъ бы меня за сына любимаго взялъ, невѣсткой бы я ему была.

— И вы, Любовь Архиповна, жалѣли вмѣстѣ съ Лукьяномъ Алексѣевичемъ? сказала я.

Но я вовсе не то хотѣла сказать. Эти слова были съ моей стороны маленькимъ женскимъ лукавствомъ, чтобы незамѣтнѣе и ловчѣе провести другой вопросъ.

— Какъ же! отвѣчала Любовь Архиповна. — «Плакалась баба за бочкою. А въ бочкѣ что? Да ничего.»

— Будто?.. спросила я.—Но, милая Любовь Архиповна, если вы не плакались за сыномъ Лукьяна Алексѣевича, котораго на свѣтѣ не было, и не плясалось вамъ съ самимъ Лукьяномъ Алексѣевичемъ, который уже вовсе былъ не пустою бочкой, то съ кѣмъ же вамъ плясалось, Любовь Архиповна?

— А съ тобою, моя милая, коли ты на свѣтѣ была.

— Что же, Любовь Архиповна, сказала я обидчиво: — это шутка, а не отвѣтъ.

— А тебѣ какого бы желалось отвѣта? Чтобы я всѣ свои дѣвичьи дрязги разтрясла тебѣ? Трясти-то, душа моя, нечего, сказала Любовь Архиповна съ увѣрительною улыбкой.— Мы у матушки подъ колоколами жили.

— Любовь Архиповна! да у сердца-то свой колоколъ, и онъ звонитъ безъ батюшки и безъ матушки.

— Разсказывай! кивнула мнѣ головою Любовь Архиповна.— Коли-бъ отшибли языкъ у твоего колокола, не сталъ бы звонить... Да нѣтъ таки! сказала она съ живымъ переходомъ рѣчи...—Нѣтъ-таки, надобно правду сказать, такая у меня веселая голова была, что и дѣвичья тоска къ сердцу не приставала. И нуждушки мнѣ ни о чемъ такомъ не было. Лишь бы мнѣ попѣть да поплясать, въ томъ вся моя зазноба была. И спасибо матушкѣ: уже въ будни не дастъ она тебѣ минутки сгулять; за то въ праздникъ гуляй, твоя воля, хоть на головѣ ходи, только платье пуще глазу береги: Боже сохрани порвать.... Отстояли обѣдню, пообѣдали, и ступай себѣ хоть на всѣ четыре стороны. Сама ли къ барышнямъ пойдешь (хоть къ протопопскимъ, или къ частной приставшѣ, и у Лукьяна Алексѣевича славныя барышни были, говорила Любовь Архиповна), или онѣ это соберутся къ намъ, уже матушка ничего. Гляди, еще сама со двора сойдетъ, чтобы намъ повольнѣе да попросторнѣе было.

— И вотъ здѣсь-то, я думаю, Любовь Архиповна, на своей волѣ да на просторѣ?

— И, матушка! что говорится, дымъ коромысломъ встаетъ; не знаешь, какъ та крыша на домѣ держится. Скоро намъ въ комнатахъ душно и тѣсно станетъ, и къ тому опасаешься, чтобы не разбить чего и платьемъ тожъ не зацѣпить; вотъ мы и шугнемъ, перелетныя птицы, на дворъ. По улицѣ-то провести хороводъ нельзя, стыдно барышнямъ — мы ворота на запоръ и пошелъ танокъ. Не чувствуешь, снѣгъ ли есть подъ ногами, такъ тебѣ жарко въ портяныхъ чулочкахъ да въ башмачкахъ, съ открытыми головами! А лѣтомъ и того вольнѣй. Въ садъ сейчасъ, въ зеленъ виноградъ, или еще подалѣе съ глазъ — на лужокъ къ огороду, и пошелъ завиваться танокъ:

Вьюнъ на водѣ,
Вьюнъ на водѣ,
Вьюнъ на водѣ,
Увивается!

прищелкнула Любовь Архиповна. А сама я, матушка, вьюсь, какъ ни одному вьюну до вѣку не снилось. И этакъ часовъ семь какъ пропоешь да пропляшешь на всѣ лады, оно и дастся тебѣ знать. Измаешься такъ, что лишь бы до постели добраться: упадешь на подушку какъ убитая; не въ мочь тебѣ и Богу помолиться. Только развѣ въ дремотѣ, какъ малое дитя, перекрестишься, да себѣ на умѣ скажешь: слава Богу, вотъ я напѣлась и наплясалась вдоволь.

У меня мелькнула мгновенная странная мысль: возникаетъ ли когда въ насыщенной и пресыщенной удовольствіями свѣтской блистательной дѣвушкѣ подобное же чувство, которое посѣщало ея меньшую сестру старосвѣтскую барышню, и хотя разъ въ жизни случилось ли той заснуть, послѣ блестящаго бала, съ этимъ лепетомъ радостной молодой души: слава Богу, вотъ я напѣлась и наплясалась вдоволь?

Любовь Архиповна не дала мнѣ подумать объ этомъ.

— Коли уже говорить, то говорить, душа моя, сказала она, ласково трогая меня. — Полюбила я тебя. Какую я тебѣ оказію разскажу, хочешь послушать?

— Говорите, милая Любовь Архиповна! Я всякія оказіи люблю.

— Ну мы, значитъ, сошлися съ тобою по душѣ, и я люблю, сказала Любовь Архиповна, прихлопывая меня съ ласкою по рукѣ. Такъ вотъ слушай происшествіе:

«Говорила я тебѣ, какъ мы это, барышни, собравшись, веселимся, бывало, да не досказала всего. Уже изволь сама смекать своимъ умнымъ умомъ, какъ это такъ невзначай бывало; чуть матушка со двора, а мы, барышни, на дворъ танки водить, глядь-поглядь—изъ одного угла, изъ другаго, смотри, изъ саду, изъ курятника явятся, словно имъ кличъ кликали, всѣ молодые господа, сколько ихъ въ городѣ есть, и еще опричь баринъ одинъ (тутъ-таки не далечко въ имѣньицѣ

жилъ) и съ нимъ другой еще баринъ и философъ туда же. отца протопопа племянникъ... Ну, съ этимъ умора была! Всегда выберетъ себѣ такое мѣсто, откуда его никоимъ путемъ не чаешь. Разъ вылѣзъ изъ пустой бочки, въ которой капусту сѣкутъ, и еще говоритъ: «Я, барышни, не къ вамъ, я къ сестрицамъ.»—Убирайся себѣ, братецъ; намъ тебя и духу не надо... Ну, а въ хороводѣ мѣсто дадимъ. Такой уже чинъ: веселись, не обижай никого. Вотъ такимъ это манеромъ собрались мы разъ по веснѣ къ барышнямъ Лукьяна Алексѣевича (самого-то Лукьяна Алексѣевича я къ матушкѣ отпровадила, Марья Кондратьевна къ протопопшѣ на чай пошла, остались мы однѣ, молодой народъ). «Что, въ самомъ дѣлѣ? говоримъ. Отъ этихъ подсудковъ отбою нѣтъ. Нельзя разу пѣсни спѣть, чтобъ ихъ нелегкая не нанесла со всѣхъ сторонъ. Еще, пожалуй, скажутъ, что мы для нихъ-то и затѣи всѣ затѣваемъ. Невидаль какая! Не хотимъ. Запремъ ворота, чтобъ тутъ ихъ и носу не было.» И заперли мы. А у Лукьяна Алексѣевича дворъ русскій, кольцомъ былъ: хоть волкомъ вой, не прорвешься. Весело намъ, что мы такую штуку сыграли баричамъ тѣмъ и философу и всѣмъ подсудкамъ. Пустились мы въ садъ, и я запѣла, что ни самую плясовую:

По болоту хмѣль вьется, стелется—
Увивается;
На боярской дворъ головицами,
Маковицами...

«Хороводъ у насъ на славу идетъ. Смотримъ мы, начали они сбираться; походили, походили вокругъ, нигдѣ доступу нѣтъ, и собрались они всѣ за плетнемъ позади сада. А плетень у Лукьяна Алексѣевича хозяйственный былъ: высокій, чуть не въ косую сажень, и еще, чтобы мальчишки за яблоками не лазили, по немъ по всему острехи были изъ терну положены. То-есть, ежомъ такимъ щетинистымъ торчитъ плетень, что къ нему не суйся. Горе беретъ нашихъ молодцовъ. Ужъ они его со всѣхъ сторонъ обходили и об-

нюхали. «Чортъ, не плетень!» говорятъ. А мы заливаемся пѣснями, будто намъ и нуждушки нѣтъ. Я то отведу хороводъ за деревья, спрячу его совсѣмъ, только голоса льются; то опять разверну его передъ самымъ плетнемъ... «Барышни, просятъ они: отворите калиточку.»—Матушка изъ-дому пошла и ключи съ собою унесла. Возьмите изъ-за пояса?—Нечего съ горя дѣлать, припялись они намъ подтанцовывать за плетнемъ. Съ ними тамъ гудокъ былъ, скрипка и балалайка, филозофъ на козѣ игралъ, да нѣтъ, сердечнымъ не танцуется. Давай они опять просить. «Барышни! говорятъ: вѣдь вотъ вамъ и филозофъ скажетъ, что Богъ и грѣшникамъ двери рая отверзаетъ: отворите калиточку». Я таки на славу провела передъ ними кривой танокъ, установила всѣхъ барышень въ рядъ и говорю: «Слышите, барышни? Далась имъ эта калиточка! И за калиточкой не тѣсно. Что вы это, господа, пристаете къ намъ? Мы вамъ пѣть и играть не запрещаемъ. Вотъ мы же веселимся здѣсь, а вамъ чего недостаетъ за плетнемъ?» Да съ этимъ словомъ свернула въ кольцо танокъ и запѣла имъ:

Бѣлолица, круглолица,
Красная дѣвица!
Въ твоемъ лицѣ румянецъ-отъ
Завсегда играетъ;
Молодому ль, холостому
Назолу даваетъ.
Молодой-отъ, холостой
Въ лужку травушку топталъ,
Дороженьки не нашелъ,
Самъ заплакалъ да пошелъ...

«Не успѣли мы, матушка, послѣдняго слова допѣть, они какъ шарахнутся разомъ черезъ плетень, и вотъ они! Повалили плетень. Ахъ матушка! что тутъ намъ дѣлать? «Ну-те васъ къ Богу! говоримъ. Ни за что, ни про что отвѣчай за васъ. Попали мы въ бѣду неминучую». Разбѣжались мы, барышни, изъ сада куда попадя, и веселье-то поминай какъ звали! Какое веселье, когда бѣда съ ума нейдетъ! Думаемъ:

какъ прослышитъ матушка, выведетъ все на чистую воду. Достанется тому, кто былъ, кто и слышалъ, кто и мимо шелъ! Разбрелись мы тихими да смиренницами по домамъ. Мать Пресвятая Богородица! пронеси бѣду! Спать мы легли, и сонъ насъ не беретъ...

«А тутъ, моя сударыня, перемѣнивъ тонъ, продолжала Любовь Архиповна: надобно тебѣ разсказать еще другую исторію, что у насъ въ Купянкѣ была. Былъ у насъ городническій козелъ и свыкся онъ съ протопопскою гусынею. И какъ то-есть свыкся! Извѣстно, какъ козелъ городничаго, то онъ ходилъ себѣ въ городѣ по волѣ, и такой еще назойливый былъ, словно за мѣсто городничаго дозоромъ по городу ходитъ и во всякій дворъ свою козлиную бороду суетъ. Что отъ него сады и огороды терпѣли, такъ это сущій разоръ былъ! Ну да сама изволишь знать, матушка, замѣчала Любовь Архиповна: городническому козлу ногъ не переломаешь, на то онъ городническій. А отцу протопопу кто-то изъ прихода да принеси бѣлую гусыню съ перешибенною ногой, по пословицѣ видно: на тебѣ, Боже, что намъ негоже, или, можетъ быть, человѣкъ несъ, да гусыня у него изъ-подъ руки вырвалась и на дорогѣ это лапку искалѣчила, а матушка протопопша да любила бѣлыхъ гусей. «Уже какъ ты себѣ хочешь, попе, сказала она, а я не велю рѣзать нашу бѣлую гусыню. Пустимъ ее во дворъ и будемъ кормить, авось либо она отгуляется.—Пустимъ, и пустимъ, сказалъ отецъ протопопъ... (Онъ такой важный да степенный былъ, все книжками занимался, говорила Любовь Архиповна, а матушка протопопша и добрая да не изъ далекихъ была, и со всякою гусынею къ нему на совѣтъ шла.) И пустили гусыню во дворъ, насыпали ей въ корытце овса. Козелъ и провѣдай это, и начни къ протопопской гусынѣ въ гости ходить. Чуть утро, и потянулъ козелъ къ протопопу. Смѣются люди. «Смотрите, говорятъ, нашему отцу протопопу едва ли не бѣда пришла. Настоящій ли то козелъ повадился къ нему, а можетъ быть, и другой кто въ шкурѣ козла». Сказали и

отцу протопопу: улыбается онъ. А козелъ придетъ, у гусыни овесъ поѣстъ, и матушка протопопша не наготовится для своей гусыни овса. Та все сидитъ у корытца (ходить ей нельзя) и ждетъ, какъ козелъ къ ней явится; обнюхаетъ ее, обойдетъ раза два кругомъ, поѣстъ овесъ и ляжетъ отдыхать возлѣ нея. И до того, матушка, они свыклись между собою,—удивлялась Любовь Архиповна,—что гусыня, какъ увидитъ козла, крыльями бьетъ и кричитъ: кега! кега! А онъ къ ней по своему блекочетъ и бородой трясетъ. И что же, родная моя? На счастье ль козла, или то на особенную радость матушки протопопши, точно отгулялась гусыня и пошла ходить: только ни она отъ козла, ни козелъ отъ нея; такъ вмѣстѣ парочкой и ходятъ по городу:—городническій козелъ и протопопская гусыня...

« Ну, да намъ, матушка, на утро-то послѣ нашей оказіи было не до козла съ гусынею. Пошла матушка на базаръ, а у насъ души нѣтъ. Думаемъ себѣ: Ѳеська Прошлыга, или Неминучая (это у насъ первая бублейница была) везла бублики на базаръ, и ей какъ разъ дорога мимо саду Лукьяна Алексѣевича. Она непремѣнно увидѣла; а если нѣтъ, то своимъ носомъ прослышала, что поваленъ плетень, и теперь по всему базару кричитъ: «Нѣтъ! вы пожалуйте ко мнѣ: и бублики хорошіе, мягкіе, горячіе, и у Лукьяна Алексѣевича плетень...» И пошелъ теперь по базару плетень. «Ну, уже что̀ будетъ, то будетъ! говоримъ, воля Божія.» Сѣли мы за кружево и такъ усердно коклюшками перебираемъ, что онѣ даже звенятъ. А матушки съ базару нѣтъ. «Что это матушка замѣшкалась? спрашиваемъ себя. Какъ разъ все дѣло на чистоту выводитъ...» Слышимъ мы, родная моя, начинаетъ подниматься шумъ: бѣжитъ по проулку народъ. У насъ и руки опустились. Вотъ когда бѣда пришла! смотримъ мы дружка на дружку. Только я, матушка, глядь въ окно, а народъ бѣжитъ не къ плетню Лукьяна Алексѣевича, а, такъ сказать, отъ плетня къ базару, внизъ по Московской улицѣ. Что̀ тамъ за чудо приключилось на Московской улицѣ? И

старые бѣгутъ, и молодые бѣгутъ, кто безъ шапки, кто на одну руку кафтанъ натянулъ. Мальчишки перессорились дорогою; за волосенки другъ друга рвутъ, а бѣгутъ, и Гашка, наша кухарка, побѣжала. «Гашка! куда ты?» спрашиваемъ— она только обѣими руками махнула. Господи! сказать бы пожаръ, такъ въ колокола не звонятъ. И мы бы побѣжали, не будь съ нами той нашей бѣды, а то не разхлебавши одну бѣду, да накликать другую... Сидимъ мы, смотримъ: изъ подъ горы начинаютъ показываться вчерашніе наши бѣдокуры, что̀ бѣду намъ такую сотворили. Поровнялись съ нами и еще усмѣхаются. «Какія вы, барышни, не любопытныя такія! говорятъ: хоть бы вы посмотрѣли, какъ чортъ у Лукьяна Алексѣевича на рогахъ плетень снесъ и куда онъ его поставилъ.»—Ну-те васъ съ вашимъ чортомъ! говорю я. Нашли время шутки шутить. Что тамъ такое дѣлается?—«А вотъ то дѣлается, что̀ мы вамъ говоримъ...» Опять то же говорятъ: чортъ снесъ на рогахъ плетень у Лукьяна Алексѣевича, и, видно, куда-то далеко хотѣлъ занести его; да отецъ протопопъ ударилъ рано къ заутрени, чортъ и завязъ въ плетнѣ рогами, и перегородилъ всю улицу возлѣ городничаго. А Ѳеська Неминучая задѣла чорта за бороду и разсыпала всѣ бублики... И то-есть смѣются они между собою—какъ щеки у нихъ не лопнутъ!

«А это какую они штуку сочинили, разсказывала Любовь Архиповна. Гдѣ-то, и какъ, и какими судьбами пошли имъ Богъ, что они достали кольевъ и хворосту, и въ одну ночь какъ метелочкой подмели, поставили новый плетень Лукьяну Алексѣевичу, и еще лучше стараго-даже, какъ былъ, острехи обложили терномъ. Да чтобы штука была съ хвостомъ, а не безъ хвоста, они возьми старый плетень и перегородили имъ Московскую улицу, какъ разъ противъ самаго дому городничаго. И какъ пошло дѣло на штуки, молодцы выкрали городническаго козла и усадили его рогами въ плетень. Только-что они управились съ этою штукой, а тутъ сама собою присочинилась еще большая штука. Ѳеська Не-

минучая, ранымъ-рано, чтобы и свѣтъ-то самый опередить, везла въ телѣжечкѣ на базаръ свои бублики; а по Московской улицѣ проѣздъ и днемъ-то съ пріятствомъ бывалъ. Вотъ Ѳеська везетъ свою телѣжечку и въ оба глаза никуда больше какъ себѣ подъ ноги смотритъ, выбираетъ, гдѣ бы это дорога получше. Баба-то ретивая, понатужилась въ гору, пригнула голову впередъ, и какъ ударится лбомъ обо что-то такое! Хвать-хвать руками—и поймала бороду... Какъ закричитъ Ѳеська Неминучая неблагимъ матомъ: «Кто въ Бога вѣруетъ, ратуйте! Христіяне православные! чортъ ли меня поймалъ, или я чорта за бороду держу... Пропали мои бублики! Пропала моя душа грѣшная!» А сама вцѣпилась рукою въ бороду козлу и того она понять не можетъ, что не ее тянутъ, а это она сама тянетъ къ себѣ, прости Господи, чорта. Упала Ѳеська Неминучая на землю, кричитъ и отбивается ногами, какъ бы одолѣвала ее вся нечистая сила...

«Вотъ теперь-то, мать моя родная, договоривала Любовь Архиповна,—какъ сбѣжался народъ, надвинулъ весь городъ на Московскую улицу, выскочилъ городничій изъ постели; а тѣмъ временемъ стало поболѣе свѣтать. Солнышко батюшка какъ глянуло всѣмъ въ очи: здорово живете, дурни! всѣ и увидѣли, что Ѳеська-то съ бабьяго ума кричала: «чортъ!» а то это вовсе не чортъ, а городническій козелъ... Однакоже, смастерить такую штуку, чтобы на рогахъ вынести плетень и еще хозяйственный плетень Лукьяна Алексѣевича, оно сподручнѣе приходилось чорту, чѣмъ козлу, будь онъ и дважды городническій. Сомнѣвается народъ. «Сирѣчь» вызвался говорить (одинъ умнѣющій человѣкъ у насъ былъ, говорила Любовь Архиповна, его такъ и называли: Антонъ Иванычъ Сирѣчь. Уже какъ онъ разсудитъ, такъ тому и быть; въ консисторіи тридцать лѣтъ секретаремъ служилъ)—Сирѣчь говоритъ: хотя оно по разсужденію человѣческому не есть можно и по естеству козла не подобно, и не воображительно по причинной малой силѣ, въ рогахъ сущей, но,

сирѣчь, мужіе града нашего и жены! положимъ (указывалъ рукою Антонъ Ивановичъ Сирѣчь на козла и плетень) вещь сицевую, яко бы подобну и возможну, предъявительну и вообразительну; но оная вещь, новый плетень у Лукьяна Алексѣевича, кто его, сирѣчь, поставилъ, чортъ или козелъ?»—Убирайся, коли хочешь къ обоимъ, Антонъ Иванычъ Сирѣчь! сказалъ съ сердцемъ городничій.—Изъ какой благодати чорту ставить новые плетни Лукьяну Алексѣевичу? И добро бы сказать, плетень-то ветхій былъ; а то онъ и безъ чорта десять бы лѣтъ еще простоялъ.

«А тѣмъ временемъ, сударыня моя, продолжала Любовь Архиповна,—протопопская гусыня ждала-поджидала своего козла, да видитъ, что дружка милаго нѣтъ, она и поди его отыскивать. И что ты изволишь думать! Вѣдь отыскала: протиснулась между народомъ и прямо къ нему: «кега! кега!» А козелъ ей и голосу не подаетъ, такъ его, сердечнаго, умаяла Ѳеська Неминучая. Потупился рогами, стоитъ, и Антонъ Иванычъ тоже потупился, говоритъ городничему: «Сирѣчь, говоритъ, не подобное въ подобу бываетъ, и козелъ, сирѣчь, плетни плететъ...»—А коли не чортъ и не козелъ, такъ вотъ тебѣ, братецъ, протопопская гусыня! сказалъ городничій.—Что тутъ вольнодумствовать? Эй, десятскіе! руби плетень и ко мнѣ на дрова на кухню. Съ тѣмъ словомъ городничій повернулся и пошелъ къ себѣ. Такъ онъ всегда дѣла рѣшалъ, пояснила Любовь Архиповна, и за то его всѣ въ городѣ любили, что онъ уже долго не задумается. Хоть гусынею, а порѣшитъ дѣло, не поведетъ его въ проволочку. Хорошій человѣкъ былъ. А вечеромъ къ Лукьяну Алексѣевичу, одинъ по одному, собрался мало не весь городъ посмотрѣть, то-есть, на его плетень. И городничій пришелъ. «Ну, что же говоритъ: чортъ ли, мой ли козелъ, или протопопская гусыня поставила тебѣ плетень, Лукьянъ Алексѣевичъ, а вѣдь обновить-то рукодѣлье надобно.» И какъ обновили его хорошенько, даже самъ городничій сказалъ: «Какъ вы, то-есть всѣ, должны молить за меня Бога! Доведись на

другаго, поплатился бы ты, Лукьянъ Алексѣевичъ, чтобъ у тебя черти по ночамъ плетней не сносили! И еще такое неблагочиніе производить во всероссійскомъ городѣ—загораживать улицу...»—Но вѣдь это, батюшка, черти, отвѣчалъ Лукьянъ Алексѣевичъ, нечистая сила, или вашъ козелъ; а я бы за что поплатился? «А за то бы ты поплатился, Лукьянъ Алексѣевичъ, толстое твое брюхо, что съ чорта-то взятки гладки. Ищи развѣ на второмъ пришествіи; а козелъ, опричь того, что онъ мой, и тоже съ козла, самъ ты знаешь, ни шерсти, ни молока.»

Любовь Архиповна умолкла.

— Такъ вотъ какъ! молвила я, весело насмѣявшись странной оказіи, приключившейся въ Купянкѣ. — Но исторіею о козлѣ вы отъ меня не отдѣлаетесь. За вами еще маленькій должокъ.

— Какой? Чѣмъ я тебѣ задолжала, мать моя? Вѣтромъ, что въ полѣ дуетъ? спросила Любовь Архиповна.

— Не вѣтромъ, сказала я,—а тѣмъ, что Любовь Архиповна вызывалась разказать мнѣ, какъ это жены мужьями мудрятъ. И вы вкусили житейской мудрости, на которой бѣлый свѣтъ стоитъ,—помудрили вашимъ мужемъ, и таки порядочно, Любовь Архиповна?

— А такъ-то порядочно, мать моя, какъ и не надо больше, отвѣчала скороговоркою Любовь Архиповна.

— Будто? не довѣряла я.—Что же вашъ супругъ, Любовь Архиповна... а какъ звали вашего супруга?

— Никаноръ Семеновичъ.

— Что же? Никаноръ Семеновичъ скажетъ: бѣло, а вы отвѣтите: сѣро?

— Ну нѣтъ! отвѣчала Любовь Архиповна.—Никаноръ Семеновичъ радъ бы былъ, чтобы я сказала хоть *сѣро;* да я-то ему не говорила ни *сѣро*, ни *бѣло*.

— Однако это любопытно, живо поворотилась я.—Какъ же это, Любовь Архиповна?

— Поучиться хочешь, матушка?

— Вѣкъ живи, вѣкъ учись, говоритъ пословица.

— То-то, хорошо, что изволишь знать пословицы.

Не знаю, какъ это случилось и кто первая изъ насъ подвиглась на то, только мы поцѣловались съ Любовью Архиповною очень весело и по-дружески живо.

— Ну-те, моя милая, Любовь Архиповна! говорила я потомъ,—вы мнѣ разскажете все, какъ довлѣетъ, со всякимъ чувствомъ и съ разстановкою, какъ Антонъ Ивановичъ Сирѣчь говорилъ, *предъявительно* и *вообразительно*... За кѣмъ вы были замужемъ? Вѣрно уже не за философомъ?

Любовь Архиповна и не отвѣчала мнѣ, только рукой махнула. Я было нагадала того барина, который не далечко отъ города въ имѣньицѣ жилъ...

— И, нѣтъ, матушка! сказала Любовь Архиповна:—тутъ совсѣмъ другая исторія вышла.

«Видишь ты, на Рождественскихъ святкахъ говорятъ въ городѣ, что пріѣхалъ къ намъ коммиссіонеръ... «Что-то за коммиссіонеръ? спрашиваемъ мы себя, барышни, хоть бы намъ посмотрѣть того коммиссіонера. Что за птица такая коммиссіонеръ?... Ѳеська голубушка! покажи коммиссіонера,» просимъ мы нашу Неминучую, а коммиссіонеръ у нея на квартирѣ стоялъ.—Приходите вечеркомъ, барышни, за горячими бубликами, говоритъ Ѳеська:—и бубличками накормлю, и коммиссіонера покажу. Ждемъ мы, никакъ не дождемъ, когда тѣ горячіе бублики у Ѳеськи поспѣютъ. Нарядились мы въ коротенькія шубки, накрыли цвѣтными платочками головы и, куда! еще солнце не сѣло, налетѣли къ Ѳеськѣ въ ворота. Только мы взялись за дверь въ сѣни, а изъ сѣней намъ на встрѣчу коммиссіонеръ... Я какъ взглянула на него, и смотрѣть больше не захотѣла. Вотъ это-то коммиссіонеръ! Пришли мы къ Ѳеськѣ, я и бубликовъ ея не хочу. Досада меня такая беретъ. Невидаль какую приходили смотрѣть! Длинный, да худой, рябой; носъ за три версты смотритъ, и еще голову впередъ вытянулъ... Ахъ, мать моя! и хотя бы при этомъ уже на слово молодецъ былъ, какъ

у насъ одинъ изъ подсудковъ: и несмотри на него, черенъ какъ земля былъ, а, подите вы, заговоритъ онъ, —про красавца любаго забудешь. Такъ бы кажется, за иное слово поцѣловала бъ его. А этотъ, прости Господи, нѣмая тетеря! Еще хуже нашего филозофа. Тотъ хотя говорилъ намъ: «Я, барышни, не къ вамъ..» а къ сестрицамъ онъ изъ бочки лѣзетъ; а у коммиссіонера и на то удали не стало. Опустилъ руки, какъ обваренный, прислонился къ дверямъ, словно отродясь онъ такого дива не видывалъ, какъ барышни, и вотъ тутъ ему напасть великая пришла, что барышни на порогѣ встрѣтились! Прошла я мимо его, такъ бы, кажется, его за рукавъ дернула... И съ молоду, матушка, не терпѣла, говорила Любовь Архиповна, и по сіе время не терплю мямлей такихъ: что глазами онъ смотритъ, будто не смотритъ, и во рту у него мочалка вмѣсто языка, только посудину вытираетъ. Смотри на людей прямо, говори смѣло то слово, что тебѣ Богъ далъ, вотъ то и человѣкъ есть!.. Ну, говорю я Ѳеськѣ, хорошъ твой коммиссіонеръ! Было изъ чего на горячіе бублики звать. «Не прогнѣвайся, матушка, говоритъ она, вѣдь не бубликъ. Сама не пекла.» Разсмѣялись мы и такъ пошли отъ Ѳеськи со смѣхомъ, что коммиссіонеръ не бубликъ.

— Далѣе, Любовь Архиповна! сказала я.—Начало будто не къ свадьбѣ ведетъ.

— Не къ свадьбѣ! повторила Любовь Архиповна, качая на меня головою. —Знаетъ ли человѣкъ, къ чему его Господь Богъ ведетъ? сказала она, съ минуту помолчавъ. — Ну, не бубликъ коммиссіонеръ, и не бубликъ, продолжала она съ живымъ веселымъ переходомъ.—Смѣху намъ такого съ этимъ коммиссіонеромъ! Повстрѣчались намъ разудалые наши молодцы. Дразнимъ мы ихъ. «Вотъ коммиссіонеръ, такъ коммиссіонеръ! говоримъ: видѣвши теперича въ сѣняхъ у Ѳеськи коммиссіонера, мы на нихъ на всѣхъ и смотрѣть болѣе не хотимъ.» Я и рукавомъ шубки прикрылась. «Лучше меня?» заглянулъ ко мнѣ тотъ нашъ Черный, и близехонько подставилъ свою святочную харю.—Да такъ-то лучше, говорю,—

что за васъ обоихъ я одного того не возьму, что вотъ у бублика въ кружальцѣ есть, и бросила въ него бубликомъ. А сама изволишь смекать, матушка, что въ кружкѣ-то у бублика одно то, что ничего нѣту. Онъ поймалъ бубликъ, смотритъ на него: «Корыстны молодцы! говоритъ, нечего сказать.» Такъ у насъ, значитъ, матушка, въ смѣхѣ весь вечеръ прошелъ, говорила Любовь Архиповна:— а назавтра у городничаго святочная пирушка была. Старшіе-то попрежде собрались, пошли; а мы, молодежь, нагрянули къ самому вечеру. Глядимъ, и коммиссіонеръ нашъ тутъ... Ну, да намъ теперь было не до коммиссіонера. Затѣяли мы разныя святочныя игры, пляски и переодѣванья, шутовства разныя были. Филозофъ медвѣдемъ былъ; а нашъ Черный его цыганомъ на цѣпи водилъ, и что̀ онъ тутъ припѣвалъ и присказывалъ, какія намъ гаданья гадалъ, такъ это истинно уму непостижимо, гдѣ все оно у человѣка бралось! Наконецъ стали мы, барышни, подблюдныя пѣсни пѣть и золото хоронить... А ты изволишь знать, что̀ то за подблюдныя пѣсни? немножко насмѣшливо спросила Любовь Архиповна.

Я отвѣчала, что знаю.

— Нынче вѣдь вы ничего того не хотите знать, что̀ ваши отцы и матери знали. И золото хоронить знаешь?

— Знаю.

Любовь Архиповнѣ, кажется, непонравилось мое знаніе того, въ чемъ ей хотѣлось упрекнуть насъ, что мы будто не знаемъ.

— Но вѣдь ты, свѣтъ мой, какъ это знаешь? спросила она.—Сама изволила золото хоронить?

— Не сама, отвѣчала я, — а разспрашивала, и мнѣ сказывали.

— Вотъ какъ! сказала Любовь Архиповна. — Значитъ, дѣло-то выходитъ на старинную поговорку: «Сладки гусиныя лапки.—А ты ихъ ѣдалъ?—Нѣтъ; мой батюшка видалъ, какъ воевода ѣдалъ.»

Я попросила Любовь Архиповну повторить мнѣ эту воеводскую поговорку.

— Ну, коли тебѣ сказывали, душа моя, какъ золото хоронятъ, такъ ты изволь послушать, какъ я тебѣ скажу, сказала она и прихлопнула меня немножко по колѣну.— Такой мастерицы и угадчицы, какъ я была, схоронить ли перстень, найдти ли его, и во снѣ не снилось другой. Я какъ поведу бывало глазами, такъ, кажется, насквозь всѣ руки вижу, и перстень тотъ прямо горитъ мнѣ.

— Да и огня-то у васъ было, Любовь Архиповна! невольно замѣтила я.

— Не даромъ, матушка, я и была огонь, что воду прожегъ. Вотъ изволь слушать, какъ все оно бывало.

И Любовь Архиповна вступительно разсказала мнѣ, что всѣ играющіе усядутся въ рядъ, или полукругомъ, и на срединѣ комнаты остаются двѣ дѣвушки, такія, чтобъ умѣли спѣть и проплясать, и золота не прозѣвать. Одна идетъ золото хоронить по рукамъ, а другая слѣдомъ за нею подмѣчаетъ, гдѣ она его похоронитъ, въ чьи руки. Вотъ первая и начинаетъ пѣть:

Ой, я изъ кута въ кутъ пойду,
Я золотъ перстень хороню,
Хороню, похораниваю,
Я по краснымъ по дѣвушкамъ,
По молодымъ молодушкамъ.

И всѣ подхватываютъ вдругъ:

Гадай, гадай, дѣвица!
Въ коей рукѣ золото
И чистое серебро.
Тебѣ, дѣвкѣ, не отгадать:
А намъ тебѣ не сказать.

А та, которая отгадываетъ, начинаетъ кланяться на всѣ стороны и жалобно проситъ:

Ой, вы, кумки, вы, голубки!
Вы скажите, не потайте!
Меня мати хочетъ бити
Во три прута золотые,
Изъ-подъ печи кочергою.

Не попала, замарала,
Золоты перстни поломала.

Въ теченіи этого пѣнія золото должно быть похоронено, и та, которая хоронила его, начинаетъ съ плескомъ и съ ладонями плясать передъ угадчицей, и всѣ разомъ съ нею поютъ:

Ищите золота
Со трубами въ городѣ,
Со свѣчами въ теремѣ.
И золото пропало,
И порохомъ запало
И мхомъ заросло,
Со двора снесло.

Остановятся всѣ, и одна отгадчица начинаетъ пѣть и плясать:

Палъ, палъ перстень
И въ калину, и въ малину,
И въ черную смородину.
Очутился перстень
Да у дворянина.
Да у молодаго
На правой на ручкѣ,
На пальцѣ мизинцѣ...

И отгадчица поднимаетъ руку и показываетъ, у кого очутился перстень. Если она отгадала, то тотъ, у кого нашелся перстень, идетъ намѣсто ея отгадывать, а она идетъ золото хоронить. Если же нѣтъ, то опять ей идти отгадывать, а уже хоронить золото тотъ, у кого захороненъ былъ перстень.

«Вотъ такъ я, матушка, собираюсь золото хоронить, продолжала Любовь Архиповна:—усаживаю всѣхъ по мѣстамъ, только глядь невзначай въ другую комнату, а тамъ коммиссіонеръ сидитъ въ углу, точно птица какая себѣ гнѣздо свилъ. То-есть не знаю, какъ сказать: досадно мнѣ и смѣшно, и жалко его стало. Вѣдь есть же, Боже мой, такіе люди на свѣтѣ, что сидитъ онъ цѣлый вечеръ, ни съ кѣмъ слова не молвитъ! Пошла я прямо къ нему, говорю: «Я собираюсь золото хоронить, а вы чего тутъ захоронились въ углу? Еще поѣдете въ свой городъ и будете говорить, что такія Купян-

скія барышни! сами въ разныя игры играли, а васъ и не позвали. Пойдемте же, говорю, золото хоронить.» Взяла его прямо за руку и только что не притащила ко всѣмъ нашимъ. Усадила я сокола на мѣсто и начала золото хоронить. Посматриваетъ на меня нашъ Черный, и вижу я, что онъ того коммиссіонера, кажется бы, глазами съѣлъ. Я и вздумай положить кольцо коммиссіонеру на штуку, чтобы подразнить Чернаго. Какъ эта мысль мнѣ въ голову пришла, я еще вдвое повеселѣла. Пою и приплясываю, хороню золото по всѣмъ рукамъ, а сама берегу колечко и тутъ же стараюсь провести угадчицу, будто я его давно похоронила. Но только, матушка, мы поровнялись съ Чернымъ, и я къ нему въ руки опустила свою руку съ кольцомъ, онъ и запопади ее въ медвѣжьи свои лапы! Не пускаетъ мою руку, сжалъ ее крѣпко, держитъ. Оставь, вишь, я ему кольцо. Что тутъ мнѣ дѣлать? И пѣть-то надобно, и плясать, и времени всего одна минутка, чтобъ отгадчица не замѣтила и тоже люди всѣ, чего я долго передъ Чернымъ стою. Глянула я на него—онъ какъ ни въ чемъ не бывалый и рѣсницей одной не шевельнетъ! Смотритъ на меня... Попустила я кольцо, и только, матушка, Черный попустилъ мнѣ руку,— я выхватила кольцо и пошла далѣе. Оглянулась я на него, такъ онъ сидитъ, себѣ не вѣритъ, даже лобъ рукою потеръ. Тутъ недалечко и коммиссіонеръ былъ. Подхожу я къ нему скорѣе и положила кольцо; а у него руки словно растаяли, и кольца онъ не сдержалъ въ рукахъ... Осрамилъ мою головушку! Запрыгало мое кольцо по комнатѣ и еще прямо покатилось Черному къ ногамъ. Онъ, матушка, толкнулъ его отъ себя. «Ступай, говоритъ, къ молодцу, что и золота не удержитъ въ рукахъ.» Принуждена я была въ другой разъ золото хоронить. Подсмѣиваются всѣ надо мною; только одинъ Черный молчитъ, какъ воды въ ротъ набралъ. Я думала, что онъ такъ молчитъ, сердится; а это онъ здѣсь же на меня пѣсню сложилъ. Ну, да то дѣло другое, сказала Любовь Архиповна. — А тутъ я, матушка, подхожу къ своему ком-

миссіонеру и вижу, что онъ себѣ руки такъ жметъ-жметъ; думалъ вѣрно, что я ему еще положу кольцо и уже собирался не уронить его. Такъ я, матушка, вмѣсто кольца, взяла его да и ущипнула... Вотъ такая я удалая была!» сказала мнѣ Любовь Архиповна.

— А пѣсню, какую Черный сложилъ? спрашивала я.

— Пѣсню коротенькую, отвѣчала Любовь Архиповна.— Тутъ не съ пѣснею, а съ самимъ коммиссіонеромъ не стало мнѣ проходу. Барышни всѣ смѣются мнѣ имъ и молодые господа: что ни слово, то коммиссіонеръ. Уже я отсмѣивалась, отсмѣивалась, да и силъ моихъ не стало. Опротивѣлъ мнѣ этотъ коммиссіонеръ такъ, что пуще еще матушкина кружева. Куда бы я дѣлась, чтобы только имени коммиссіонера не слыхать! А Черный ничего, говорила Любовь Архиповна. — Только разъ при всѣхъ на балалайкѣ спѣлъ свою пѣсенку; а то, бывало, гдѣ меня одну на переулочкѣ встрѣтитъ и начнетъ тихонечко напѣвать:

Красная дѣвица,
Свѣтъ, умѣючи,
Кольцо схоронила:
Надѣла воронушки
Да на перушки,
Ясному соколу —
Что совѣ ли свѣтъ—
На опутинку.

По привычкѣ имѣть съ собою карандашъ и бумажку, я записала пѣсенку Чернаго.

— Ну-те, милая Любовь Архиповна, что далѣе?

« Далѣе, матушка, пока было то, отвѣчала Любовь Архиповна:—что уѣхалъ отъ насъ коммиссіонеръ. Я даже перекрестилась. Онъ по какому-то своему коммиссіонерству пріѣзжалъ къ городничему. Слава Богу, забыли мы про него всѣ. Прошла недѣля и другая, смотримъ мы, вечеркомъ Ѳеська Неминучая шмыгнула къ намъ на дворъ и прямо къ матушкѣ. Пошушукали онѣ тамъ, заперлись что то долгонько. Ѳеська ушла и на поклонъ связку бубликовъ принесла.

«Зачѣмъ это Θеська приходила? спрашиваемъ мы себя. А уже не даромъ.» Матушка вышла изъ комнаты будто немного веселая. Подаетъ мнѣ бублики и говоритъ: возьми, Любаша, и сестрамъ дашь.—Не знала я, что̀ это матушкѣ вздумалось именно мнѣ бублики давать. Такъ и остались мы съ тѣмъ, что ничего не знаемъ. Черезъ два дня опять Θеська на дворъ... «Что ты это разбѣгалась, Θеська? говоримъ мы. Только ворота за тобою скрипятъ.» Она этакъ кивнула головою на насъ: «подождите, говоритъ, можетъ, еще не такъ заскрипятъ.» И назавтра опять явилась Θеська; только не къ вечеру, а поранѣе будетъ, и побыла уже немножко, и ушла. Матушка выходитъ къ намъ изъ своей комнатки, а мы, знаешь, при ней усердно такъ работаемъ. Она прошлась разъ-другой передъ нами. «Полно, говоритъ, оставьте работу. Любаша, я тебя просватала.» — За кого? говорю. «За коммиссіонера.» Я ушамъ своимъ не повѣрила. — За кого, матушка? «Что ты, глуха что ли? Говорятъ тебѣ за коммиссіонера, сказала матушка. И ступай одѣвайся; женихъ къ вечеру будетъ.» Я, душа моя, и не знаю, всплеснула руками Любовь Архиповна, какъ и съ чего я начала говорить и голосомъ голосить, что лучше бы меня въ гробъ живую положили, что пусть меня матушка убьетъ, а я не пойду за коммиссіонера. «Убить я тебя не убью, сказала матушка, а поучить хорошо поучу, чтобы ты знала, какъ слушаться матери.» А я ей на это какъ-то скажи, что она меня за связку Θеськиныхъ бубликовъ отдаетъ коммиссіонеру, такъ уже матушка дала мнѣ знать бублики! «Иди, говоритъ, одѣвайся.» Я пошла, сѣла въ нашей горенкѣ, и таки не одѣваюсь. Глаза у меня отъ слезъ, какъ кулаки, напухли; коса моя русая растрепанная лежитъ на шеѣ. Пришла матушка опять ко мнѣ. «Одѣвайся, говоритъ. Я тебя еще побью.» И другимъ пріемомъ меня побила. «Если ты не станешь сейчасъ одѣваться, говоритъ матушка, я косу тебѣ отрѣжу» (не знала уже, что̀ сказать она) и схватила меня покойница за косу. «Сестрица, говорю я (вижу, что сестрица Палагея Архиповна

на дверяхъ стоитъ), подай матушкѣ ножницы», такъ матушка даже плюнула. «Это бѣсъ, говоритъ, а не дѣвка», и ушла отъ меня. Тутъ скоро и женихъ-то пришелъ или пріѣхалъ—уже я не знаю. Матушка посылала звать Лукьяна Алексѣевича съ Марьей Кондратьевною; протопопша пришла, поприходили барышни. Стали меня всѣ уговаривать, такъ нѣтъ! Я и осталась на томъ, что не одѣлась и не вышла. Жениху сказали, что у невѣсты голова болитъ и она у меня, охъ! болѣла, матушка! сказала Любовь Архиповна.

«Извѣстно, какъ теперь посудишь, продолжала она, и матушка покойница не въ винѣ была. Богатства нашего одинъ домикъ былъ, а вѣдь насъ трое, и всѣ три на возрастѣ: не на просолъ, насъ было держать! Благо, что находился человѣкъ смирный, непьющій, и достаточекъ кое-какой былъ: хуторочекъ свой десятинъ поболѣе ста земли и семейства два людей. Чего же больше? Не генераловъ намъ было изъ Москвы или изъ Питера ждать?.. Ну, да это теперь такъ-то говоришь, свѣтъ мой! улыбалась мнѣ Любовь Архиповна. А въ то-то время—лучше бы меня матушка своими руками задушила!

«А она, покойница, таки жалѣла меня, какъ послѣ я узнала, дай Богъ ей царство небесное! (Тутъ Любовь Архиповна перекрестилась.) Какъ Ѳеська пришла и начала ей говорить обо мнѣ, такъ она даже будто испугалась. «Богъ съ тобою, Ѳесьюшка, говоритъ,—зачѣмъ ему моя Любаша? Пусть онъ лучше Аграфенушку беретъ. Она и видная изъ себя и полная и рослая; а Любаша что? Она и къ хозяйству не сродна.» Такъ Никаноръ Семеновичъ сталъ на томъ, что Любашу. Коли не меня, велѣлъ сказать, то никого болѣе не желаетъ: ни Аграфены Архиповны, ни Палагеи Архиповны. А что я къ хозяйству несродна, это ему ничего: онъ самъ сроденъ.

«Ну, вотъ, моя сударыня, и дѣло съ концомъ! продолжала Любовь Архиповна. Намъ было не пиво варить, не вино курить; а сшили два платья да насыпали перину, и къ сватьбѣ

все готово. Послѣ этихъ «поглядинъ», что ли, какъ ихъ назвать?—что женихъ приходилъ будто поглядѣть на невѣсту и не поглядѣлъ на нее,—уѣхалъ Никаноръ Семеновичъ къ себѣ, чтобы приготовить значитъ, что̀ нужно къ сватьбѣ и закупки разныя закупить. А сватанье-то это было въ понедѣльникъ (тяжелый день, матушка! замѣтила Любовь Архиповна), а въ субботу, чтобы жениху пріѣзжать и дѣвичнику быть, такъ чтобы въ воскресенье въ обѣдни й повѣнчать насъ... Какъ тебѣ, моя родная, и сказать, что было со мною въ тѣ четыре дня? спрашивала меня Любовь Архиповна.—Извелась я, на себя не похожа стала. Хлѣба не ѣмъ, воды не пью; выйду на дворъ, меня воздухомъ качаетъ; а что тѣхъ слезъ пролито было! Только что дѣвичьимъ слезамъ сливаннаго моря нѣту, душа моя: падаютъ онѣ раннею и позднею росою по всему міру, а то не высыхать, не вымерзать бы было тому морю! Наступила, матушка, суббота; около обѣда прибѣжала Ѳеська сказать, что женихъ пріѣхалъ... Я, гдѣ стояла, тамъ зашаталась и упала на колѣнки. Сестрица Аграфена Архиповна подхватила меня. Извѣстно, какой зимній день? Сейчасъ послѣ обѣда начали къ сговору собираться. Настала мука моя. Матушка говоритъ: «одѣвайся», а я сижу. «Я тебѣ говорю, Любовь, одѣвайся! Худо будетъ.» Я будто ничего не слышу сижу... Такъ уже матушка таково меня больно побила, что страхъ! Черезъ мѣсяцъ еще по мнѣ желтыя пятна отъ синяковъ были. «Чешите, одѣвайте ее!» кричитъ сестрицамъ. И какъ онѣ, голубушки, меня одѣли и причесали, я себя не помнила. Матушка вывела меня и посадила за столъ. Я какъ сѣла, отворотясь бокомъ отъ жениха, и подперлась на щеку рукою, да такъ и просидѣла весь вечеръ. Говорилъ ли мнѣ женихъ что̀, или не говорилъ, я не знаю; только я каково есть одно словечко ему не промолвила! У меня, матушка, то темень заступитъ въ глаза, то будто вся горница кругомъ пойдетъ, и вдругъ жаромъ, и затѣмъ морозомъ словно кто съ головы до ногъ, всю обдастъ меня! Матушка сердится: и мнѣ-то бы она толчокъ дала, и тамъ

у барышень ничто не ладится. Пѣсни бы пѣть, невѣсту величать надобно; а одно то,—что барышни безъ меня словно безъ рукъ были: я всегда запѣвалой была; а другое—какія пѣсни, когда имъ, глядя на меня, плакать хочется? «Пой, Аграфена!» сказала матушка—и уже на какой ладъ-то Аграфена запѣла, кто ее знаетъ! И молодежь тоже, наши веселые господа, кто пришелъ, кто вовсе не пошелъ. А иной только вошелъ да взглянулъ, какая невѣста радошная сидитъ—за шапку опять, да и былъ таковъ. Наконецъ окончился тотъ у Бога милосердаго вечеръ...»

Любовь Архиповна сама помолчала и дала мнѣ вздохнуть. Я встала пройдтись по комнатѣ.

— Садись, матушка, сказала она. Еще много впереди такого добра слушать.

«Ты, можетъ-быть, думаешь, что вотъ-то я наплакалась, собираясь къ вѣнцу, душу выплакала, а я, матушка, слезинки не выронила. Одѣвали, убирали меня;—я уже не перечила. Съ тѣхъ побоевъ матушки словно у меня сердце закаменѣло, слезинки въ глазахъ не стало. Что хочешь дѣлай со мной, хоть къ Богу меня въ рай веди, хоть сейчасъ посылай въ адъ—мнѣ все равно. То-есть, я все будто и вижу передъ глазами, и словно я ничего того не вижу. Словно свѣтъ Божій заступился мнѣ. Какъ я ту обѣдню выстояла, я не знаю; только, видно, я могутна была, что батюшка нашъ, отецъ Алексѣй, выслалъ мнѣ изъ алтаря стульце, чтобъ я сѣла. О вѣнцѣ я ничего не помню. Говоритъ сестрица Аграфена Архиповна, что я даже смѣялась подъ вѣнцомъ. Какъ должно намъ было мѣняться кольцами, я будто сказала ему, что она сама слышала: «Смотрите, еще это кольцо пустите по церкви», и засмѣялась. Видишь, матушка, какая я веселая принимала святой вѣнецъ?»

— Вижу, Любовь Архиповна, сказала я.

«Ну, принявши его, какъ привезли насъ домой и стали меня сажать за столъ, я говорю матушкѣ: «Что, будетъ уже, или не все кончено?» прошла прямо, упала въ постель, какъ

была въ вѣнчальномъ платьѣ, и зарылась головою въ подушки. Онъ было вздумалъ придти ко мнѣ, такъ я, матушка, поднялась, сѣла на постели и говорю ему: «Чего вы пришли? Будетъ еще ваше время. Или хотите меня съ вѣнчальнаго помосту да снести до погосту? Я себѣ горло перерѣжу.» Такъ онъ, матушка, и ушелъ. Я, должно быть, крѣпко заснула послѣ своей муки. Когда я проснулась, то уже сестрица, не помню какая, вошла ко мнѣ и свѣчку засвѣтила. А я больна лежу: ни ногой двинуть, ни рукой не могу, и во рту у меня все пересохло. «Дай, говорю, ради Христа, водицы мнѣ напиться.»

Любовь Архиповна помолчала и покачала головою.

— Охъ, горечко, горе лютое! И нѣту на свѣтѣ другаго такого горя, какъ бываетъ горе женское.

— Богъ съ нимъ, Любовь Архиповна! сказала я.—Пойдемте дальше. Скоро вы уѣхали отъ матушки?

— Нѣтъ, ты еще подожди уѣзжать! живо сказала мнѣ Любовь Архиповна.—Я еще тебѣ, матушка, разскажу, какъ я свою дѣвичью жизнь отпировала.

— Вы? пировали?...

— А тебѣ не вѣрится, не бось? Еще какъ, матушка, отпировала! Отпѣла и отплясала на пропалую.

Я смотрѣла на Любовь Архиповну, собираясь услышать что-то невыразимо-странное.

«Ну, какъ я тебѣ сказала, матушка, что сердце-то у меня закаменѣло, говорила она—такъ оно у меня и осталося. На мужа-то я не гляжу и не вижу его; матушка мнѣ какъ чужая стала: одно только то, какъ погляжу на сестеръ, кажется бы, я имъ душу свою горькую отдала! Вотъ-то положили намъ на завтра выѣзжать, я говорю послѣ обѣда матушкѣ: «Утопили вы мою голову на вѣки вѣчные, пусть же я въ послѣдній разъ оглянусь на свою радость дѣвическую, на долю мою молодую безвозвратную. Идите себѣ, куда знаете, на вечеръ и его берите съ собою. Чтобъ его духу тутъ не было! Я хочу проститься съ своими.»

— Что же, матушка? спросила я.

— Да ничего, сказала Любовь Архиповна. Она стала тихая такая да смирная; все на меня смотритъ. «Любаша моя, Любаша! Ну, Богъ съ тобой, говоритъ, дѣлай какъ знаешь. Развѣ я тебѣ худа желала?» —То-то до добра и довели, говорю. Берите же его съ собою, чтобъ мои глаза его хоть часъ мѣста не видали.

— А онъ, Любовь Архиповна? спрашивала я.

«Что онъ, матушка? Мнѣ о немъ и заботы не было. Я и звать-то его иначе не называла, какъ *онъ* да *его*. «Что жъ? говорю, развѣ вы все будете такъ за мною слѣдомъ ходить? Идите себѣ съ матушкою, а я останусь свой послѣдній пиръ пировать. Вы со мною не жили дѣвичьей моей доли и воли вы не дѣлили, стало вамъ нечего и быть тутъ, какъ я стану прощаться со всѣмъ тѣмъ.» Поплелся онъ, матушка, а я протопопскимъ барышнямъ велѣла сказать, чтобъ онѣ, черезъ своего философа, всѣхъ нашихъ господъ оповѣстили, что я всѣхъ жду свой послѣдній пиръ пировать.

«Собрались они всѣ до единаго, и барышни наши милыя всѣ, какъ одна, сошлись. Вышла я къ нимъ разряженная какъ подъ вѣнцомъ была, кланяюсь имъ всѣмъ. «Спасибо вамъ, говорю, барышни мои милыя, голубочки мои сизокрылыя, и вамъ, птицы вольныя, сокола ясные, господа наши веселые! что всѣ вы ко мнѣ сошлися, слетѣлися не добычу добывать, не пшеницу клевать, а мой послѣдній пиръ пировать, мою дѣвичью долю поминать.» Низко я имъ всѣмъ поклонилася, и они мнѣ низко, какъ одинъ, всѣ поклонъ отдали. И такая тишина стала между нами чудная, что я того и жду, или я зарыдаю, или изъ нихъ кто-нибудь голосомъ зарыдаетъ. «Ну, говорю я: что жь мы это попримолкли да пріуныли:

Со вечера буёнъ вѣтеръ уставаль,
Широки мои вороты растворяль,
Широки мои, не заперты,
Подворотня не подложена была,

да съ этимъ словомъ:

Сѣра утица съ двора сошла...

я какъ пошла въ танокъ, какъ залились всѣ мы голосами, какъ словно душа у насъ всѣхъ разомъ дрогнула, и углы тѣ глухіе и нѣмые голосомъ отозвались намъ. «Во дворъ!» говорю я. Допѣла пѣсню, поднесла всѣмъ по стакану меду и уподчивала своихъ гостей всѣмъ, что̀ у матушки было дорогаго да завѣтнаго. «Во дворъ!» говорю:

Свѣти, свѣтелъ мѣсяцъ,
Ты свѣти посвѣтлѣе,
Чтобъ гулять веселѣе...

«А я нигдѣ такъ не любила гулять, говорила Любовь Архиповна, какъ любила на дворѣ, на морозѣ да при мѣсяцѣ. Снѣгъ бѣлый подъ ногою хруститъ, морозъ въ вереяхъ скрипомъ скрипитъ: мѣсяцъ на тебя, молодую, словно молодецъ, глядитъ, и вся ты сама не знаешь, не то жарко тебѣ, не то холодно. Будто жаръ тебя пробираетъ морозомъ, и морозъ тотъ словно по тебѣ огнемъ въ крови разливается...

«Вышли мы, родная, во дворъ, продолжала говорить мнѣ Любовь Архиповна: на небѣ ясно, вызвѣздило, студено стоитъ, словно душу тебѣ морозъ крѣпитъ. Я какъ глянула на небо и потомъ глянула на землю, что вся она отъ морозу искрами по снѣгу разгорается, душа у меня пыломъ, какъ огнемъ, прошла. Эхма! лютое горе, не круши меня. Жива буду, не позабуду; умирать стану, тебя вспомяну! Не откуплюсь я отъ тебя звѣздами ясными, не отсыплюсь снѣгами сыпучими, морозы лютые не скуютъ тебя, дай же я отпоюсь отъ тебя моею пѣснею веселою, разудалою! И какъ залилась я, матушка:

Внизъ по рѣчушкѣ гоголушка плыветъ,
Выше берега головушку несетъ...

какъ всѣ мы понеслись разомъ въ круговой танокъ, сплелись межь собою руками, наши молодцы какъ пріударили о морозную землю. Черный свистнулъ переливнымъ посвистомъ, и все вокругъ насъ словно затихло, занѣмѣло и одна та наша

пѣсня, отзывнымъ посвистомъ, пошла гулять по поднебесью!...

«Я подъ собой земли не слыхала», говорила Любовь Архиповна. Никогда въ жизни, ни прежде, ни послѣ, она звонче не пѣвала и не плясала такъ... «Я будто и пріустану немного, и хороводъ словно начнетъ ослабѣвать у насъ, такъ нѣтъ! Черный какъ зальется, засвиститъ съ-стиха и громче своимъ голосомъ—и словно онъ силою какою могутною двинетъ насъ! Опять хороводъ ожилъ, встрепенулся, и я пошла съ нимъ, съ Черпымъ, въ одиночку плясать...

«Наконецъ, матушка! сказала Любовь Архиповна:—отплясала я всѣ свои пляски и перепѣла всѣ мои пѣсни. Начала было эту послѣднюю:

Изъ-за лѣса, лѣсу темнаго
Вылетало стадо лебединое;
А другое—гусиное.
Отставала лебедушка
Прочь отъ стада лебединаго,
Приставала лебедушка
Что ко стаду ко сѣрыхъ гусей...

И тамъ дальше: что отставала такая-то прочь отъ красныхъ дѣвушекъ и приставала она къ молодымъ молодушкамъ, я, матушка, не кончила. «Будетъ! говорю, пѣсня кончена... Попрощаемся, мои барышни, на разставаньи. Гдѣ я съ вами пѣла и плясала, тамъ вы меня обнимите и отпустите отъ себя, мои бѣлыя лебедушки!» И словно съ меня силу мою всю какъ рукой сняло. Прислонилась я къ дереву, чтобъ устоять мнѣ... И дерево это, я какъ сейчасъ помню, большая верба у матушки середи двора была. Мы ее сколько разъ охватывали въ хороводъ, и еще плясать подъ нею такъ чудно было. Вѣтки большія всѣ въ инеѣ, наклономъ наклонились; мы какъ двинемъ подъ нихъ хороводъ и зальемся нашею пѣснею, такъ вся верба шорохомъ шорохается и сверху инеемъ осыпаетъ насъ... Такъ вотъ къ вербѣ-то своей я прислонилась, матушка, и стою, не двигаюсь. Барышни всѣ, одна

по одной, подошли ко мнѣ, поцѣловали меня, и всякая мнѣ низко поклонилася. Я имъ слова никакого не молвлю, стою, поглядѣла вокругъ: по одну сторону онѣ отошли, стоятъ, мои голубочки, по другую сбились въ кучку наши добрые молодцы... «Ну-те; а вы же что? говорю, развѣ я вамъ не хорошо пѣсни пѣвала, или не весело плясала съ вами, что, таковы молодцы, вы и попрощаться со мной не хотите?» Черный, матушка, слова не сказалъ, подошелъ первый ко мнѣ; наклонился, крѣпко поцѣловалъ меня, а слезы у него какъ брызнутъ, такъ и задали мнѣ лицо... Я посмотрѣла ему вслѣдъ. «Прощай, добрый молодецъ!» говорю, онъ и не оборотился: пошелъ прямо къ воротамъ и только назадъ рукою махнулъ. Такъ они всѣ подошли ко мнѣ и попрощалися со мною. Филозофу нашему послѣднему пришелъ чередъ. Онъ и приступилъ ко мнѣ; но видно, взглянувши на меня поближе, какъ всплеснетъ руками: «Ахъ, братцы мои, сестрицы голубочки! завопилъ голосомъ: Любовь Архиповна совсѣмъ умираетъ.»—Не бось, сказала я. Еще поживу,—и пошла отъ него въ домъ.»

Признаюсь, Любовь Архиповна могла бы молчать цѣлый часъ, и у меня не достало бы духу сказать ей, что дальше, Любовь Архиповна?

«Вотъ теперь: сударыня моя, мы и уѣхали, сказала она. На завтра матушка поднялась куда рано, зятя-то, значитъ, выпровожать. Какъ водится, блинами насъ на дорогу подчивала; а сама сидитъ и не сидитъ за столомъ, все будто по угламъ чего ищетъ; наклонится къ тарелкѣ, а слезы у нея каплями падаютъ на блины. «Солоно будетъ масло, матушка,» сказала я. Она и не отвѣтила. И какъ стала она прощаться со мною, обнимать его и меня, просить его, чтобы онъ меня любилъ да жаловалъ, такъ я не знаю, чью бы душу не разжалобила матушка! Теперь меня прошибаетъ слеза, а тогда ничѣмъ ничего, даже мнѣ будто досадно стало, припала матушка, слезами обливаетъ меня; а я таки не вытерпѣла: «Лучше, говорю, прежде было бы думать о томъ;

а теперь ужъ плакать нечего.» Такъ матушка на дорогу таки легонькій толчокъ мнѣ дала. «Дура ты, дура!» сказала она на прощаньѣ и обѣими руками охватила меня. А съ сестрицами какъ я разставалась, точно я каменная была. Стою только, да смотрю на нихъ. Слезъ у меня нѣту, и слова я никакого не могу сказать имъ. Такъ онѣ, мои родненькія, какъ безчувственную какую, оплакали меня, разцѣловали, укутали платками, и сѣла я съ нимъ въ кибиточку, сударыня моя... Только я не долго сидѣла. Едва выѣхали за ворота, я увернулась съ головою въ шубу и легла. А зима тогда забойная была. Ѣхать по степи прямою дорогой въ городъ, гдѣ онъ при своемъ коммиссіонерствѣ служилъ, нельзя было; а надобно было брать окольными путями на села да на деревни. Этакъ мы верстъ двадцать давали крюку, и остановились лошадей кормить, и я лежу, какъ легла, головы не поднимаю. Уже не помню, какъ и что онъ мнѣ говорилъ, какъ меня упрашивалъ, чтобъ я встала. Я думаю, онъ разъ двадцать начиналъ ту исторію,—я, матушка, не двинулась пролежала какъ убитая и словечка ему не промолвила. Запрягли лошадей, опять поѣхали мы; а я все лежу и день цѣлый я головы не подняла, и что есть свѣтъ Божій не видала! Наконецъ пріѣхали мы въ городъ уже поздно вечеромъ, при огняхъ; слышу я, матушка, заскрипѣли ворота... Онъ хотѣлъ было меня вынести изъ саней. «Подождите, говорю, выносить, какъ умру, а теперь еще сама пойду.» И пошла я, матушка, шатаясь на ногахъ, какъ опьянѣлая... Вошла я въ домъ, хоть бы я перекрестилась, или бы какую молитву сотворила, хотя бы я, то-есть, подумала о томъ, что это же мой домъ, гдѣ мнѣ не часъ часовать, а то-есть весь вѣкъ мой вѣковать,—и ни крошечки ничего того у меня на умѣ не было. Вошла я и прямо сѣла, не поглядѣла никуда, таковато я, матушка, въ домъ хозяйка прибыла.»

Любовь Архиповна посмотрѣла на меня.

— Ну, что же мнѣ тебѣ говорить? Все, какъ я на новомъ хозяйствѣ жила?

— Все, Любовь Архиповна, сказала я.

—Тяжко, матушка! вздохнула она.—Спаси Господи и помилуй всякую душу христіянскую отъ той жизни, какою я пожила! То-есть съ чего тебѣ и начать, не знаю! Горе мое и мудрости мои великія были. Мнѣ тяжко, да и ему приходилось не легче моего... Ты уже знаешь, матушка, кто этотъ *онъ-то?* спросила Любовь Архиповна.

— Знаю хорошо, отвѣчала я.

— Такъ вотъ такъ-то изволь слушать, свѣтъ мой дорогой, коли охота твоя.

Любовь Архиповна тронула меня ласковою рукой.

— И на что бы, кажись, наводить на тебя муку мою? сказала она.—Господь милосердый минуетъ тебя долею такой; а я вотъ какъ туману напущу на тебя своего лиха! А все ничего, душа моя. Не узнавши своего, ни чужаго горя, не узнаешь ты сердцемъ радости. На что Божье свѣтлое солнышко, а послѣ дождя и тучки—и оно будто свѣтитъ свѣтлѣе.

Я взяла за руку Любовь Архиповну.

— Говорите же мнѣ ваше горе сполна, какъ оно томило васъ. Я хочу узнать всю цѣну той свѣтлой, тихой радости, которою Господь благословляетъ насъ.

И Любовь Архиповна говорила мнѣ. Глубоко потрясающъ былъ ея простой, отъ сердца, разсказъ.

«Ну, сударыня моя, вотъ-то, значитъ, я и пріѣхала. На утро-то какъ поглядѣла я вокругъ—все это чужое, незнакомое. На улицу гляну—чужая она: на себя я поглядѣла въ зеркальцо, а на мнѣ лица моего прежняго нѣтъ: глаза впалые да злые такіе, словно сама я себѣ чужая стала. Онъ вокругъ меня такъ-сякъ, «Любаша! говоритъ: мы бы въ гости пошли».—Я уже отгостила свое, сказала я. На вечеръ сошлись къ нему знакомые и пріятели его, поздравить-то, значитъ, съ молодою женой, поглядѣть какова она. Нечего дѣлать, вышла я къ нимъ, и то-есть гдѣ-то мое умѣнье дѣлось,

какъ я, бывало, ни стараго, ни молодаго безъ веселаго слова не пропущу! Всякому я найду сказать, что̀ ни есть такое, что и мнѣ весело, и ему отъ меня слушать весело; а теперь я вышла къ нимъ, сѣла какъ тетерька нѣмая; они смотрятъ на меня, а я словно боюсь и взглянуть на нихъ. Запряталась я поскорѣе въ другую горенку разливать чай имъ. И то-есть, родная моя, такое на меня чувство нашло, будто весь міръ отъ меня отступился, и я сама отступилась отъ всего. Не то чтобы мнѣ прошлаго было жаль, дѣвичьи мои пляски и пѣсни манили меня,—нѣту, не было у меня того. Я и забыла, и даже мнѣ чудно было, что я потѣшалась. Господи твоя воля знаетъ, изъ-за чего! Тягота на меня такая налегла, тоска смертная, вотъ душа съ тѣломъ разстается, да не принимаетъ Богъ. Какъ я сяду на одно мѣсто да опущу голову, такъ бы я, кажется, до конца свѣта просидѣла и не двинулась бы съ мѣста того! Матушка покойница сама осталась безъ кухарки, а мнѣ Гашку въ приданое отдала. Пришла та Гашка спрашивать меня о кушаньѣ, я какъ махнула ей рукою, такъ она больше не приходила ко мнѣ. Какъ они тамъ знали, вмѣстѣ съ бариномъ пекли и варили; мнѣ и нужды не было ни до чего. Позовутъ меня обѣдать, я обѣдаю, а не позови меня, я бы три дня хлѣба святаго не ѣла и не вспомнила бы того,—то-есть ни вкусу, ни чувствія какого не стало у меня. Коли бъ не такой тяжкой грѣхъ, я бы руки наложила на себя.»

— Ахъ, Любовь Архиповна! невольно сказала я.

« Таково-то мнѣ легко было, душа моя! качая головой продолжала Любовь Архиповна.—Сижу я, сижу, опустя глаза, да какъ гляну вокругъ, такъ у меня душа словно стономъ застонетъ, словно я живая въ гробу лежу, и это мнѣ камнемъ тяжкимъ привалили на грудь!

— А и Никаноръ Семеовичъ?

« Не говори! живо пріостановила меня Любовь Архиповна. Съ какого тебѣ конца и краю начать сказывать мудрости мои, не знаю сама. То-есть не терплю я *его*, какъ

стала на томъ, что не терплю—и кончено, сударыня моя! Да вѣдь какъ не терплю? И не подходи онъ ко мнѣ, и не говори, и глядѣть на него не гляжу! Вотъ тебѣ святое слово: ей Богу! годъ и два мѣсяца коли онъ слыхалъ отъ меня другое что, какъ одно *да* и *нѣтъ*, и больше ничего. Я съ нимъ по недѣлямъ глазами не встрѣчалась. Коли онъ *здѣсь*, то я смотрю *туда*, или поверхъ его, звѣзды по потолку считаю; а коли ужъ опустила глаза, хоть онъ часъ битый стой передо мною, не взгляну я. Его три дня дома нѣтъ; пріѣдетъ онъ, я у окна сижу, головы-не поворочу, когда онъ въ комнату войдетъ. Вотъ такое я золото была! Что тутъ говорить? Чай мы пьемъ, онъ отъ меня на два аршина сидитъ; такъ я сама не спрошу у него, хочетъ ли онъ еще чаю. Малашка, говорю (дѣвка его Малашка была), спроси у барина, хочетъ еще чаю.... Какъ тебѣ и разсказать все?... Противный онъ мнѣ показывался такой, что я бы завязала глаза и бѣжала въ лѣсъ отъ него, и все мнѣ отъ него противно, вотъ я не глядѣла бы ни на что! Онъ, матушка, гдѣ тамъ копѣйку какую несчастную разгоритъ, какъ муравей, гляди, тащитъ мнѣ не то, такъ другое, коли не подарочекъ какой, такъ лакомство. И что ты изволишь думать? Такъ оно изваляется все по комнатѣ у меня, пылью припадетъ, а я его пальцомъ не трону, пока сама Малашка не догадается прибрать въ сундукъ. Пріѣхала къ намъ матушка, поглядѣть-то, знаешь, на наше житье-бытье. Ну, и увидѣла... «Да что-жъ ты это, Любовь, чудеса творишь?» стала она говорить мнѣ, осматриваясь, чтобъ его не было. «У кого ты это научилася? мужъ къ тебѣ, какъ мужъ, а ты ему, что называется, и черезъ губу не плюешь?» Я поворотилась и будто про себя говорю: «Напрасно еще! навязали шатуна на шею да и возись съ нимъ, какъ съ путнымъ чѣмъ».—Такъ ты еще вотъ что говоришь! Туда-сюда поискала руками матушка и увидѣла на окнѣ аршинъ.—Коли у тебя закону Божьяго, ни страху мужниного нѣтъ, такъ вотъ я тебя материнскою рукой поучу. И ко мнѣ матушка съ аршиномъ; а тутъ онъ,

откуда ни возьмись въ дверяхъ, увидѣлъ. «А, нѣтъ! матушка! заслонилъ меня. Какъ вамъ угодно, говоритъ. Было ваше время, когда вы учили ее; а теперь уже Любаша моя.» А я, что ты думаешь? изъ рукъ у него рвусь. Лучше бы меня матушка аршиномъ прибила, чѣмъ онъ защищаетъ меня. Да, моя родная! хоть бы онъ побилъ меня, желала я. Не шутя говорю... То-есть хоть бы я дала себѣ волю и набранила его, сколько душа хотѣла, такъ нѣтъ! и въ томъ не доля моя. Молчитъ, на всѣ мои мудрости молчитъ, и еще какъ скажетъ мнѣ: «мое сокровище!» лучше бы онъ ножомъ подъ сердце мнѣ далъ. Зароюсь я головою въ подушки и лежу по цѣлымъ часамъ, словно я не живая. Гашка безъ него прійдетъ усовѣщевать меня. Станетъ надо мною: «Матушка! барынька! Любушка! что ты это съ собою дѣлаешь? оглянись ты на Бога и на него, сердечнаго. Вѣдь краше въ гробъ кладутъ. Ты его совсѣмъ извела.» И начнетъ меня упрашивать и умаливать. Стыдно мнѣ ее, старуху, прогнать. Долго терпѣлю я, да уже какъ станетъ она расписывать, что онъ и добрый, и хорошій, за такимъ бы мужемъ только жить, да Бога небеснаго благодарить, я, матушка, въ подушкахъ не улежу. «Возьми его, старая, себѣ, скажу, и повѣсь на шею: равно длиненъ.» Съ тѣмъ Гашка вздыхаючи и пойдетъ отъ меня...

«Наступила весна, и, Мати Божія! какъ-то она тяжка мнѣ была! говорила далѣе Любовь Архиповна. По улицамъ знакомыя пѣсни поютъ, люди всѣ будто повеселѣли, посмотришь, всякій словно радъ чему; народъ, какъ пчелы, высыпалъ, гудетъ по надворью, и вздумаешь, что у матушки садикъ цвѣтетъ, сестрицы, голубочки, воркуютъ подъ яблонью, вспоминаютъ меня. Гдѣ бы я дѣлася, чтобы мнѣ ни пѣсень тѣхъ не слыхать, ни людей не видать, и чтобы солнце-то на меня не свѣтило! Выбрала я себѣ мѣстечко у окна на глухой переулокъ, куда люди почти не захаживали, и солнышко когда заглянетъ, а когда скажетъ: незамай, пусть будетъ и такъ. Вотъ, матушка, истинно слово людское: не умрешь,

какъ Богъ смерти не дастъ. Что я той муки сердечной приняла у окошечка, не приведи Богъ! Даже отъ Господа Бога отступилась. Не могу я Богу молиться, да и не могу, въ конецъ не могу. Стану передъ образами, да какъ положу на себѣ крестъ, уже онъ мнѣ тяжелъ, тяжелъ показывается... такъ я постою и отойду... Вѣдь вотъ притча-то была! Что ты думаешь, родная моя?» спрашивала меня Любовь Архиповна.

Что мнѣ было говорить ей о страшномъ значеніи этой притчи? Да, впрочемъ, Любовь Архиповна была слишкомъ поглощена своими тяжкими воспоминаніями: она и не ожидала моего отвѣта.

«Вотъ такъ то я сижу-посижу у окошечка, продолжала она. Для людей будни и праздникъ есть, для людей Божья благодать въ полѣ цвѣтетъ, а мнѣ все моя одна тоска смертная, извела меня ни на что. Никуда я ни ногой изъ дому; чтобы мнѣ въ гости пойдти, или прогуляться когда — никогда! Сижу какъ на цѣпи прикована, даже въ церковь Божію совсѣмъ отстала ходить. Одно то — какъ пойду я, на меня словно люди дивуются, словно я такая себѣ странная межъ людей показываюсь, а другое—за чѣмъ было мнѣ и въ церковь ходить, когда я забыла, что то есть человѣку Бога небеснаго Создателя молить?»

Я смотрѣла на Любовь Архиповну съ такимъ тяжкимъ, захватывающимъ душу любопытствомъ, съ какимъ молодой солдатъ смотритъ на изувѣченнаго воина и слушаетъ его разсказы о неслыханныхъ битвахъ.

— Боже мой, что же вы? какъ, Любовь Архиповна?.. проговорила я, не находя словъ, чтобы спросить у нея, какъ она вышла изъ этого страшнаго оцѣпеняющаго положенія, какъ она перенесла его.

«Какъ? повторила она. — Одинъ Богъ знаетъ, какъ. Нашлась, матушка, душа христіянская, которая ко мнѣ на подмогу пришла...

«Сижу я у своего окошечка, и чулокъ у меня въ рукахъ,

словно я туда же прилежная работница, говорила Любовь Архиповна, съ грустною ироніей кивая немного головою. А я, матушка, больше того, что и не помню, есть ли у меня какая работа въ рукахъ; такъ только, по привычкѣ, сами пальцы перебираютъ. Сижу я, поглядѣла, а у меня подъ окномъ на завалинкѣ нищая сидитъ. То-есть не то чтобы совсѣмъ нищая была, а такъ мнѣ съ перваго раза показалось: старушка, и котомочка за плечами, какъ у нищей братіи. Ну, нищая такъ нищая, надобно милостыньку дать... Окошечко у меня отворено было, и какъ это я не слыхала и не видала, какъ нищенька подошла и сѣла противъ меня! Подаю я ей въ окошечко милостыню, а она такъ на меня пристально смотритъ: «Христосъ твою милостыньку взялъ; да сама-то ты, барынька, молода да болѣзна», говоритъ старушка и все смотритъ на меня. Горько мнѣ стало.—Ай, говорю, бабушка, до клюки дожила, и что есть горе на людяхъ не видала? Иди себѣ съ Богомъ. Не смотри на меня. «Истинно, барынька, не видала, сказала старушка. Какъ твое гореванье, не видала другаго.»—Такъ смотри же, говорю, бабушка (сердце у меня защемило), смотри, говорю, и кайся Богу, коли ты думала, что несчастнѣе тебя на свѣтѣ нѣтъ. Лучше бы я твою котомку надѣла и подъ однимъ окномъ кусокъ хлѣба выпросила, а подъ другимъ бы съѣла его. Лучше бы я... И не помню, матушка, что я дальше ей говорила; только, какъ я опомнилась, а старушка стоитъ передо мною. «А Пресвятая Богородица, барынька?» сказала она мнѣ. И такъ она меня этимъ словомъ чуть до слезъ не довела. Упала я на окошечко головою и, можетъ быть, съ часъ мѣста я пролежала такъ, да послышала, что онъ въ сѣни идетъ.—Иди, говорю, бабушка, иди, Богъ съ тобой. Онъ идетъ. «Да что *онъ*, грозенъ у тебя, что ли?»—А кто его знаетъ, бабушка, отвѣчала я. «Чудна ты, барынька!» сказала старушка и пошла отъ меня по проулочку; а назавтра опять пришла. И такъ она стала, что день Божій, приходитъ ко мнѣ подъ окошечко. «Здорово, барынька моя болѣзная! скажетъ и сядетъ

на завалинкѣ. Христосъ тебѣ слово Свое святое прислалъ, чтобы ты не кручинилась, а уповала на Него. Не въ пользу кручина, а въ пользу молитва, барынька, Христосъ сказалъ.»

«И вотъ истинно душа христіянская! умиляясь, продолжала Любовь Архиповна. Авдотьюшка, почитай цѣлые дни, какъ мать отъ больнаго дитя, не отходила отъ окна у меня. Какъ только послѣ обѣдни, и сейчасъ идетъ ко мнѣ, и сидитъ она у меня на завалинкѣ до самыхъ тѣхъ поръ, пока въ колоколъ къ вечернѣ ударятъ. Кудельку свою достанетъ и волонку прядетъ. Я молчу, матушка, въ горѣ-то своемъ нѣмая, безпривѣтная, а она мнѣ начнетъ разсказы разсказывать о томъ, какъ Богъ спасаетъ человѣка, и о святыхъ угодникахъ, и о всѣхъ святыхъ мѣстахъ, гдѣ Авдотьюшка была (а она всюду была: въ Кіевѣ, и въ Почаевѣ, и у Соловецкихъ угодниковъ была). Сначала я будто и не слушаю ея; а далѣ обопрусь обѣими руками на окошко, закрою лицо, и словно Авдотьюшка тихимъ своимъ да мѣрнымъ словомъ заговариваетъ лютое горе мое. Слушаю я и не вспомнюсь, какъ заслушаюсь ее.»

— А не помните ли вы какой-нибудь разсказъ Авдотьюшки? спросила я Любовь Архиповну.

«Гдѣ-то не помнить? отвѣчала она. Позабудешь ты, матушка, благодать Господню, которая въ тоскѣ и мукѣ сердечной посѣтила тебя?.. Такъ гляжу я—нѣту Авдотьюшки, и день прошелъ—нѣту ея, и на другой день сижу я у окошечка—нѣтъ никого. Такъ мнѣ тяжко да грустно на сердцѣ стало. На третій день и не жду я ея—смотрю, къ вечеру идетъ моя Авдотьюшка по проулочку отъ поля. Пришла ко мнѣ. «Гдѣ ты была, Авдотьюшка?» спрашиваю я ее.—Въ Божьемъ домѣ, на царскомъ пиру, на веселіи ангельскомъ. «Гдѣ, Авдотьюшка? не понимаю я.»—На-ка вотъ, барынька! Отведи свою душу болѣзную, говоритъ она, подавая мнѣ пучекъ ягодъ земляники,—и еще, говоритъ,—я даръ великій отъ Божьяго дома, со трапезы царской, принесла. И достала мнѣ

изъ котомочки просвирку о здравіи. Беру я обѣими руками тѣ ягоды и просвирку святую, а у меня даже руки дрожатъ, такъ я имъ обрадовалась. Цѣлую хлѣбъ святой, и когда бы мнѣ не стыдно было, кажется, я бы ягоды расцѣловала. «Спасибо тебѣ, говорю, Авдотьюшка! спасибо тебѣ, родная!» Высунулась я въ окошечко и обняла старушку, поцѣловала ее. И такъ мнѣ тѣ ягоды, Богъ знаетъ, какимъ запахомъ пріятнымъ да хорошимъ пахнутъ, что я даже повеселѣла. Стала ихъ ѣсть—и ѣмъ, и смотрю на нихъ, и такая у меня во вкусѣ сладость, какой я давно не знавала. «Вотъ, говорю, Авдотьюшка! какія твои ягоды! Я будто такихъ вовѣкъ не ѣла.»—Ну, говоритъ, кушай во здравіе. А сама сѣла на завалиночкѣ и стала мнѣ говорить, что это она верстъ за тридцать на освященіе храма Божія ходила, что привелъ ее Господь на пятнадцатомъ посвященіи быть, и какое это великое дѣло, когда поставляется домъ Божій на землѣ. И вотъ тутъ она мнѣ разсказъ и разсказала... Я не съумѣю и пятой доли пересказать того, какъ то она чудно да хорошо говорила мнѣ:

«.... Что престолъ Божій, на которомъ Господь Богъ возсѣдитъ на небесахъ, стоитъ онъ четырьмя углами на четырехъ главныхъ церквахъ. Первой уголъ есть Іерусалимскій, а за нимъ позади Московскій Успенскій, а съ другой стороны первый Кіевскій, а позади церковь пустынныхъ Соловковъ. И путь ко престолу Господню, которымъ праведныя души возносятся на небеса, составляютъ всѣ святыя церкви по ту и по другую сторону въ рядъ; а новопостроенная церковь стоитъ первая отъ земли, пока ее молитвы христіянъ православныхъ не вознесутъ ближе ко престолу Божію. И когда упокоится на землѣ душа правая, святая, въ чистотѣ Богу пожившая и милостыню творившая, ангелы, радуяся, приносятъ ее поклониться предъ лицо Божіе; и возговоритъ къ ней Господь Богъ словомъ Своимъ святымъ: «Радуйся, душа благая! милостями милость у Мене, Создателя, купившая и чистотою зраку лица Моего угодившая, веселися въ небесномъ

раю, въ сожитіи ангельскомъ. Но ты, душа великая, возговоритъ Господь Богъ ко другой душѣ: горемъ земнымъ возращенная и слезами воспоенная! потрудись еще передъ Богомъ твоимъ. Вотъ тебѣ крестъ золотой Сына Моего, Господа Іисуса Христа: чтобы ты предстояла на немъ и денно и нощно молила Мое милосердіе за всякую душу скорбящую, за всякую душу воздыхающую,—какъ сама ты знаешь, душа великая: тяжко оно людямъ, земное горе!» И таково то великое предстояніе на крестахъ, что Матерь Божія молится: «пусти Ты меня, Боже мой, Отче Сына моего Іисуса Христа! да я стану на золотой крестъ Его, поверхъ святаго храма Твоего, и молюся Тебѣ денно и нощно, неусыпаемо и неумолкаемо за родъ христіянскій.» И возговоритъ къ ней Господь Богъ, какъ тихимъ громомъ, пренебеснымъ словомъ: «Довольно с Тебя, Богородица, Пречистая Дѣва Марія, что Ты предстояла у самаго креста Сына Моего распятаго Іисуса Христа. То Твое великое предстояніе; не надо другаго.» И тутъ всѣ ангелы воскликнутъ своимъ божественнымъ пѣснопѣніемъ: *Радуйся, Благодатная!* а святые всѣ на небесахъ поклонятся: *яко Спаса родила еси душъ нашихъ*, и снимутъ свои золотые вѣнцы. А Господь Богъ на престолѣ скажетъ: *аминь*. Вотъ что значитъ построеніе храма Божія на землѣ: ангелы и всѣ святые съ Богородицею радуются и о славѣ Господней, и о томъ не меньше, что поставляются въ даръ Божій людямъ, на золотые кресты церкви, несмолкаемые и неусыпаемые молитвенники и бдители земли Русской, призирающіе на всякую душу скорбящую и ко Господу Богу воздыхающую. И по тому самому въ старину у насъ строили церкви о многихъ главахъ и о многихъ крестахъ, чтобы было на чемъ предстоять великимъ душамъ христіянскимъ и ходатайствовать предъ Господомъ; а теперь забыли про то, и строятъ церкви объ одной главѣ—одинъ крестъ святой возноситъ къ Богу одного молитвенника.»

Мы немного помолчали.

— А дальше что вы мнѣ скажете, Любовь Архиповна?

сказала я, не позабывая простой, странной и очень меня занимавшей исторіи моей собесѣдницы.

—«А то я тебѣ скажу, душа моя, сказала Любовь Архиповна, —что мнѣ даже совѣстно, какъ теперь вспомню. Чего для меня не дѣлала Авдотьюшка? Няньчила мое горе, какъ словно дитя въ колыбелкѣ; а я того и въ умъ не брала. Знай сижу у своего окошечка, и хотя бы я ее въ домъ къ себѣ ввела, и не было того. Мнѣ хорошо, что Авдотьюшка сидитъ у меня на завалинкѣ, волонку свою прядетъ и говоритъ мнѣ то и другое; а хорошо ли самой Авдотьюшкѣ, я о томъ не думала. И милостыней ее не ущедряла; а еще напротивъ, сударыня моя, что Авдотьюшкѣ подадутъ другіе, то она принесетъ и отдастъ мнѣ... Какъ святъ Богъ! сказала Любовь Архиповна, понимая, что она говоритъ вещь очень для меня удивительную.—Вотъ, матушка, до чего меня тоска моя сердечная довела, что кусокъ хлѣба взятый, можно сказать, у нищей, былъ мнѣ не въ примѣръ слаще всей ѣды и питья, которыми Господь Богъ благословлялъ меня въ мужниномъ дому! Авдотьюшка, видно, замѣтивши по ягодамъ, какъ-то онѣ сладки мнѣ показалися, на другой день говоритъ: «А что, барынька, можетъ тебѣ твой хлѣбъ не по вкусу? ты бы вотъ моего отвѣдала», и подаетъ мнѣ пирожокъ. «Вѣдь ничего, говоритъ, хорошъ, барынька, и Христовымъ именемъ взятый.» И что ты изволишь думать? Вѣдь я взяла его, сударыня.—А тебѣ, говорю, Авдотьюшка, что я за него дамъ? «А что ты мнѣ дашь, барынька? Ничего не дашь, отвѣтила она. Развѣ мнѣ эти сласти подъ нужду? Мнѣ онѣ не подъ нужду. Я такой человѣкъ, что въ гробъ гляжу. Червей мнѣ, сластями лакомить, что ли? Вотъ моя сласть: хлѣбецъ святой; а ты мнѣ, барынька, водицы въ оконушко подай, а Христосъ Богъ тебѣ за милостыньку почтетъ. Вотъ и тебѣ и мнѣ хорошо, моя барынька.»

«И вотъ такъ-то, другъ мой дорогой, продолжала Любовь Архиповна: стрàмъ людямъ сказать и грѣхъ мнѣ правду потаить, что Авдотьюшка изо дня въ день стала приносить

мнѣ то бубличекъ, то пирожекъ какой, огурчикъ ранній достанетъ и дастъ мнѣ. И я все то беру, и ѣмъ безъ зазрѣнія совѣсти, и во всемъ для меня вкусъ пріятный такой, что не надобно лучшаго; а на свое ни на что смотрѣть не смотрю я. Отощала совсѣмъ; ничего своего въ ротъ не беру, противно мнѣ все и противнымъ пахнетъ. Смѣхъ и горе, какъ вспомнишь, качала головою Любовь Архиповна и улыбалась немного. Купитъ *онъ*, бывало, принесетъ съ базара бубликовъ мягкихъ къ чаю—что жъ? вѣдь они мнѣ никуда не годятся, вкусу въ нихъ никакого нѣтъ, точно глиняные; я и одного бублика не съѣмъ, искрошу его въ крошки и Гашкиному коту отдамъ. А Авдотьюшка принесетъ тотъ же самый бубликъ, такъ нѣтъ! Авдотьюшкинъ бубликъ и тотъ да не тотъ: не нахвалюсь я имъ, какой онъ мнѣ хорошій да пріятный во вкусѣ показывается, точно его наша Ѳеська Неминучая пекла. Подживила меня Авдотьюшка, да скоро ушла отъ меня, родная моя. «Жаль мнѣ покинуть тебя, барыньку мою болѣзную, говорила она, да нечего дѣлать! Святые угодники Кіевскіе ждутъ; я еще съ зимы имъ обѣщалась.» Осталась я опять однимъ одна.»

— А Никаноръ Семеновичъ? сказала я. — Мы про него будто совсѣмъ забываемъ.

«Потому, родная моя, что и помнить-то пока нечего. Все та же статья была, сказала Любовь Архиповна.—Гдѣ онъ у Христа терпѣнія бралъ, чтобъ ему возиться со мною? Лѣто-то, знаешь, наступило; ѣдетъ онъ въ свой хуторочекъ похозяйничать и уже онъ упрашиваетъ, умаливаетъ меня, чтобъ я съ нимъ поѣхала. «Чего я тамъ не видала? отвѣчу я. Я мѣсту рада, а не то, чтобы мнѣ въ разъѣзды разъѣзжать.» Разъ, нечего дѣлать, поѣхала я съ нимъ. Онъ самъ и правилъ, и бричечка маленькая открытая была. Какъ мы въѣхали въ рожь, что ни насъ, ни нашей брички, ни гнѣдка не видно стало (а рожь только выметалась и красоваться начала); какъ зашумѣла она у меня шумомъ въ ушахъ, какъ я глянула, а впереди и вокругъ меня все это волнами вол-

нуется, и съ конца и краю, кажись, будто со всей середины Господнихъ полей, какъ обдало меня тепломъ да запахомъ, я, матушка, точно опьянѣла, обомлѣла совсѣмъ, что онъ меня почти на рукахъ съ брички снесъ... «И Господь Богъ съ тобою, и со всѣмъ домохозяйствомъ твоимъ! Пусть оно тебѣ остается. Пріими меня, Матерь Божія, чтобы и землю-то я не тяготила!» Вотъ такая моя молитва была. Вѣдь ты, сердечная моя, возьми таки въ свое разсужденіе, здраво», съ этою чудною прямотою русскаго слова говорила мнѣ моя собесѣдница: «не совсѣмъ же я безъ разума была, чтобы мнѣ не понимать того, какой это есть тяжкій грѣхъ, что я не терплю такъ своего мужа. Я, матушка, это, Богъ знаетъ какъ, понимала; да сердца-то къ понятію разума не прикуешь никакъ.»

— Такъ какъ же, Любовь Архиповна? спросила я въ ожиданіи.

«А такъ, душа моя, что по разуму я совсѣмъ придумаю хорошо: надобно любить своего мужа, и законъ Божій велитъ; но какъ ты полюбишь его, коли сердце-то не лежитъ къ нему, коли у меня подъ сердцемъ такая змѣя свилась, что защити Мати Божія! только бы рукъ не наложить на себя, или на него... И вѣдь что ты думаешь, родная моя? взглянешь бывало, а Царица небесная такъ будто на меня жалостно смотритъ съ иконы благословенной! Пришла зима, но мнѣ ни тяжеле, ни легче не было, все одно. То-есть я сама чувствовала, коли бъ я заплакала, мнѣ бы отъ сердца отлегло; такъ не плачу же я, нѣту у меня слезъ, и гдѣ онѣ у Господа дѣлися, нѣтъ ихъ у меня ни слезиночки! Уже я себѣ и пѣсни жалобныя пѣла, чтобы мнѣ разжалобить лютое сердце мое, такъ нѣтъ! Закаменѣло, что и пѣсня его не беретъ. На что жалостнѣе этой пѣсни, матушка? сказывала свою пѣсню Любовь Архиповна: ее и поешь-то будто не голосомъ, а поючими слезами:

Калина-малина весной сажена:
На ту пору матушка меня родила.

Не собравшись съ разумомъ,
Замужъ отдала.
Я скинусь, младешенька,
Я пташечкою,
Горькой-горемычной
Кукушечкою.
Полечу я къ батюшкѣ
Во зеленый садъ;
Сяду я во садикѣ
Подъ яблонькою;
Своимъ кукованьецемъ весь садъ засушу!
Горючими слезами теремъ подтоплю.

«Еще будучи въ дѣвкахъ, я бывало отъ слезъ не уймусь, какъ запою эту пѣсню; а теперь и пора пришла слезамъ, да нѣтъ ихъ у меня ни Божьей росиночки! Только моей отрады было, что, спасибо сестрицамъ, переслали онѣ мою гитару. Такъ я, матушка, знай бренчу на ней и подпѣваю кой-какія пѣсни; только бы мнѣ не говорить съ нимъ, какъ онъ въ сумерки со службы придетъ, и чтобы онъ-то, значитъ, не занималъ меня своимъ словомъ.»

— По крайней мѣрѣ хорошо, Любовь Архиповна, что онъ васъ слушалъ, вырвалось у меня.

«Какъ не хорошо, матушка! простодушно замѣтила Любовь Архиповна. Я, знаешь, все и пѣсни такія пѣла, чтобы ему хорошо было слушать... Эхма! сказала она съ видимымъ сожалѣніемъ къ моей простотѣ и слегка ударила меня по плечу. Ты вотъ послушай-ка меня, какую я ему пѣсенку разъ двадцать въ уши пропѣла. Сидимъ мы. Я бренчу, и спросить меня, такъ я сама не знаю, что̀ такое играю я и что̀ тамъ пою. Такъ, что̀ само собою приплетется на умъ. Вдругъ, матушка, я сама послышала, что я заиграла что-то бойкое да задорное, такъ тебя живо пронимаетъ насквозь, и вышло это—коротенькая хохлацкая пѣсенка:

Ты думаешь, дурню,
Що я тебе люблю;
А я тебе, дурню,
Словами голублю.

«Что же, матушка? Я и начни твердить, да вѣдь на всѣ голоса. То потише ему пропою *дурня*, то пропою его такъ, какъ я звонче да веселѣе не пѣвала нашимъ молодицамъ въ хороводѣ. Кончу и опять начну:

Ты думаешь, дурню,
Що я тебе люблю;
А я тебе, дурню,
Словами голублю.

«И до того я, матушка, запѣлась, что не послышала, какъ онъ всталъ и, проходя мимо, тронулъ меня слегка за плечо: «Хотя бы ты словами голубила, сказалъ онъ, и то было бы хорошо». Съ тѣмъ словомъ и вышелъ.

— Что же вы, Любовь Архиповна? сказала я, невольно всплеснувъ руками.

«Перестала пѣть, матушка. Точно этимъ словомъ онъ мнѣ языкъ подрѣзалъ. И вѣдь то скажи, что и послѣ ни разу больше не пѣла! Я будто и хочу запѣть; вотъ думаю себѣ, пропою ему *дурня*—такъ не поется, матушка. Словно горло мнѣ что захватываетъ и голосу не стаетъ. Все прочее пой, на все голосъ есть; а *дурня*, нѣтъ тебѣ, не моги. Вотъ такая штука была! И въ такихъ-то развеселыхъ пѣсняхъ, думаешь ты, скоро для меня зима прошла? спрашивала меня Любовь Архиповна.

«Наступаетъ Божій великій праздничекъ, радость небесная на землѣ; думаю я, думаю себѣ, хотя не для своего счастья-веселія, такъ ради Свѣтлаго дня Христова, пусть и я буду на людей похожа. Занялась я всѣмъ, матушка, какъ слѣдуетъ къ празднику. И пасочки хорошія спекла, куличь попу посадила, яйца покрасила и таки милостыньку не забыла нищимъ дать и въ тюрьму послала,—все какъ пріучилась у матушки въ домѣ, что она бывало изъ послѣдняго бьется, а чтобы ей достойно хлѣбомъ святымъ и милостынею Христовъ праздникъ принять. И *онъ* еще, далъ ему Богъ, говѣлъ на послѣдней недѣлѣ, почти безвыходно все въ церкви да въ церкви; такъ мнѣ уже весело было да хорошо рас-

поражаться всѣмъ. Наступилъ самый канунъ Свѣтлаго праздника; я и думки никакой не гадаю. Все какъ водится: зазвонили къ *Дѣяніямъ*; одѣлся онъ, пошелъ на *Дѣянія*, а я осталась въ домѣ къ празднику все прибрать. Салфетки чистыя на столики достала; пока столъ накрыла, уставила его, чѣмъ Богъ послалъ; пока постель нарядила, лампадки всюду засвѣтила, ладаномъ по дому покурила, пока то, другое, едва успѣла сама одѣться, гляжу, и онъ пришелъ за мною проводить меня въ церковь, что уже заутреня скоро начнется. Пошли мы, и еще на дорогѣ какъ это звучно да чудно огласилъ насъ великій благовѣстъ! Боже Ты мой Господи! Кажется, вѣдь все равно ночь и благовѣстъ святой, развѣ его въ первый разъ отъ роду слышишь? А между тѣмъ будто именно въ первый и въ послѣдній разъ въ твоей жизни слышишь его, какъ онъ, матушка, дрогнетъ у тебя въ ушахъ среди неусыпальной ночи Свѣтлаго дня Христова!... Вотъ-то и заутреня отошла, продолжала свой разсказъ Любовь Архиповна. Всѣ люди радостно идутъ по домамъ, и мы пришли, то-есть я первая вошла въ комнату и стою, наклонилась надъ столомъ, красныя яйца къ посвященію отбираю, смотрю, онъ вошелъ и прямо ко мнѣ. «Нынче, говоритъ, враги заклятые цѣлуются и обнимаются; а мы все же, передъ Богомъ и передъ людьми, мужъ и жена», говоритъ; а голосъ у него, какъ струна, дрожитъ... «Христосъ воскресе!» И онъ, матушка, обнялъ меня и поцѣловалъ три раза. Я того не помню, отвѣтила я ему: «Во истину воскресе», или не отвѣтила; только какъ я опомнилась, его уже не было въ комнатѣ, я одна стою и всѣ мои красныя яйца раскатились по столу.

«Вотъ когда, матушка, со мною что-то сталось такое, что и Господь Святый вѣдаетъ! Никакого я сужденія къ себѣ не приложу. Стою въ церкви, у такой великой обѣдни, и вдругъ позабуду, гдѣ я стою. Мурашки по мнѣ по всей пойдутъ и разомъ сердце замретъ, замретъ... Вотъ, думаю, Господи, на ногахъ не устою. Сказать бы: болѣзнь какая? Не болитъ

ничего; а всю меня третъ да мнетъ, словно меня сглазилъ кто... Но въ такой великій праздникъ Свѣтлаго Христова Воскресенія, никакой злой глазъ не беретъ, это извѣстно. Разговѣлись мы, не легчаетъ мнѣ; а тутъ еще я знаю, что, отдохнувши, надобно собираться ѣхать къ матушкѣ. Она черезъ людей переказывала, чтобы мы на праздникъ непремѣнно къ ней были. Не хочется мнѣ подъ колокола ѣхать, да дѣлать нечего. Онъ еще со вчерашняго дня самъ все въ бричкѣ осмотрѣлъ и уладилъ; сегодня только садись да поѣзжай. Вотъ, думаю себѣ, бѣда не приходитъ одна. Пусть я отдохнуть лягу, можетъ статься, оно перейдетъ сномъ. И легла я, матушка: взяла подушку, положила на диванчикъ и голову платкомъ укрыла—нѣтъ, не спится мнѣ. Томитъ меня какая-то истома, словно я боюсь чего и не боюсь, словно меня что̀ за дверьми ждетъ и кровь по мнѣ волною ходитъ. Встала я, щеки у меня горятъ; а я этого дива, матушка, какъ замужъ вышла, не видала, чтобы у меня цвѣтъ на лицѣ былъ. Нечего дѣлать, стала я собираться къ поѣздкѣ. Выдвинула сундучокъ, чтобы уложить кое-что, укладываю я — я уложеннаго ничего нѣту: такъ у меня, сами собою, колѣни подгибаются и руки опускаются. «Господи! говорю, хотя бы на вѣтеръ скорѣе. Авось бы меня вѣтромъ провѣяло». И вѣтромъ не провѣваетъ, матушка! Поѣхали мы — все одно. Душно мнѣ въ бричкѣ сидѣть, и будто я сержусь, и сама не знаю, на кого сержусь. Стали мы подъѣзжать къ Купянкѣ, прилучился намъ на дорогѣ мосточекъ. «Дай, говорю, хоть выйду, пройдусь, перейду этотъ мосточекъ.» Онъ велѣлъ остановить лошадей, и мы вышли. Только онъ, матушка, хотѣлъ меня взять подъ руку, чтобы перевести, значитъ, черезъ мостокъ (дурно было идти), я какъ отшатнусь отъ него, и прямо съ размаху упала подъ мостокъ, не удержалась на краю. Я перепугалась, а онъ бросился ко мнѣ, лица на немъ нѣтъ. «Боже мой! всплеснулъ руками, долго ли еще это будетъ?» Я стала подниматься, матушка, и какъ-то мнѣ пришлось, что я прямо

глянула глазами на него; а онъ, бѣлый какъ полотно, стоитъ надо мною, *и мнѣ его, матушка, жалко стало...*

«Сѣли мы, опять поѣхали, а мнѣ все его жалко. Ушибиться я вовсе не ушиблась: упала мягко на прошлогоднюю траву и даже не замарала ничего... а какъ подумаю, а мнѣ жалко его. Дай, говорю себѣ, погляжу на него. Поглядѣла я, матушка, а онъ сидитъ какъ словно окаменѣлый: въ лицѣ ни кровиночки нѣтъ; протянулъ руки, сложилъ ихъ себѣ на колѣно и сидитъ, хотя бы онъ двинулся или пошевельнулся; даже у него глаза будто остановились. Я хочу позвать и не знаю какъ. Позабыла я, не знаю, какъ моего мужа зовутъ. Тронула его за рукавъ, онъ не слышитъ. Я и не знаю, что̀ дальше со мною сталось. Только я, матушка, упала ему на руки, ухватилась за него, говорю: «Прости меня! я больше не буду.» Онъ даже задрожалъ весь. «Не будешь?» Наклонился ко мнѣ и глядитъ на меня быстро глазами, что мнѣ даже страшно стало. «Посмотрю я, какъ ты не будешь? Поцѣлуй меня.» И вотъ тебѣ, какъ Богъ святъ, родная моя, откажись я въ ту минуту поцѣловать его, онъ бы, кажется, тутъ же убилъ меня... Я закинула ему руки кругомъ шеи, крѣпко обняла его, и какъ я своимъ поцѣлуемъ поцѣловала его, да и не оторвусь отъ него... Какъ зарыдаю я, какъ польются у меня слезы — и вотъ, матушка, когда пришелъ истокъ имъ! Я тебѣ и сказать не умѣю, какъ это я плакала. Ни прежде, ни послѣ я не видала и не слыхала, чтобы человѣкъ лился такъ слезами, какъ я лилась тогда. Никаноръ Семеновичъ меня обнялъ, держитъ возлѣ себя. «Любаша! говоритъ, Богъ съ тобою! Христосъ съ тобою!» креститъ меня, цѣлуетъ меня; а я одно, что льюся слезами, припала на груди у него. Пріѣхали мы; я встать не могла. Вынулъ онъ меня изъ брички, несетъ на рукахъ.. Сестрицы выбѣжали на встрѣчу, матушка за ними идетъ; а я еще пуще плачу, льюся слезами. Внесъ онъ меня въ комнаты; положилъ на постель, и самъ сталъ около меня; а я, какъ дитя, что ни болѣе ухвачусь за него, то больше зарыдаю. «Ни-

каноръ Семеновичъ! да что ты это сдѣлалъ съ моею дочерью?» говоритъ матушка; а сестрицы кругомъ меня какъ ласточки вьются. Положилъ онъ меня на матушкину кровать, такъ нѣтъ моихъ силъ, не оторвусь я отъ него! Что будто утишусь немного, подниму голову, да только гляну на него, такъ меня опять слезы зальютъ! Опять я, какъ сумасшедшая, прильну до него... И не скажу я тебѣ, и ты меня не спрашивай, заключила Любовь Архиповна, обѣими руками махая на меня, какъ это я насилу унялась отъ великаго плача моего.»

— Истинно великаго, невольно сказала я.

«За то, матушка, проснувшись на другой день, я, съ тѣхъ моихъ слезъ, словно вновь на свѣтъ народилась. Такъ мнѣ на сердцѣ легко да хорошо, и будто солнце на меня радостно свѣтитъ, а Никаноръ Семеновичъ мой краше мнѣ яснаго солнышка. И мы, родная моя, — брала меня за руку Любовь Архиповна: послѣ того девять лѣтъ прожили вмѣстѣ, мы другъ другу косаго взгляда не показали. Онъ поѣдетъ куда, я его жду не дождусь, всѣ глаза просмотрю; а какъ меня нѣтъ, Никаноръ Семеновичъ, бывало, къ землѣ припадаетъ, прислушивается, скоро ли я буду. И вотъ, матушка, объ Успеньи, сравняется двадцать два года и двадцать третій пойдетъ со дня смерти Никанора Семеновича, а я его вживѣ какъ сейчасъ вижу, какъ будто онъ стоитъ передо мною и говоритъ: «Любаша, мое сокровище». Не помяни меня Матерь Божія своею благостынею, если я позабыла когда помянуть его въ денной и нощной молитвѣ, или въ храмѣ Господнемъ панихидкою не помянула его! Случится, матушка, что раздумаешься о своемъ житьѣ-бытьѣ мірскомъ да грѣховномъ, и страшно станетъ, какъ вспомнишь о смерти; а потомъ я раздумаю себѣ: «Никаноръ Семеновичъ мой на небесахъ. Во столько лѣтъ онъ, мой родной, умолилъ Божіе милосердіе о мнѣ,» и смерти мнѣ не страшно станетъ, и такъ мнѣ, матушка, показывается, будто какъ я умру, то я

своего Никанора Семеновича перваго увижу у Господа Бога въ небесахъ.»

Мы обѣ довольно времени помолчали. Я стала было благодарить Любовь Архиповну...

— Не за что, матушка, сказала она.—Я тебѣ еще болѣе благодарна, что я съ тобою душу отвела. Это мнѣ ножъ острый въ сердце слышать, какъ жены да все мужьевъ винятъ. Я на томъ проклятомъ стулѣ, какъ на иголкахъ, сидѣла.

— То-то вы, Любовь Архиповна, и поворачивались на немъ такъ! припомнила я.

— А ты замѣтила? промолвила Любовь Архиповна. —Поневолѣ повернешься, матушка, коли тебѣ сладкая барыня все нутро поворачиваетъ... Но вѣдь я тебѣ еще не досказала всего, весело продолжала Любовь Архиповна.

— Очень рада, отвѣчала я,—что же мы услышимъ такое?

— А, что ты услышишь, матушка? Про Авдотьюшку, какая мнѣ съ нею встрѣча была. Вотъ какая, сказала Любовь Архиповна.—Мы, родная моя, тутъ же на другой день положили съ Никаномъ Семеновичемъ ѣхать намъ непремѣнно въ Кіевъ, чтобы возблагодарить Господа Бога и Царицу небесную и всѣхъ святыхъ молитвенниковъ Кіевскихъ за милость ихъ великую, явленную намъ. И мы, не откладывая, въ четвергъ на Святой недѣлѣ и выѣхали. (Я съ чѣмъ была у матушки, съ тѣмъ и поѣхала; у сестеръ на дорогу платье взяла.) Пріѣхали мы въ Кіевъ; идемъ, родная, по Печерскому, а поклонниковъ видимо-невидимо, кажись, они землю святую на ногахъ снесутъ и горы сравняютъ. Достала я деньжонокъ, чтобы милостыньку подать. Подаю на ту и на другую сторону... «Ахъ, ты, барынька моя болѣзная! здорова была...» Гляжу я, а Авдотьюшка стоитъ передо мною. Я, матушка, не смотря ни на что, такъ и бросилась къ ней на шею. Цѣлую ее и обнимаю. — Никаноръ Семеновичъ! говорю: Авдотьюшка моя. И Никаноръ Семеновичъ приступилъ. Смотримъ на нашу Авдотьюшку, и она

смотритъ на насъ. «Вишь Пресвятая Богородица, барынька! сказала она, указывая на меня. Живи себѣ съ другомъ весела». Мы, матушка, такъ уцѣпились за Авдотьюшку, что ни на шагъ ее не отпустили отъ себя. Хотѣла она или не хотѣла, а мы ее изъ Кіева привезли съ собою.

— А далѣе что̀ сталось съ Авдотьюшкою? спросила я.

— А, что̀ съ нею сталося, матушка? Въ Іерусалимъ пошла.

— Любовь Архиповна! сказала я, — если дѣло пошло на окончанія, то я васъ хочу спросить еще объ одномъ лицѣ.

— О какомъ, матушка?

— Будто вы такъ недогадливы? О Черномъ, Любовь Архиповна.

— Вишь кто тебѣ вспомнился! Царство небесное, сказала Любовь Архиповна. — Онъ у меня и въ поминаньицѣ записанъ.

Но я вовсе не хотѣла удовольствоваться тѣмъ, что Черный записанъ въ поминаньицѣ Любови Архиповны.

— Но прежде, чѣмъ онъ попалъ въ ваше поминаньице, Любовь Архиповна, скажите мнѣ, что̀ было съ Чернымъ? Что вы знали о немъ, слышали? Какія онъ пѣсни пѣлъ? Въ кого изъ барышень влюбился? На комъ женился?..

— Погоди, матушка. Много спрашиваешь, да не много для отвѣта есть, остановила меня Любовь Архиповна. — Некогда ему было ничего того дѣлать по той самой причинѣ, что въ воскресенье на всеѣдной я замужъ шла, а онъ, значитъ, тою весною, недѣль черезъ десять, утонулъ, то-есть не то чтобы утонулъ, поправилась Любовь Архиповна: — тонулъ-то не онъ, да отсюда ему болѣзнь его приключилася, и Черный на самый третій день Свѣтлаго праздника умеръ и въ четвергъ на Святой недѣлѣ его и хоронили.

— Жаль мнѣ вашего Чернаго, сказала я, а между тѣмъ мнѣ вспоминался полустихъ Пушкина: *За чѣмъ жалѣть*?

— Это еще ничего, матушка, что ты о немъ жалѣешь, сказала мнѣ Любовь Архиповна. — Нѣтъ, ты бы спросила, какъ вся Купянка о немъ жалѣла — вотъ на что было со

удивленіемъ посмотрѣть! При жизни его будто не очень любили, за тѣмъ что онъ насмѣшникъ естественный былъ; а какъ умеръ онъ, точно каждый, Богъ знаетъ, что милое себѣ да дорогое потерялъ въ немъ. Оно и то сказать, говорила Любовь Архиповна, — что Черный, послѣднее время, почитай, половину города просто на привязи за собою водилъ.

— На какой привязи, Любовь Архиповна?

— А на такой, родная моя, что за послѣднее время объявись у него, у Чернаго, новая пѣсня, да вѣдь какая пѣсня! Ни старые, ни бывалые люди отъ роду не слыхивали той пѣсни, и какъ запоетъ онъ своимъ заливнымъ голосомъ ту протяжную пѣсню, просто душу у тебя силой беретъ, да и все тутъ! Отецъ протопопъ, старый же человѣкъ и степенный, что ему пѣспя? — а онъ сидѣлъ подъ окномъ и слушалъ да слушалъ, какъ не далечко Черный пѣлъ; а далѣе опомнился, а у него, у отца протопопа, борода въ слезахъ (сама матушка протопопша говорила), такъ онъ даже перекрестился. «Господи Іисусе Христе! сказалъ, вотъ пѣсня.»

— Но какая же пѣсня? говорила я Любови Архиповнѣ.

— Да она будто не ни-вѣсть какая и не мудреная, и всей-то ее, матушка, видѣть нечего:

Воздохну, Дунай всколыхну,
Всколыхну ли я Дунай-рѣку.
Что не къ морю вода подымалася,
По желтымъ пескамъ расплескалася,
Въ зеленыхъ лугахъ разливалася:
По дѣвушкѣ душа встосковалася...

«Пѣсня-то и вся тутъ, говорила Любовь Архиповна,—да что сидѣло въ той пѣснѣ, какъ Черный ее протяжно да переливно, идучи по городу, пѣлъ, по вечерней зарѣ... И еще какъ надойдетъ надъ гору и станетъ на ней,—а внизу рѣка въ половодьи разлилася, шумитъ,—и онъ стоитъ, матушка, и поетъ: *расплескалася*, *разливалася*, просто, говорили люди, отца и мать бы забылъ и все слушалъ его!..

«Какъ же, родная моя! Черному проходу не стало по городу. Купцы какъ завидятъ его, изъ лавокъ выбѣгаютъ навстрѣчу. «Ваша милость, отецъ родной! *Воздохну*... Что хочешь изъ лавки бери, спой только *Воздохну*»... «Что жъ, братцы! говорилъ Черный, —не продажная. Самому дорого стоитъ. Удастся вамъ послушать случаемъ, ваше счастіе, а не удастся, не погнѣвайтесь.» Такъ вотъ, чтобы удалось это счастіе, за Чернымъ по сту глазъ смотрѣли. Чуть онъ заложилъ руки назадъ и пошелъ по городу, тотчасъ со всѣхъ сторонъ присадясь и пригинаясь подъ плетнями, за нимъ слѣдомъ и потянуло человѣкъ пятнадцать или двадцать. У хозяевъ надъ рѣкою всѣ плетни по огородамъ осадили, лазяя черезъ нихъ, за тѣмъ, что, значитъ, эти мѣста облюбилъ Черный и уже заливался тутъ своимъ *Воздохну*. И тутъ же ему, матушка, и напасть его приключилася.»

— Какая? Говорите, Любовь Архиповна! спросила я.

«Мужикъ потопалъ. Черный увидѣлъ съ горы и бросился на помощь. Вытащилъ, матушка, мужика, спасъ его отъ смерти; а тамъ еще лошадь его осталася, бьется, потопаетъ совсѣмъ. Народъ сбѣжался, стоитъ на берегу, смотритъ... Жалко бѣдной скотины, да что ты ей сдѣлаешь? Своя душа дороже. Черный не стерпѣлъ. «Эхъ, сердечная! вымолвилъ, какъ она бьется!» и бросился опять къ рѣкѣ. Его было хотѣли силою удержать, такъ удержишь его? Онъ какъ двинулъ плечами, всѣ отъ него, какъ листья, посыпались... И уже онъ бился съ тою лошадью, говорятъ, съ часъ мѣста промаялся съ нею, пока наконецъ возжами накинулъ ей мертвый оселъ на шею и вытащилъ изъ воды. Да еслибы онъ послѣ того въ баню сходилъ, или бы напился горячаго чего, говорила Любовь Архиповна: авось бы Господь помиловалъ и прошло бы даромъ все. А то дѣло было съ утра; Черный только на службу шелъ, какъ увидѣлъ, что потопаетъ мужикъ, и онъ одѣлся послѣ въ сухое и опять пошелъ на службу. А оно и не прошло даромъ. Недѣлю цѣлую разламывала его болѣзнь, да онъ все не поддавался; а потомъ

уже она какъ осилила его, такъ онъ на десятый день только въ память свою пришелъ. И только, матушка, пришелъ въ себя, глянулъ глазами, и говоритъ шепотомъ хозяйкѣ, чтобъ она священника позвала. И голоса-то его заливнаго не стало у него! А хозяйкѣ не зачѣмъ было далеко идти, потому что отецъ протопопъ отъ обѣдни мимо оконъ шелъ. Она его въ окна и позвала. Отецъ протопопъ, спасибо ему, даже въ домъ къ себѣ не зашелъ, а воротился прямо въ церковь, взялъ ковчежецъ со святыми дарами, выисповѣдалъ и запричастилъ больнаго...

«И вотъ, родная моя, что я тебѣ скажу, говорила Любовь Архиповна: сама хозяйка божилась послѣ, сказывала мнѣ... Пока, знаешь, священникъ у больнаго святыню творилъ, а она, женщина догадливая, поспѣшила самоваръ поставить. Одно то —что, можетъ статься, больной, принявши Св. Таинъ, захочетъ чаю выкушать; а другое—что хозяйка сама же знала и видѣла, что и отецъ протопопъ еще не кушалъ чая. Какъ только тамъ окончили со святынею, она сейчасъ внесла самоварчикъ и начала готовить чай. Отецъ протопопъ не далечко на стулкѣ сидѣлъ, а больной лежалъ съ открытыми глазами; только онъ, видно, не замѣчалъ хозяйки; мало-помалу сталъ подниматься и сѣлъ. «Батюшка! говоритъ, такимъ тихимъ да твердымъ голосомъ говоритъ: — я вамъ не все на исповѣди сказалъ. Я Любовь Архиповну крѣпко, какъ свою душу, любилъ.» Батюшка, отецъ протопопъ, тоже всталъ къ нему. «Ничего, говоритъ, и Богъ насъ всѣхъ любитъ.» Съ этимъ словомъ Черный легъ, поворотился къ стѣнкѣ, и будто онъ заснулъ, да уже и не просыпался болѣе.

«И какъ хоронили его! Вотъ, моя родная, прекрасно его хоронили! И теперь поѣзжай въ Купянку, спроси, помнятъ люди, какъ Чернаго хоронили. Оно и забыть нельзя. Такъ свѣтло да радостно никого будто въ жизни не хоронили, ни большаго,ни малаго! Купцы какъ услышали, что померъ Черный, они ему поснесли всего: отъ свѣчей и ладану до всего, матушка, что нужно для гроба, и сами взялись гробъ сдѣ-

лать, и парчей золотою Чернаго накрыли. Барышни ему подъ голову кисейную подушку сшили, розовою тафтой подложили, изукрасили ее лентами, что ни есть лучше. Онъ себѣ безродный былъ, ни отца, ни матери, гдѣ-то далеко сиротою взросъ. Кажись, и гробу-то его пустѣть да сиротѣть должно бы было; а вышло нѣтъ, родная моя! Народъ къ нему валомъ валилъ, большіе и малые, словно ихъ посылалъ кто: «иди, молъ, иди, поклонись Черному!» И весь городъ шелъ —просто, говорили, какъ рѣка текъ. Въ среду на вечерню его вынесли въ церковь, а на утро-то, значитъ въ четвергъ, какъ хоронить его, отецъ протопопъ соборомъ обѣдню служилъ (одно то—что Черный его прихода былъ, а другое—что и купцы просили). И знаешь, дни праздничные, въ храмѣ Божіемъ свѣтлость такая, царскія двери отворены, пѣніе радостное на обѣднѣ льется, и Черный просто неузнаваемъ въ гробу лежалъ, сказывали сестрицы. Большой такой да хорошій; болѣзнь съ него черноту сняла, и онъ, матушка, побѣлѣлый, обложился своими черными волосами, вотъ живъ заснулъ, высоко на разубранной подушкѣ въ красотѣ лежитъ! Отпѣли погребеніе, и какъ пришло это время, что *дадимъ послѣднее цѣлованіе*, отецъ протопопъ первый приступилъ проститься съ усопшимъ; наклонился онъ, и, видно, Господь внушилъ ему такую мысль: «Христосъ воскресе!» сказалъ онъ и трижды, какъ христосуясь, поцѣловалъ Чернаго. А тутъ не далечко у самаго гроба женщина съ дитятею на рукахъ стояла, и дитя забавлялось, держало въ ручкѣ красное яйцо. «Дай мнѣ, дитя, твое яичко,» сказалъ отецъ протопопъ. И малютка такъ ему съ ручкою и протянула яйцо. Отецъ протопопъ взялъ красное яйцо и положилъ его въ гробъ къ Черному, и при этомъ онъ слово такое хорошее сказалъ: пусть дескать и въ самое нѣдро земли онъ снесетъ съ собой благовѣстіе Христово. И такъ, матушка, за протопопомъ весь народъ не прощаться, а христосоваться съ Чернымъ сталъ. Всякій подойдетъ къ усопшему, и прежде чѣмъ цѣлованіе мертвецу дастъ, «Христосъ воскресе!»

скажетъ ему, какъ живому. Приступили къ выносу, такъ народъ толпами толпился, чтобы понести гробъ, и какъ понесли его, день такой прекрасный въ полуднѣ сіяетъ, хоругви развиваются, парча золотая на гробѣ, какъ жаръ горитъ, и откуда ни возьмись, двѣ ласточки вьются да щебечутъ надъ самымъ гробомъ, въ удивленіе привели народъ. Просто, сладость такая святая умилила людей, какъ стали заколачивать гробъ; заколачиваютъ его, опускаютъ въ могилу, а тутъ, матушка, поютъ: *Христосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертію смерть поправъ и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ*. Не одинъ, не два человѣка, а цѣлые десятки ихъ, святымъ словомъ: ей Богу! говорили, что они съ радостію бы легли и заняли мѣсто Чернаго... Вотъ такую Богъ судьбу Черному далъ, сказала Любовь Архиповна: что онъ и пѣсней своею и смертью, какъ силой какою, подвигалъ за собою людей.»

Я встала благодарить Любовь Архиповну; но впечатлѣніе ея простаго разсказа было такъ сильно, что я, кажется, не съумѣла связать двухъ словъ.

Любовь Архиповна тоже поднялась.

— Однако я засидѣлась съ тобою, родная моя, сказала она.—Мнѣ и восвояси пора. Ждать-то здѣсь, видно, не выждешь ничего, проговорила она точно въ томъ родѣ, какъ лица на сценѣ говорятъ *въ сторону*. — Ну-ка, мое золото, продолжала Любовь Архиповна съ простою безцѣнною ласковостію, которую надобно только однажды принять сердцемъ, чтобы потомъ цѣнить ее очень высоко:—попрощаемся мы здѣсь съ тобою. Тамъ не до тебя мнѣ будетъ, какъ стану раскланиваться съ предводителемъ да съ предводительшею....

ИЗЪ ПРОВИНЦІЯЛЬНОЙ ГАЛЛЕРЕИ ПОРТРЕТОВЪ.

ИЗЪ ПРОВИНЦІЯЛЬНОЙ ГАЛЛЕРЕИ ПОРТРЕТОВЪ.

(ВЫДЕРЖКИ НА ПРОБУ.)

Кому изъ насъ не случалось когда-нибудь и какъ-нибудь заняться старинными портретами дѣдушекъ и бабушекъ, которые попадаются въ заднихъ комнатахъ барскихъ провинціяльныхъ домовъ, и иногда чудно глядятъ на васъ, когда вы, провожаемые любезностію внимательной хозяйки, или просто сами, входите въ комнату, назначенную вамъ для ночлега и остаетесь одни подъ безмолвно устремленными на васъ взорами прежнихъ хозяевъ? Екатерининскія пудреныя головы, широкіе обшлага мундировъ императора Павла—что-то не наше, что-то отмѣнно-другое, отмѣннѣе широчайшихъ обшлаговъ и пудреныхъ головъ, — глядитъ на васъ въ неизобразимомъ значеніи отжившаго взора, и говоритъ вамъ, если вы немного умѣете слушать.

Но я смѣло говорю, что едвали кого-нибудь занималъ старинный портретъ такъ, какъ занималъ меня портретъ бабушки нашего предводителя. Я, конечно, обязана хотя нѣсколько пояснить, что̀ то была за бабушка и что̀ за портретъ? И прекрасная бабушка, и прекрасный портретъ, можно съ удовольствіемъ сказать. Все было поразительно про

сто: живѣе живаго смотрѣло въ глаза. Сидѣла старушка въ большомъ креслѣ, по старинной модѣ важныхъ благородныхъ старушекъ, повязанная платочкомъ сверхъ чепца такъ, что вокругъ одна оборочка оставалась видною, и чуть улыбалась старушка. На колѣняхъ у нея сидѣлъ сѣренькій котикъ. Подъ рукой сейчасъ находился, менѣе тарелки величиною, круглый точеный столикъ на витой колонкѣ, и на немъ лежала работа старушки: слоновой кости рогулечка, на которой, встарь, плетались особаго рода снурки; связка этихъ снурковъ свѣсилась со столика и клубокъ синихъ нитокъ на столикѣ—болѣе ничего. Но мнѣ казалось, что въ этомъ-то *ничего* и заключалось все. Цѣлый отдѣльный міръ прожитой жизни засѣлъ себѣ въ закопченую рамку и тихонько улыбался оттуда чудною улыбочкой своей старушки... Именно *чудною*, безъ преувеличенія можно сказать. Улыбка была до того легка и едва уловима, что она являлася какъ бы очарованіемъ. Когда вы только взглядывали на портретъ, вы видѣли улыбку, именно видѣли, и потомъ вдругъ вы ее переставали видѣть, и чѣмъ болѣе вы всматривались въ старушку, тѣмъ менѣе она улыбалась вамъ. Котикъ занималъ ее совершенно. Старушка оставила для него свою рогулечку съ снуркомъ и, только немного смотря на васъ изъ-подъ оборочки, кажется, она говорила вамъ: «А поглядите, моя радость, каковъ мой котикъ? Прекрасный котикъ.» Чтобы вамъ опять уловить милую прелесть этой улыбочки, вамъ слѣдовало или совсѣмъ отойдти отъ портрета и нѣсколько времени не смотрѣть на него, или же закрыть себѣ глаза рукою, а потомъ, когда вы отнимали руку отъ глазъ,—какъ же мило вамъ опять улыбалась старушка!

Но чтобы живо интересоваться и портретомъ, и улыбкою старушки, надобно было знать и много разъ слышать тѣ старинно-искреннія, задушевно-простые разсказы о ней, которые сами вызывали едва не такую же улыбку.

Вопервыхъ, Анна Гавриловна Ш* извѣстна была тѣмъ, что она умерла *своею смертію*. Мы всѣ, умирающіе отъ

простудъ, горячекъ, холеры и отъ всѣхъ нашихъ лихихъ немочей, въ коренныхъ понятіяхъ нашего народа умираемъ не своею смертію; а такова намъ напасть отъ чего-либо приключается. А умираетъ своею смертію тотъ, кто поживетъ лѣтъ со сто и не помнитъ того, чтобъ онъ болѣлъ когда, и вотъ, ни съ того, ни съ другаго, онъ вдругъ не много разнеможется, скажетъ: «дѣти, моя смерть пришла», и къ вечеру умретъ, заснетъ какъ дитя. Вотъ это называется *умереть своею смертію*: не отъ какой-либо болѣзни, а такъ, выжить человѣку свой вѣкъ и умереть ему отъ старости, оттого что смерть пришла. Такою рѣдкою смертію умерла и Анна Гавриловна. Богъ ее знаетъ: сполна ли она выжила вѣкъ, или не дожила чего, а можетъ-быть старушка и пережила что, только всѣ самые старые люди, какіе помнили ее, помнили Аниу Гавриловну Ш* точно такою старушкою, какъ она сидитъ на портретѣ, не старѣе и не моложе того. Но одна смерть не вызвала бы въ такой степени вниманія живыхъ, которые менѣе всего расположены думать о смерти, еслибы самая жизнь Анны Гавриловны не побуждала къ тому. А она именно побуждала. Позабыть образецъ благодушной старости, пережившей все, чѣмъ живутъ люди, и не охладѣвшей, а всему искренно улыбающейся чудно-кроткою, полудѣтскою улыбкою, позабыть это не такъ легко и для легкой памяти людей.

Анна Гавриловна Ш*, и по отцу, и по мужу, принадлежала къ лучшимъ домамъ мѣстнаго дворянства. Назвать ея фамилію, значило назвать все, что было почетнаго и уважаемаго въ губерніи. Когда сѣла на свое кресло Анна Гавриловна, когда она взяла въ руки свою рогулечку съ снуркомъ и занялась своимъ котикомъ, этого никто не помнилъ; а всѣ знали Анну Гавриловну уже въ этой полной картинѣ ея жизни, какъ она жила у меньшаго изъ четырехъ сыновей, ея друга милаго Ѳедора Марковича. У Ѳедора Марковича не было дѣтей, то-есть они были да померли, и эта старѣющаяся семья благородныхъ супруговъ, не оживляемая смѣхомъ роднаго ди-

тяти, съ какою-то умилительною теплотою освѣщалась кроткимъ лучемъ благодушной старости Анны Гавриловны. «Вотъ, другъ ты мой милый, Ѳедоръ Марковичъ! у тебя ворота на запорѣ. И былъ бы гость, да не будетъ,» разсуждала Анна Гавриловна, сидя ранымъ-рано подъ окномъ у себя въ маленькой гостиной и не замѣчая того, что Ѳедоръ Марковичъ еще почивать изволилъ. «Не будетъ... Скажетъ: дома нѣтъ Ѳедора Марковича; а Анна Гавриловна принимать не изволитъ». Вслѣдствіе чего ворота у Ѳедора Марковича никогда не бывали на запорѣ. Имъ предоставлено было стоять настежъ и не возбуждать малѣйшаго опасенія, что Анна Гавриловна принимать не изволитъ. «День мой — вѣкъ мой», говорила Анна Гавриловна, и точно, настоящій день казался ея вѣкомъ: такъ она ничего не вносила въ него изъ своей прошлой жизни, никакихъ старческихъ разсказовъ, ни сожалѣній. Но въ замѣнъ того вся приливающая жизнь днешняго дня, во всѣхъ ея видоизмѣненіяхъ радости и неизбѣжнаго жизненнаго горя, сходилась къ креслу Анны Гавриловны и словно возлагалась на маленькій столикъ ея. Были ли по сосѣдству родины, крестины, именины—вмѣстѣ съ лучшею частью именинаго пирога—Анна Гавриловна принимала полную долю ея хлопотливаго участія во всѣхъ этихъ событіяхъ. Новорожденному посылала шапочку, или фуфаечку; самой родильницѣ какихъ-нибудь кренделековъ и булочекъ особаго рода; умершему—свѣчку, именинику— подарочекъ; новокрещенному — своей работы снурочекъ на крестикъ... Именно, Анна Гавриловна, если не была всѣмъ для всѣхъ, то она была чѣмъ-нибудь для каждаго. Нельзя было доставить ей бо́льшаго удовольствія, какъ—сохраняя озабоченное выраженіе лица—попросить Анну Гавриловну: не можетъ ли она удѣлить нѣсколько аршинъ своихъ снурочковъ, что они такъ чрезвычайно нужны. «Почему нельзя, моя радость! Можно», приступала развязывать свою связку снурочковъ Анна Гавриловна. «Удѣлить всегда можно». И удѣляя всегда двумя и тремя аршинами болѣе просимаго, Анна Гавриловна

улыбалась, говоря, что и она, на старости лѣтъ, не даромъ хлѣбъ у сына ѣстъ. И ея работа пригодилась. Такъ ужъ оно изстари говорится: старый что сработалъ, то его, а что съѣлъ, то пропало.

.... «Другъ ты мой милый, Ѳедоръ Марковичъ! тамъ уже твоя воля и воля друга милаго, Елены Ильинишны, какъ вы себѣ совѣтъ положите: быть ли, не быть у васъ праздникамъ? А въ день моего ангела чтобы балъ былъ. Я старый человѣкъ, да пусть молодые повеселятся.» И пока жива была Анна Гавриловна, ежегодно третьяго февраля, въ день Симеона Богопріимца и Анны Пророчицы, въ домѣ у Ѳедора Марковича задавался балъ. Музыка своя, гости, съѣхавшіеся изо всей округи на сто верстъ, и кресло Анны Гавриловны, вынесенное въ танцовальную залу, и сама Анна Гавриловна сидитъ въ креслѣ далеко за-полночь, и даже не дремлетъ старушка; но гдѣ болѣе раздается веселаго шума и слышится смѣхъ, тамъ и глаза ея, и туда она улыбается своею кроткою чудною улыбкою. Но болѣе всего любила Анна Гавриловна, когда къ ней привозили на показъ жениха и невѣсту. Она осматривала молодыхъ людей съ чрезвычайнымъ вниманіемъ, какъ бы она видѣла ихъ въ первый разъ. Какъ же вы находите, Анна Гавриловна? спрашивала мать. Будутъ они счастливы? —Постой, моя радость! поглядимъ еще. Пусть они потанцуютъ. И для дальнѣйшаго осмотра молодой четы устраивались танцы. Жениха и невѣсту въ парѣ ставили такимъ образомъ, чтобъ имъ находиться подъ наблюдательнымъ взоромъ Анны Гавриловны. Молодые люди, смѣясь и рука въ руку, помѣщались на самомъ виду передъ Анной Гавриловною. Скоро танцы совершенно увлекали ихъ; но по временамъ молодая чета оглядывалась на Анну Гавриловну и своими улыбками какъ бы просила положить выгодное рѣшеніе ея счастію. И Анна Гавриловна съ большимъ разсужденіемъ клала его. «Нѣтъ, другъ ты мой милый, моя радость! не печаль сердца, давала она отвѣтъ матери, они будутъ счастливы. Сомнѣнія нѣтъ. Посмотри:

они любятъ другъ друга. Вишь какъ онъ передъ нею выфантываетъ!» По окончаніи выфантыванья, Анна Гавриловна подзывала къ себѣ жениха и невѣсту, и ихъ изустнымъ признаніемъ подтверждала свое рѣшеніе. «Вѣдь ты ее любишь, батюшка?» спрашивала она, и получая живое увѣреніе: «ну, то-то же: люби, мой батюшка!» увѣщевала Анна Гавриловна. Увѣщанія невѣстѣ бывали нѣсколько пространнѣе. «И ты любишь, матушка? Люби, моя радость, и слушайся мужа. Его слушаться надобно».—Слушаю-съ Анна Гавриловна, съ лукавою покорностію иногда отвѣчала слушательница, взглядывая на предстоявшаго повелителя. Но лукавый тонъ ея смиренія успѣвалъ разжалобить Анну Гавриловну, и она смягчала свой приговоръ. «Слушаться-таки надобно, дитя мое! повторяла она. А ты умѣючи дѣло дѣлай: разъ послушай и другой послушай, а въ третій таки поставь на своемъ». Затѣмъ Анна Гавриловна опускала руку въ свои потайные карманы, которые у нея были не при платьѣ, а по старинной модѣ, украшенные зубцами и вырѣзами, надѣвались особо. Оттуда Анна Гавриловна доставала какую-нибудь мелочь серебра, что ей первое попадалось въ руку, и подавала невѣстѣ, говоря: «Возьми, моя радость! Такъ оно изстари ведется: дѣвушкѣ невѣстѣ дарить на ленты!» Такъ Анна Гавриловна подарила пятачокъ серебра на ленты дѣвушкѣ-невѣстѣ, за которую шло въ приданое четыреста душъ. Но не однихъ жениха и невѣсту возили на показъ къ Аннѣ Гавриловнѣ. Къ ней ѣхали дѣти показать свои новыя игрушки, и не рѣдко дѣвочка, рядомъ съ котикомъ, усаживала на колѣнахъ Анны Гавриловны свою новую куклу и разсказывала вслухъ бабушкѣ все то, что маленькія дѣвочки разсказываютъ своимъ куклamъ; а неугомонный молодецъ вертѣлся по сторонамъ бабушки и въ то же время приставалъ послушать, какъ бьетъ его новый барабанъ, пока молодца и съ его барабаномъ не отправляли барабанить куда-нибудь подалѣе.

Такъ жила Анна Гавриловна, когда въ одно утро, проснув-

тись по обыкновенію очень рано, она, сверхъ всякого обыкновенія, послала просить къ себѣ ея друга милаго, Ѳедора Марковича. Когда Ѳедоръ Марковичъ, довольно удивленный неожиданностію этого приглашенія, явился къ Аннѣ Гавриловнѣ, она находилась еще въ постели и къ обычному наименованію *ея друга милаго*, прибавляя: «свѣтъ ты мой, моя радость!» Анна Гавриловна сказала: «не изволь печалиться, а посылай за попомъ. Я сегодня умру».—Богъ съ вами, матушка! говорилъ встревоженный и удивленный Ѳедоръ Марковичъ, посылая звать Елену Ильинишну. — Развѣ вы чувствуете себя нездоровою? «Ничего я не чувствую, мои други милые! отвѣчала Анна Гавриловна: а я сегодня умру. Посылай за попомъ и посылай мнѣ сосѣдей звать. Я съ людьми жила, съ людьми и умирать хочу.» Вслѣдъ за тѣмъ Анна Гавриловна призвала своего любимаго Кирюшу, который всегда подавалъ ей кофе, и отправила его съ словеснымъ порученіемъ къ двумъ самымъ близкимъ ей особамъ. «Ступай, моя радость, не медли. И моимъ словомъ скажи: что приказала-молъ Анна Гавриловна кланяться и приказала васъ на смерть къ себѣ звать.» Послѣ чего Анна Гавриловна встала съ постели, тщательно умылась, одѣлась въ приготовленное на смерть платье, надѣла бѣленькій чепчикъ, и сама передъ зеркаломъ повязала сверхъ него темный шелковый платокъ и еще спросила свою женщину: «а, что скажешь: хорошо, Анна?» Пришелъ священникъ. Анна Гавриловна пожелала отслужить молебенъ Варварѣ Великомученицѣ, какъ избавляющей отъ внезапной смерти, и за тѣмъ приступила къ исповѣди и къ святому причащенію. «И *отходную* прочитай мнѣ, батюшка!» сказала она. И отходную прочитали Аннѣ Гавриловнѣ. Тѣмъ временемъ все сосѣдство, поднятое страннымъ увѣдомленіемъ и еще болѣе странною загадочностію всего,—что Анна Гавриловна, слава Богу, здорова и приказала на смерть къ себѣ звать, — все сосѣдство съѣзжалось, и дворъ Ѳедора Марковича наполнился разнородными экипажами отъ кареты до простой кибиточки.

Можно было подумать, что пиръ какой шелъ. «Что Анна Гавриловна?» спрашивалъ всякій, едва ступая на порогъ дома.—Ничего, слава Богу, въ гостиной сидятъ, было единственнымъ отвѣтомъ. И точно Анна Гавриловна сидѣла въ своей маленькой гостиной, на своемъ креслѣ и передъ своимъ маленькимъ столикомъ. «Умру, мои други милые!» говорила она на привѣтствія и выраженія грустнаго удивленія гостей, что Анна Гавриловна не пожалѣла перепугать такъ всѣхъ, но въ самомъ дѣлѣ можно было замѣтить, что лицо у Анны Гавриловны какъ-то странно осунулось, и рука была мертвенно блѣдна, хотя Анна Гавриловна, повидимому, оставалась здоровою. «Ну, дайте же мнѣ кофею, сказала она. Я съ вами, мои други, кофею напьюсь.» И кофе напилась Анна Гавриловна, по своему обыкновенію, съ крендельками и съ сдобною булочкой. Приняли кофе. Но Анна Гавриловна все будто немного задумывалась. Желая развлечь ее и зная вообще, какое живое участіе любила принимать Анна Гавриловна во всѣхъ устраивающихся свадьбахъ, одна изъ гостей начала разсказывать объ очень близкихъ вѣроятностяхъ слаживающагося сватовства. «Дай Богъ! хорошее дѣло», сказала Анна Гавриловна. Но кажется, она не совсѣмъ понимала, и пожелала, чтобы ей повторили разсказъ. «А я то, что безъ дѣла? замѣтила она. Дайте мнѣ мой снурочекъ?» Подали рогулечку съ снуркомъ, и Анна Гавриловна немного повязала его. Но у нея будто руки ослабѣли. Она скоро положила работу на столъ. Котикъ вспрыгнулъ къ ней на колѣна. Въ это время гостья, старавшаяся занять ее своимъ разсказомъ, остановилась на минутку и вдругъ всѣ услышали: «Прощай, котикъ!.. Господи Іисусе Христе». Анна Гавриловна отклонилась на спинку кресла и скончалась.

Невѣроятно было бы ожидать, чтобы смерть столѣтней старушки могла оставить по себѣ такую ощутительную пустоту въ домѣ. А между тѣмъ оно было такъ. Домъ оставался все тотъ же, и тѣ же жили въ немъ, добрые и ласковые по прежнему, Ѳедоръ Марковичъ и Елена Ильинишна;

а между тѣмъ все было то, да не то. У этого свѣта какъ будто не стало его грѣющаго тепла; у привѣтливости хозяевъ словно отнята была ихъ ласковая улыбка. Комнаты Анны Гавриловны оставались въ томъ же порядкѣ, какъ онѣ были при ея жизни; никто не занималъ ихъ. Въ спальнѣ горѣла неугасимая лампадка передъ образами; а въ гостиной стоялъ портретъ Анны Гавриловны надъ ея кресломъ и ея маленькимъ столикомъ, съ положенною тутъ рогулечкою и неоконченнымъ спуркомъ. Гости не забывали Анны Гавриловны и, пріѣзжая къ Ѳедору Марковичу и Еленѣ Ильинишнѣ, почти всегда говорили: «а пойдемте же къ Аннѣ Гавриловнѣ». Съ страннымъ чувствомъ какого-то неизъяснимаго любопытства смотрѣли они на давно-знакомые всѣмъ предметы; молились передъ образами за упокой души Анны Гавриловны, и не рѣдко, остановясь передъ портретомъ, многіе кланялись и говорили: «здравствуйте, Анна Гавриловна!» Но умеръ Ѳедоръ Марковичъ; умерла скоро за нимъ и Елена Ильинишна. Наслѣдникомъ своимъ Ѳедоръ Марковичъ назначилъ одного изъ племянниковъ, который служилъ во флотѣ. Домъ запустѣлъ. Засорились неметеныя крыльца; забились наглухо никогда не затворявшіяся ворота. Я не знаю ничего сиротливѣе, ничего печальнѣе нашихъ запущенныхъ барскихъ домовъ! Чего не бываетъ съ ними? Въ залы загоняютъ испанскихъ овецъ; въ побитыя окна влетаютъ куры и, кудахтая, расхаживаютъ по сдвинутымъ столамъ и кресламъ; въ пыли и въ паутинѣ, большія зеркала съ тусклою неподвижностію отражаютъ всю эту мерзость запустѣнія! Наслѣдникъ Ѳедора Марковича едва ли посѣтилъ когда свое наслѣдство; движимость изъ него была вывезена, и все заглохло и опустѣло на много лѣтъ.

Я не умѣю сказать, не женатъ былъ племянникъ Ѳедора Марковича, или послѣ него дѣтей не осталось, но только нашъ предводитель, баснословно счастливый наслѣдникъ всѣхъ своихъ родныхъ, получилъ и это имѣніе въ наслѣдство. Получать имѣнія и не проживать ихъ, зачѣмъ бы онъ

былъ тогда предводителемъ? Разумѣется, старый домъ найденъ былъ неуклюжею махиною, которая не представляла ни малѣйшей возможности хотя бы только три лѣтніе мѣсяца въ году прожить въ ней. Воздвигнутъ былъ новый домъ съ прекрасными бельведерами, заданъ прекрасный пиръ на новосельѣ, и когда гости, сопровождаемые хозяиномъ, обошли все и налюбовались всѣмъ: «Ба!» припомнило одно значащее лицо, «а портретъ-то вашей бабушки? Дайте намъ взглянуть на него, вспомнить старину. Гдѣ онъ у васъ?» Но его нигдѣ не было.—Какой бабушки? какой портретъ? спрашивалъ, нѣсколько озадаченный, предводитель. «Ваша бабушка, еще съ котикомъ. Анна Гавриловна. Вѣдь это, батюшка, Боровиковскаго. Chef d'oeuvre, можно сказать.» По крайней мѣрѣ, громкій возгласъ значащаго лица сказалъ достаточно. Какъ! Боровиковскаго? бабушка съ котикомъ!.. Гдѣ это? какъ? Искать. И нашли бабушку съ котикомъ у ключницы. Ключница, одолѣваемая крысами, вѣроятно, попала на счастливую мысль — извлечь возможно практическую пользу изъ произведенія искусства и котикомъ Боровиковскаго пугать своихъ крысъ. Для этого она ставила симметрически четвероугольникомъ кувшины съ молокомъ и накрывала ихъ бабушкою съ котикомъ.

Бабушку почистили, помыли и вынесли ее на показъ гостямъ. Вообще дѣятельность возбужденнаго участія была такова, что даже отыскали маленькій столикъ Анны Гавриловны, который, какими-то судьбами, очутился въ церкви, въ ризницѣ, и только кресла никакъ не могли найдти, хотя велѣно было перерыть всѣ мышьи норки.

.... Я не могла отвести глазъ отъ Анны Гавриловны. Вотъ она, наша старосвѣтская старушка, въ чепцѣ и въ повязанномъ сверху платочкѣ, улыбающаяся кроткою, почти дѣтскою улыбкою и съ яснымъ запечатлѣніемъ въ чертахъ благодати простой мирной жизни и христіянской мирной кончины! И какъ оно истинно было, что портрету Анны Гавриловны не находилось настоящаго мѣста въ парадной

гостиной съ цвѣтами, съ сверкающими подъ потолокъ окнами, со всею заимствованною роскошью новаго времени. Анна Гавриловна съ ея рогулечкою, съ ея синими снурочками и сѣрымъ котикомъ являлась почти нелѣпостію, ни съ чѣмъ несообразною, ничему не отвѣчающею здѣсь. Нѣтъ! чтобы найдти смыслъ въ этомъ живомъ представленіи, надобно было, хотя мысленно, перенести его въ среду той простой прожитой жизни, изъ которой исторгла Анну Гавриловну родная кисть художника и теперь поставила на позоръ другихъ отношеній, мнѣній, другой блестящей внѣшности! Жалко было Анны Гавриловны. Не она, а другая старушка, въ ея типическомъ представленіи зрѣлыхъ плодовъ нашей европейской цивилизаціи, займетъ здѣсь мѣсто по праву, и дай Богъ только сохранить ей теплоту благодушнаго сердца Анны Гавриловны и живую силу ея простой благодатной вѣры!

«Поступитесь, родная», кажется, сказала я Аннѣ Гавриловнѣ, вполнѣ довѣряя той высокой жизненной мудрости, которая говоритъ намъ:

. . . на жизненныхъ браздахъ,
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ Провидѣнья,
Восходятъ, зрѣютъ и падутъ,
Другія имъ во слѣдъ идутъ.

Но мудрость мудрствуетъ, а сердце глубоко чтитъ живыя родныя впечатлѣнья, которыя съ кровью приливаютъ къ нему. Я невольно переносила Анну Гавриловну изъ этой пышной гостиной въ тѣ наши простыя старинныя комнатки, гдѣ блистало золото только на святыхъ иконахъ, гдѣ по праздникамъ пахло ладаномъ, и молилась эта старушка, теплля свѣчку предъ святымъ угодникомъ. Единственные древле представители нашего скульптурнаго художества, висѣли на гвоздочкахъ во святомъ углу странные рѣзные херувимы, съ слишкомъ полными щеками и слишкомъ щедро надѣленные сусальнымъ золотомъ и синею краскою. Но за этими

грубыми изображеніями отсутствующаго эстетическаго чувства, живо вставало чувство глубокой религіозности, въ простотѣ сердца находившей усладу и въ этихъ, такъ грустно неудовлетворительныхъ попыткахъ жалкаго дѣтскаго искусства... Мнѣ становилось грустно. А между тѣмъ, я бы Богъ знаетъ что̀ дала, чтобы только на одинъ вечеръ завладѣть Анной Гавриловною, уставить ее въ простой тихой комнаткѣ! Вмѣсто этихъ цвѣтовъ, чтобы въ окна гула и билась снѣговая вьюга, разыгрывая всѣ тѣ таинства метели, которыя видѣлъ нашъ великій поэтъ, и свѣчи бы нагарали и, въ мерцающей полутѣни, чудная улыбка Анны Гавриловны являлась живою...

И подъ такимъ озареньемъ этого живаго луча отжившей жизни, пусть бы мнѣ сказывалась наша сказка-быль не объ Иванѣ Царевичѣ, а о сильномъ-могучемъ богатырѣ, Гаврилѣ Михайловичѣ...

Сказка.

У отца Анны Гавриловны не было сыновей; а было только двѣ дочери. «Наказалъ меня Богъ дѣвками», говорилъ онъ и любилъ дочерей не то чтобы безъ памяти — Гаврила Михайловичъ крѣпокъ былъ на память и на свое слово, — а любилъ ихъ такъ, что оставшись вдовцомъ, не женился въ другой разъ, и не принялъ себѣ въ домъ сестры генеральши, которая, соболѣзнуя о сиротахъ, хотѣла было поселиться въ домѣ брата, чтобъ имѣть надзоръ надъ ними. «Матушка сестрица! разбиралъ это дѣло Гаврила Михайловичъ, сидя въ своемъ зеленомъ штофномъ шлафоркѣ и качая на ногѣ стоптанную сафьянную туфлю. Намъ это дѣло, сестрица матушка, не приходится. Вы вольны думать, что окажете милость моимъ дѣвкамъ; а дѣвки мои, милостію Божіею, сами взростутъ.» И онѣ взросли здоровыя, свѣжія, румяныя — полновластныя хозяйки въ отцовскомъ дому и настоящія хозяйки, не бѣлоручки, а знавшія все, какъ что̀ приказать

и что сдѣлать. Отдалъ старшую дочь замужъ Гаврила Михайловичъ и остался съ младшею, Анной Гавриловною. Но и Анна Гавриловна смотрѣла уже въ невѣсты; тринадцатый годъ ей на исходѣ былъ, и уже къ Гаврилѣ Михайловичу начинали стороною подъѣзжать свахи. Онъ слушалъ эти турусы на колесахъ повидимому такъ, что впускалъ ихъ въ одно ухо, а выпускалъ въ другое. Не измѣняя своей любимой позы, покачивая сафьянную туфлю на ногѣ, Гаврила Михайловичъ возвышалъ голосъ и, вмѣсто всякого отвѣта, говорилъ, смотря къ дверямъ: «А ну ты, братецъ мой. Комариная Сила! повыступи къ намъ.» Комариная Сила былъ щедушный, самый плохой доѣзжачій Гаврила Михайловича и съ тѣмъ вмѣстѣ постельничій его, изрядный чтецъ и сказочникъ, слуга неотступный, который, съ самаго ранняго утра и до поздней ночи, приспѣлъ на скамеечкѣ по ту сторону дверей кабинета и былъ готовъ во всякое время и на всякій возгласъ Гаврила Михайловича отвѣчать своимъ рабскимъ отвѣтомъ —А что милости вашей угодно, батюшка баринъ? приказу каковому быть? «Таковому, братецъ ты мой, Комариная Сила! держалъ рѣчь Гаврила Михайловичъ при присутствующихъ свахахъ. Не упомню я заподлинно, какъ далеко Ястребиное Рыло на угонку гналъ?»—Не далеко-съ, батюшка Гаврила Михайловичъ! отвѣчалъ подобострастно Комариная Сила. Вотъ-съ какъ до милости вашей Рыло-то не угналъ. «Вотъ то-то и есть, братецъ ты мой Комариная Сила! отвѣчалъ Гаврила Михайловичъ. *Далеко куцому до зайца гнать.*» Или вдругъ Гаврила Михайловичъ вспоминалъ посреди намековъ и недомековъ свахи, какъ его Комариная Сила въ задоръ однажды вошелъ и что изъ того вышло? «А выходитъ-то, братецъ мой Комариная Сила! добавлялъ Гаврила Михайловичъ: — *Коли ты не попъ, то и не суйся въ ризы.*» Послѣ такихъ разговоровъ съ Комариною Силою, подъѣзжія свахи перестали соваться къ Гаврилу Михайловичу. И Анна Гавриловна, богатѣйшая невѣста, красавица писанная собой, досидѣла до шестнадцати лѣтъ и

была еще не замужемъ. «Сударь то мой братецъ, отъ великаго его разума, съ ума спятилъ! говорила втихомолку матушка-сестрица генеральша. Держитъ Аннушку, не выдаетъ замужъ. Словно она безприданница какая, у отца на вороту виснетъ.» Гаврила Михайловичъ зналъ про эти рѣчи и даже въ особенно веселую ласку любилъ говорить Аннѣ Гавриловнѣ: «А поди ты ко мнѣ, безприданница моя!» Но внимать этимъ рѣчамъ, какъ и всѣмъ прочимъ, Гаврила Михайловичъ не внималъ. Домъ у него былъ то, что при меньшемъ порядкѣ называется «толченая труба», то-есть что ни отъѣзда, ни выѣзда гостямъ изъ него не было. Гости Гаврилы Михайловича, гости Анны Гавриловны, и одни пріѣзжаютъ, другіе отъѣзжаютъ; а домъ всегда полонъ. У Гаврилы Михайловича, какъ у богатаго барина екатерининскихъ временъ, была своя музыка, хоръ пѣсенниковъ съ рогами и бубнами; охота его была извѣстна на три намѣстничества подъ именемъ «знатной охоты». Богатая и тунеядная дворня, едва ли не превышавшая въ числѣ трехъ сотъ душъ, облѣпливала, какъ пчелы сотъ, барскую милость Гаврилы Михайловича, и кто бы могъ подумать, что маткою этого шумнаго, рабочаго и гулливаго улья была шестнадцатилѣтняя хозяйка, Анна Гавриловна?

Еще молодыя ея подруги, вчера вмѣстѣ съ нею присѣдавшія въ чинныхъ минуэтахъ и потомъ въ разгарѣ веселья переодѣтыя въ повязки и въ сарафаны и заплясывавшіяся до упада въ хороводахъ подъ русскія пѣсни, еще подруги Анны Гавриловны спали молодымъ крѣпкимъ сномъ, а изъ ряда ихъ поднималась бодрая головка едва шестнадцатилѣтней хозяйки, и Анна Гавриловна, въ темнотѣ часто не попавъ въ свои собственныя туфли, тихо и осторожно пробиралась, чтобы не разбудить милыхъ своихъ гостей и ускользала въ дверь. Сейчасъ за дверьми уже сидѣла, дожидаясь Анну Гавриловну, ея старая няня, съ чулкомъ въ рукахъ и въ платкѣ, нахлобученномъ на самыя брови. Рѣдко она привѣтствовала свою питомицу ласковымъ словомъ «ран-

ней пташечки» и почти всегда говорила: «Заспалась ты, матушка. Читай скорѣй свою молитовку; тебя полонъ домъ людей ждетъ». Анна Гавриловна читала молитовку; повязывала наскоро голову бѣлою косыночкой и часто въ туфляхъ на босую ножку, накинувъ на себя атласный матернинъ салопъ, спѣшила въ свою дѣвичью. Няня слѣдовала за нею и, становясь въ дверяхъ, повидимому, бормотала, не досчитываясь петель своего чулка; а между тѣмъ слышала и видѣла, и понимала все, что происходило вокругъ. Три повара уже дожидались Анны Гавриловны и, призвавъ на совѣтъ четвертаго дворецкаго, Анна Гавриловна заказывала обѣдъ, отдѣляла кушанья на завтракъ; придумывала сообща, что бы лучше и какъ бы лучше? Вспоминала любимыя блюда Гаврилы Михайловича и просила ласковымъ словомъ, чтобы кухари не осрамили ея передъ гостями. Чуть что будетъ не такъ или покажется не хорошо, уже Гаврила Михайловичъ ни на кого не посмотритъ, а прямо скажетъ: «Стыдно тебѣ, молодая хозяюшка, что гости мои дорогіе не уподчиваны. При матери не было такъ.» Не успѣвала Анна Гавриловна покончить съ кухарями, какъ должна была начинать съ хлѣбопеками. Въ домѣ у Гаврилы Михайловича былъ изстари заведенный порядокъ, чтобы къ чаю подавались ежедневно мягкія булки и крендели, и вообще сдобныя печенья всѣхъ сортовъ; а къ обѣденному столу, приказано былъ разъ и навсегда, чтобы одинъ день былъ мягкій хлѣбъ ситный, а на другой — мягкія булки. И вотъ груды новоиспеченнаго хлѣба, въ корзинахъ, покрытыхъ бѣлыми салфетками, представлялись на показъ молодой хозяйкѣ, и она должна была сама все видѣть и сказать свое милостивое слово, свое дорогое барское «спасибо» людямъ, которые съ любовью и рвеніемъ ожидали того. Отступали пекарки и хлѣбопеки отъ Анны Гавриловны, и съ низкимъ поклономъ приступали къ ней очередныя застольныя кухарки, держа на деревянной тарелкѣ ломоть житнаго застольнаго хлѣба и въ такихъ же чашкахъ щи и кашу, и все остальное, изъ чего могъ со-

стоять обѣдъ для дворни. На кашѣ обыкновенно лежала деревянная красная ложка и Анна Гавриловна мало того что видѣла, она должна была отвѣдать и настояще по вкусу знать: какой обѣдъ ѣстъ ея застольная? хорошо ли испеченъ хлѣбъ? вкусны ли щи, и солоны ли они? и какова каша?.. Коренною основой нашего стариннаго хозяйственнаго домоводства было простое крѣпкое правило: «обуй, одѣнь человѣка, накорми его до-сыта и тогда спрашивай на немъ, что хочешь.» Этого правила крѣпко и неизмѣнно держалась наша старина, выкупая имъ, по мѣрѣ возможности, дикій произволъ и прихоти необузданнаго барства. У барина самаго крутаго, у котораго всякая вина бывала виновата, который цѣнилъ любаго борзаго пса едва ли не въ примѣръ выше своего крѣпостнаго человѣка, и у этого барина дворня бывала обута и одѣта, какъ слѣдуетъ и уже сыта на отвалъ. Анну Гавриловну еще ребенкомъ начали пріучать къ этой основѣ хозяйственнаго домоводства. Ей не было еще полныхъ десяти лѣтъ, какъ уже няня являлась къ ней съ деревянными тарелками и говорила своей питомицѣ: «Покушай, сударыня, нашего холопскаго ѣства. И матушка твоя откушивала. Коли оно милости твоей не по вкусу, такъ Богъ дастъ милости, выростешь и хозяюшкою станешь: тогда и окажи свою великую милость, чтобы наше ѣство холопское со вкусомъ было.» И еслибы, выросши, Анна Гавриловна захотѣла нерадѣть объ этой части своего молодаго домоводства, это могло бы ей, при случаѣ, дорого стоить. Гаврила Михайловичъ нѣтъ-нѣтъ да возвращаясь со псарни, и заглянетъ въ застольную. «А покажите мнѣ, что у васъ люди ѣдятъ?» И когда однажды Гаврилѣ Михайловичу не показались вкусными людскія щи, онъ пришелъ въ такой гнѣвъ, что толчкомъ ноги опрокинулъ ихъ, вылилъ на землю; перебилъ и перетопталъ ногами горшки съ кашею. Велѣлъ сейчасъ же зарѣзать двухъ барановъ и готовить обѣдъ въ котлахъ середи двора, и съ тѣмъ вмѣстѣ задалъ такого феферу кухаркамъ, чтобъ онѣ сами знали и другимъ заказали:

что по лѣни, да по дури двухъ-трехъ не слѣдъ голодать сорока человѣкамъ. И даже любимой дочери не пощадилъ Гаврила Михайловичъ. «Не по старинному хозяйничаешь, молодая хозяюшка! сказалъ онъ, распаленный входя въ домъ. Люди у тебя, почитай, что мои борзые—еще хуже собакъ ѣдятъ.» И даже въ вечеру, на сонъ грядущій, Гаврила Михайловичъ не далъ поцѣловать своей руки Аннѣ Гавриловнѣ,—таково изволилъ прогнѣваться.

Но заботою о застольной не ограничивались всѣ хозяйственныя заботы молодой хозяюшки. И кромѣ того, именно полонъ домъ людей ожидалъ ея приказа и слова. Ключникъ приносилъ на пробу новоставленный медъ и новоуваренный квасъ, потому что прежде чѣмъ подать ихъ на столъ гостямъ, хозяйка сама должна опробовать ихъ. Пряничница ожидала приказа, какіе пряники печь: имбирные, или анисовые? Случалось, что птичница являлась съ жалобнымъ докладомъ и съ поличнымъ гусемъ въ рукахъ, и докладъ гласилъ печально и со многими всхлипываньями: что несмотря на «знатную охоту» Гаврилы Михайловича, волкъ вотъ столько-то и столько-то гусей задралъ. Даже староста, побывавъ на переднемъ крыльцѣ и принявши у дверей кабинета хозяйственныя распоряженія Гаврилы Михайловича, заботливо пробирался къ заднему крыльцу и входилъ въ дѣвичью къ Аннѣ Гавриловнѣ. «Матушка, Анна Гавриловна! что будемъ дѣлать? говорилъ онъ. Батюшка Гаврила Михайловичъ вотъ то и то своимъ словомъ приказать изволилъ; а вотъ это-то бы лучше по всѣмъ статямъ выходило для насъ и по всему хозяйливѣе было. И тожъ Филькѣ, матушка, приказываютъ снарядить въ вотчинный объѣздъ, чтобъ ѣхать ему недѣли на три; а дуракъ Филька молится, значитъ, чтобъ ему, матушка, остаться, дураку. Вишь жонка у него на порѣ часа Божьяго, сбирается родить, первенькаго, матушка: такъ чтобъ ему, неумытому дураку, Филькѣ, съ жонкой побыть». И Анна Гавриловна входила въ обстоятельныя разсужденія со старостою: какъ бы это изло-

читься такъ, чтобъ и слово Гаврилы Михайловича въ его великой непорухѣ оставалось, да и должному бы дѣлу не несдѣлану быть? И опытность шестидесятилѣтняго старика и ловкость шестнадцатилѣтней матушки-барышни почти всегда успѣвали въ томъ, что и козы были сыты, и сѣно цѣло. И этого мало: главный псарь, въ экстренныхъ случаяхъ, являлся къ Аннѣ Гавриловнѣ. «Матушка сударыня! бѣда надъ нами стряслась. Какъ докладъ несть къ батюшкѣ Гаврилѣ Михайловичу, что какой-нибудь борзой песъ или любимая ищейка искалѣчилась?» И Анна Гавриловна находила пору и время, умѣла найдти такое слово, чтобы бѣда эта растряслась безъ грозы и погрома, и чтобы Филька остался съ жонкой и не ѣхалъ въ вотчинный объѣздъ.

Но и здѣсь даже не всегда оканчивалось дѣятельное, хлопотливое утро Анны Гавриловны. Переговоривъ со всѣми и обо всемъ, она оглядывалась вокругъ и видѣла, что къ ней приближалась ея безмолвная няня, доселѣ не оставлявшая чулка, ни своего мѣста на дверяхъ комнаты. «Покончила ты, матушка, съ домашними дѣлами, теперь тебя Божье дѣло зоветъ, говорила няня. Изволишь знать старуху Евпраксію? На святой дорогѣ, смерти ждетъ. Поди, родная. Присылала тебя проститься звать.» И вотъ Анна Гавриловна, иногда въ тѣхъ же самыхъ туфляхъ, на босу ножку и только сверхъ своей бѣлой косыночки накинувъ на голову турецкую шаль, поспѣшно переходила черезъ широкій дворъ, оставляя позади себя плетущуюся няню и цѣлыя группы всевозможнаго дворовaго люду, остановившагося съ открытыми головами и въ недоумѣніи: куда изволитъ идти-матушка-барышня, поспѣшая такъ? Барышня входила въ какое-нибудь отдѣленіе многочисленныхъ дворовыхъ пристроекъ; двери передъ нею отворялись, какъ по волшебному мановенію, явившимися многочисленными прислужниками, и Анна Гавриловна, въ сопровожденіи почтительной и безмолвной толпы, приступала къ постели умирающей. Невольнымъ, неотразимымъ умиленіемъ звучалъ ея молодой голосъ, когда

она произносила самыя простыя слова: «Вотъ я пришла къ тебѣ, Евпраксія! И здоровье тебѣ, Евпраксія, принесла». Больная открывала глаза; послѣднимъ предсмертнымъ усиліемъ ловила руку своей молодой госпожи и, прильнувъ къ ней запекшимися устами, изливала непонятную намъ, невообразимую для насъ, но тѣмъ не менѣе существующую на дѣлѣ любовь изумительной рабской преданности, поглотившей всю жизнь и на краю гроба еще изливающейся поцѣлуями и лепетомъ невнятныхъ благэословеній! Слезы проступали въ молодые глаза Анны Гавриловны, и она тихо и медленно оставляла умирающую. Но на возвратномъ пути другое явленіе очень часто останавливало Анну Гавриловну. Какая-нибудь изъ дворовыхъ женщинъ представала ей на перепутьѣ: «Сударыня барышня, солнышко наше ненаглядное! не погнѣвайся, о чемъ я буду просить—не побрезгай нами...» И женщина начинала просить, чтобъ Анна Гавриловна зашла къ ней и отвѣдала ея блинчиковъ или пирожковъ, которые та, по случаю поминокъ, или чего-либо другаго, пекла, что у нея и сметанка и маслицо, по милости барской, все у нея есть. И Анна Гавриловна заходила, и не только не брезгала, а вставши такъ рано и такъ много хлопотавши, она съ настоящимъ аппетитомъ кушала предлагаемые ей блинки и пирожки. И еслибы Анна Гавриловна рублемъ подарила эту женщину, и тогда не заставила бы ее съ большею радостію пересказывать всякому: «что вотъ матушка-барышня, пошли ей, Господи, здоровья и сто лѣтъ на свѣтѣ пожить, — какъ она изволила зайдти и скушала пирожочекъ и два блинка».

Но уже скушавши ихъ, Анна Гавриловна спѣхомъ-спѣшила домой. «Поспѣшай, моя сударыня!» подговаривала ей сзади няня, повидимому отставшая; а между тѣмъ старуха всегда поспѣвала быть тамъ, гдѣ была барышня. «Батюшка чай уже изволилъ ото сна востать и скоро милость твою ожидать станетъ.» А между тѣмъ Анну Гавриловну, уже совсѣмъ наготовѣ, ожидалъ парикмахеръ, стоя передъ зерка-

ломъ и съ гребнемъ въ рукѣ. Не теряя ни минуты, Анна Гавриловна умывалась студеною *непочатою* водою, которую припасала няня, и отъ которой воды дѣвичья краса цвѣтомъ-цвѣтетъ, и всякій призоръ дурнаго глаза смываетъ эта вода, и потому няня, никому не довѣряя, сама подавала барышнѣ умываться. Умывшись, Анна Гавриловна садилась къ овальному, въ золоченой рамѣ зеркалу, и могла бы, не шутя, перемолвиться съ нимъ:

Свѣтъ мой, зеркальце! скажи
И всю правду доложи:
Я ль на свѣтѣ всѣхъ милѣе,
Всѣхъ румянѣй и бѣлѣе?

Но Анна Гавриловна слишкомъ нетерпѣливо сидѣла передъ своимъ зеркальцемъ, чтобы входить въ такіе разговоры съ нимъ. Крѣпостной парикмахеръ, изволеніемъ барской власти и ловкостію русскаго человѣка, позаимствовавшій свое искусство у столичнаго Нѣмца (разумѣя подъ этимъ именемъ и Француза), Аверька Савичъ, какъ звали парикмахера, отлично подбивалъ и сглаживалъ шиньйонъ Аннѣ Гавриловнѣ. И прекрасна была Анна Гавриловна, свѣжая русская красавица, въ полномъ роскошномъ нарядѣ французской маркизы! На соблазнъ старой няни, обнажены за локоть руки, бѣлая шейка и стыдливыя дѣвичьи плечи, только прикрытыя жемчужнымъ ожерельемъ, и Анна Гавриловна въ фижмахъ, искусно поддерживающихъ большіе широкіе склады великолѣпно ниспадающей юбки, и драгоцѣнные *супиры* и *сувениры* на рукахъ и груди, волнующейся несмѣлымъ ожиданіемъ и дѣтскою робостію, какъ идти въ кабинетъ желать добраго дня государю-батюшкѣ. И прежде чѣмъ идти туда, Анна Гавриловна сама внимательно осматривалась передъ зеркаломъ и осматривали ее со всѣхъ сторонъ няня и ближнія сѣнныя дѣвушки: все ли богато и хорошо на ней? Не равенъ часъ, приглянется ли нарядъ Гаврилѣ Михайловичу? И когда онъ однажды не приглянулся ему, Гаврила Михайловичъ подозвалъ къ себѣ дочь и своею барскою рукой, снявъ со стѣны

турецкій кинжалъ, которымъ на охотѣ прикалывалъ зайцевъ, Гаврила Михайловичъ искромсалъ и изрѣзалъ имъ все платье на дочери. «Что ты, матушка, отца стращишь? сказалъ онъ. Изволила нацѣпить платье на плечи, почитай, тебѣ надѣть нечего, что ты день третій не сымаешь его?» Затѣмъ Гаврила Михайловичъ отодвинулъ одинъ изъ ящиковъ тѣхъ причудливо-тяжелыхъ комодовъ, которые завѣщала намъ екатерининская старина, и въ которыхъ запасливыя бабушки и дѣдушки наши хранили цѣлыя штуки дорогихъ штофовъ и матерій, припасенныхъ на случай въ какую-либо изъ барскихъ поѣздокъ въ Москву. Гаврила Михайловичъ велѣлъ дочери вынуть изъ ящика до дюжины разнородныхъ обьярей и атласовъ, затканныхъ мелкими серебряными и золотыми цвѣтиками и травками, и которые потому назывались «травчатыми» атласами, и повелѣлъ Гаврила Михайловичъ дочери своей, Аннѣ Гавриловнѣ, за ущербъ ея одного платья, истыканнаго кинжаломъ, выбрать любыхъ матерій на три новыя платья. Да, если Гаврила Михайловичъ, съ барскимъ цинизмомъ, любилъ выставлять напоказъ гостямъ свою стоптанную туфлю, то взамѣнъ этой туфли онъ гордо хотѣлъ, чтобъ его дочь каждый день была одѣта такъ, какъ бы этотъ день былъ Свѣтлый праздникъ.

Окончательно увѣрившись въ своемъ туалетѣ, Анна Гавриловна наскоро прилѣпливала крохотную, треугольничкомъ, бархатную мушку пониже лѣваго виска и другую сердечкомъ, съ правой стороны, на подбородкѣ, что на языкѣ французскихъ бархатныхъ мушекъ означало *влюбленная* и *я страдаю*, хотя Анна Гавриловна вовсе не была влюблена и не страдала, а спѣшила въ кабинетъ къ отцу, слегка постукивая высокимъ сафьяннымъ коблучкомъ и провожаемая сзади неотступною няней. Но у дверей кабинета отступала старая няня, не осмѣливаясь безъ особаго милостиваго зова явиться передъ лицо Гаврилы Михайловича, и Анна Гавриловна, напутствуемая сзади крестнымъ знаменьемъ, входила одна. «Здравствуй, дочь! Хорошо ли почивала?» громко говорилъ и милостиво

протягивалъ руку дочери Гаврила Михайловичъ въ милостивомъ расположеніи духа. Анна Гавриловна цѣловала почтительно руку, отвѣчала еще почтительнѣе на вопросъ, и провожаемая пытливымъ взглядомъ отца, который осматривалъ ее съ головы до ногъ, Анна Гавриловна ступала нѣсколько шаговъ по комнатѣ къ киоту съ образами, брала тамъ святцы и въ своемъ полномъ костюмѣ французской маркизы, въ фижмахъ и мушкахъ, становилась передъ лицомъ Гаврилы Михайловича и читала ему имена святыхъ, которыхъ церковь праздновала въ тотъ день, и величальныя пѣсни имъ, извѣстныя подъ именемъ «тропарей» и «кондаковъ». «Гмъ!» произносилъ Гаврила Михайловичъ, довольный обзоромъ костюма дочери; и выслушавъ чтеніе церковныхъ пѣсень. И, въ чувствѣ этого довольства, онъ ласкалъ и теребилъ пушистый хвостъ доморослой заполоненной лисы, которая сжилась съ своимъ хозяиномъ, какъ домашняя кошка. И за тѣмъ Гаврила Михайловичъ входилъ въ разсужденіе съ дочерью: когда бы имъ, примѣрно, поѣхать въ гости вотъ къ тому-то и тому-то, или отдавалъ приказъ ѣхать одной Аннѣ Гавриловнѣ въ общемъ поѣздѣ гостей, или ждать къ себѣ тѣхъ-то и тѣхъ-то въ гости. Послѣ чего утреннее представленіе Анны Гавриловны благополучно оканчивалось. Она выходила изъ кабинета; а ея мѣсто занималъ Комариная Сила, который по зову, или безъ зова, слушалъ ли его Гаврила Михайловичъ, или не слушалъ, сердился ли онъ на кого, толковалъ ли со старостою, со псаремъ, разсуждалъ ли съ новоприбывшимъ гостемъ,—ко всѣмъ этимъ голосамъ Комариная Сила присоединялъ свой монотонный голосъ, сидя на скамеечкѣ возлѣ печки и опредѣленный однажды навсегда читать вслухъ ушей Гаврилы Михайловича *житіе* сегодняшняго святаго. А тѣмъ временемъ Анна Гавриловна исполняла завѣтный этикетъ молодой внимательной хозяйки дома. А именно: она отправлялась по очереди въ комнаты почетныхъ уважаемыхъ дамъ, которыя ночевали у нея, и тамъ спрашивала ихъ о здоровьѣ и желала имъ добраго утра, предупреждая такимъ образомъ

то общее здравствованіе, которымъ хозяйка обязана своимъ гостямъ.

Но уже избывши съ себя всю эту обузу хозяйственныхъ заботъ, распоряженій, оставленная даже неотступною нянею, съ какимъ дѣтскимъ весельемъ начинала свой молодой день Анна Гавриловна! Вотъ когда ея тяжелыя заботы ранняго утра приносили свой сладкій плодъ! Анна Гавриловна являлась настоящею, полною, неограниченною хозяйкою. Гаврила Михайловичъ почти не оставлялъ своего кабинета, и только изрѣдка вносилъ свои стоптанныя туфли въ гостиную, являясь въ ней болѣе рѣдкимъ гостемъ, чѣмъ самый рѣдкій изъ его гостей. Анна Гавриловна надъ всѣмъ властвовала, принимала почетъ; слуги слушались ея мановенія. Она затѣвала и исполняла всѣ затѣи, какія могли придти въ ея молодую голову. Гаврила Михайловичъ одного хотѣлъ: чтобы было шумно и весело въ его барскомъ домѣ; чтобъ у него «не дрему дремали,» какъ выражался онъ. И намъ теперь непонятенъ этотъ непрестающій съѣздъ ближнихъ и дальнихъ знакомыхъ, свободное домосѣдство въ чужомъ дому на мѣсяцъ и на два: отъ именинъ Гаврилы Михайловича до дня рожденія Анны Гавриловны; отъ господскаго праздника до престольнаго, отъ пира до охоты, отъ охоты до пира. Понятно ли намъ, чтобы можно было изъ цѣлой округи съѣзжаться въ одинъ домъ съ няньками, мамками, съ грудными младенцами, пріѣзжать старымъ и молодымъ и всякому за своимъ: попить и поѣсть, и Богу помолиться (потому что церковь была у воротъ дома Гаврилы Михайловича), повеселиться такъ, чтобы звонъ стоялъ въ головѣ и долго еще въ просонкахъ мерещилось бы это веселье? Поймемъ ли мы, чтобъ въ этотъ барскій домъ недремлющаго веселья можно было привозить больнаго на смерть небогатаго сосѣда на томъ-де основаніи, что все равно, гдѣ ни умирать, а на людяхъ и смерть красна?.. И больной умиралъ этою красною смертію въ домѣ Гаврилы Михайловича. Мгновенно все измѣнялось. Въ залѣ выставлялся гробъ; на столикѣ, покрытомъ

до земли бѣлою скатертью, стояла кутья подъ образами. Вырабатывая себѣ полтину мѣди и цвѣтной бумажный платокъ, Комариная Сила читалъ заунывно псалтырь надъ покойникомъ. Самъ Гаврила Михайловичъ выходилъ изъ кабинета и лично производилъ распоряженія по такому чрезвычайному случаю, принимая, конечно, погребеніе покойника на свой счетъ. Еще, казалось, углы большаго зала стояли полны вчерашнихъ перепѣтыхъ пѣсень и готовы были вотъ-вотъ грянуть какимъ-либо заливнымъ припѣвомъ ихъ; а середина комнаты наполнялась уже попами въ черныхъ ризахъ, дьяконами съ восковыми зелеными свѣчами въ рукахъ. «Со святыми упокой!» пѣло протяжное пѣніе, и волны кадильнаго ѳиміама облакомъ сгущались надъ головами людей. Гаврила Михайловичъ, въ христіянскомъ смиреніи, стоя позади всѣхъ и подпоясанный по своему шлафроку чернымъ шелковымъ платкомъ, клалъ земные поклоны и подпѣвалъ духовному хору: *Надгробное рыданіе творяще пѣснь...* Затѣмъ слѣдовалъ поминальный обѣдъ, и послѣ *вѣчной памяти*, пропѣтой покойнику между жаркимъ и пирожнымъ, начинали пить за упокой души его горячіе тосты особеннаго рода питьемъ, которое употреблялось только на заупокойныхъ обѣдахъ и было подаваемо въ чайныхъ чашкахъ. Питье это называлось «варенуха,» и варилось оно изъ бѣлаго вина или французской водки, густо разсыропленной медомъ, съ небольшимъ количествомъ воды. Этимъ сыропомъ наливались разныя сухія ягоды и пряности. Большой кубганъ замазывался тѣстомъ и задвигался въ печь на цѣлыя сутки. Его-то выдвигали для заупокойныхъ тостовъ, и горячее спиртуозное питье сильно разгорячало присутствующихъ въ пожеланіи усопшему небеснаго царства. «За царство!» возглашалъ тостъ Гаврила Михайловичъ и мало-по-малу заупокойный обѣдъ входилъ въ общую колею другихъ обѣдовъ. За нимъ еще пѣлось: «*Отъ юности моея мнози борютъ мя страсти;*» но по тому самому, что эти страсти *мнози*, едва гости вставали изъ-за обѣда, какъ духовное пѣніе быстро смѣнялось другимъ. Какъ вихорь все

закруживая въ себѣ, проносился припѣвъ какой-нибудь плясовой пѣсни:

Ты коровушку
Подой да подой!
Подоенничекъ
Помой да помой!

И пиръ разгуливался звонче и веселѣе, еще гулливѣе обыкновеннаго порывалась въ хороводы молодежь...

Повѣримъ ли мы теперь, чтобъ этой молодежи, молодыхъ дѣвушекъ, болѣе десятка собиралось къ Аннѣ Гавриловнѣ, и онѣ гащивали не по недѣлямъ двумъ-тремъ, а веселая компанія, собравшись, не хотѣла разставаться по цѣлымъ мѣсяцамъ? Молодой народъ сживался душа въ душу; все между ними было общее, начиная отъ общихъ дѣвичьихъ проказъ до богатыхъ нарядовъ Анны Гавриловны. Приходилъ какой-нибудь нарочитый праздникъ, и небогатой подругѣ Анны Гавриловны нечего было задумываться, что она надѣнетъ въ этотъ праздникъ. Прежде нея объ этомъ подумали. Когда-нибудь поздно вечеромъ, когда весельемъ и шумомъ неумолкаемо наполнялся домъ, и вся комнатная челядь, приступивши къ дверямъ и къ окнамъ, прильнувши къ малѣйшей скважинкѣ, глазѣла на веселье господъ, въ то время няня Анны Гавриловны знакомъ подзывала къ себѣ какую-нибудь Машку или Палашку, брала свѣчу изъ дѣвичьей и отправлялась въ пространныя кладовыя, гдѣ въ огромныхъ сундукахъ, движущихся на колесахъ, и въ неподвижныхъ баулахъ бережно хранилось господское добро и всѣ богатые и небогатые наряды гостящихъ барышень. Тамъ, имѣя всѣ ключи у себя, старуха начинала перебирать и пересматривать всѣ платья барышень. Молча, внимательно подносила она каждую вещь къ свѣту и разсматривала ее со всѣхъ сторонъ. Также молча, не смѣя заговорить, свѣтила ей молодая, быстроглазая Машка или Палашка, и безмолвный обзоръ оканчивался пересмотромъ платьевъ Анны Гавриловны. Послѣ чего няня замыкала кладовую, молча задувала свѣчу

и отправлялась къ себѣ на теплую лежанку. Но еще прежде чѣмъ встать солнцу и започивать Гаврилѣ Михайловичу, няня докладывала ему: «что какъ угодно будетъ ихней барской милости, а она свою холопскую службу исполняетъ. Вѣдомо, что праздникъ идетъ. У сударыни Анны Гавриловны капуциновой обьяри платье разъ было надѣто, да въ другой гостиная барышня принадѣла. Мелко-травчатое платье атласное, что̀ розоваго цвѣту, о Покровѣ изволила выряжаться барышня и глазетовое съ помпадурою тожъ оно принадѣвано; да у гостиной барышни (называла по имени и отчеству няня) ничего то-есть пригляднаго и показнаго къ празднику нѣтъ».—Коли нѣтъ, такъ надобно, чтобъ было, произносилъ Гаврила Михайловичъ и выдвигалъ ящикъ своего комода. За тѣмъ обо всемъ остальномъ, до поры до времени, знали только портные да закройщики, которые кроили и шили въ особомъ флигелѣ, подъ надзоромъ няни. Наступалъ праздникъ; приходило время выряжаться барышнямъ, и велико бывало изумленіе которой-либо изъ нихъ, когда недуманно-негаданно, совершенно какъ въ сказкахъ говорится, по щучьему велѣнью, являлось ей платье, сшитое прекрасно по ней. Не зная, какому приписать все случаю, къ кому обратиться благодарить за то, барышня естественно обращалась къ Аннѣ Гавриловнѣ; но та ей Христомъ Богомъ божилась и крестилась, что она не знала и не вѣдала ни про что̀. Сѣнныя дѣвушки хотя, можетъ-быть, и знали стороною, да молчали, пока няня не останавливала дальнѣйшихъ разспросовъ своимъ простымъ словомъ: «Кушай, матушка, кусъ, да не спрашивай: отколева онъ? Слаже того не будетъ». И молодая барышня, разодѣтая по щучьему велѣнью, терялась въ своихъ догадкахъ и почти не подозрѣвала того, что эта волшебная щука былъ самъ Гаврила Михайловичъ, его барское изволенье, вовсе не искавшее благодарности, а единственно хотѣвшее того, чтобы, какъ выйдетъ Гаврила Михайловичъ въ праздникъ, и глянетъ онъ по своимъ по милымъ гостямъ,

чтобы все передъ нимъ блистало и утѣшало его барскія свѣтлыя очи.

Но мы не будемъ имѣть настоящаго понятія ни о барскихъ утѣшеніяхъ Гаврилы Михайловича, ни о шумной веселости Анны Гавриловны и подругъ ея, если мы позабудемъ припомнить, что̀ лежало въ основѣ ихъ. Лежала Русская пѣсня. Родной напѣвъ ея, сильный и могучій, былъ еще совершенно близокъ людямъ, которые по одной внѣшности—только по своему французскому кафтану и исподнему платью—тщились вступить на знатный путь европейскаго развитія, а на самомъ дѣлѣ они оставались все тѣми же простыми, крѣпкими людьми русской естественности.

Фіолетовый кафтанъ,
Парчевой камзолъ,
Чулки шелковые,
Пряжки съ искорками

не перерождали, а только переряжали Русскаго барина. «Шутку шутишь, Нѣмецъ!» могъ не шутя сказать какой нибудь богатырскій баринъ, во главѣ тысячи другихъ, силясь представить себѣ, чтобы такой шутовской нарядъ, какъ коса и пукли, по колѣно короткіе штаны и пряжки, и вся эта заморщина расшаркованій и присѣданій могли захватить въ себя и дать просторъ тому широкому раздолью, которое Русскимъ ходенемъ ходило и живо жило въ его барской груди—шутку шутишь, Нѣмецъ! И чтобы настояще видѣть, какъ это заморское переряженье Русскаго барина было не много чѣмъ болѣе маскерадной шутки, надобно было только заливному напѣву простой Русской пѣсни коснуться его барскаго слуха. Какъ конь боевой, индѣ почуявъ звуки кавалерійской рыси, въ минуту весь перерождается, уши сторожатъ, глазъ горитъ; онъ будто осѣдаетъ на заднихъ ногахъ и вытягивается передними, еще минута, и уже онъ, хвостъ и гриву на разметъ, несется, давая слышать вокругъ свой полуиспуганный храпъ и веселое ржанье: такъ точно, безъ натяжки можно сказать, звуки Русской пѣсни пере-

рождали нашего барина, по всему будто офранцузившагося; и коса сзади виситъ, и лавержетъ взбитъ; но что значитъ коса и парикмахерскій лавержетъ, когда всю душу насквозь пронимаетъ живая сила роднаго напѣва? Баринъ, какъ конь, чуть не вставалъ на дыбы: онъ истинно ржалъ отвѣтнымъ чувствомъ своей богатырской груди, послышавшей могучіе звуки, въ которыхъ вольною волею могла разгуляться душа. Синій кафтанъ на плеча, сапоги съ серебряными подковами, черная шляпа пуховая со павлиньимъ перомъ, и вотъ онъ бурно, неистово вносился въ хороводъ. Онъ заплясывался до упада, и могло ли что-либо хотя нѣсколько прививное удержаться здѣсь, не осыпаться, какъ осыпались бы всѣ до одной блестки французскаго кафтана въ этомъ разметѣ дебелой силы, въ этомъ топотѣ и свистѣ, который прорѣзывалъ воздухъ какъ стрѣла, а подъ могучими ногами трещалъ и подавался дубовый полъ, и земля выбивалась на полчетверти?

Бабушки наши не отставали отъ дѣдушекъ. Сбросить фижмы и неповоротливый робронъ, нарядиться въ сарафанъ, или, еще чаще того, въ болѣе способную для пляски, короткую паневу, всю въ клѣтки затканную шемахинскими шелками, и, вмѣсто передника, со вшитою штофною или глазетовою прошвой напереди; кокошникъ, или дѣвичья повязка на головѣ, какъ жаръ горитъ, и пуки разноцвѣтныхъ лентъ, падающихъ сзади, чуть не достигаютъ до пятъ и перемѣшаны съ разцвѣченными мохрами и кистями отъ шелковыхъ снурковъ,—нарядиться такъ на задоръ молодецкимъ глазамъ и заплясываться въ пляскахъ и хороводахъ было непремѣннымъ условіемъ праздничнаго веселья, безъ чего и пиръ былъ бы не въ пиръ. И этотъ обычай переодѣванья въ русскіе костюмы былъ въ такой силѣ, что молодой дѣвушкѣ не имѣть паневы и сарафана, или наконецъ старинной шелковой юбки съ цыганскимъ приборомъ дутыхъ бусъ, алой шали черезъ плечо и большихъ серебряныхъ колецъ въ уши, не имѣть чего-либо изъ этого было зазорно. Даже при замужствахъ, въ счетъ приданаго, свахи, выговаривая

то и другое для невѣсты, не забывали прибавить: «И праздничныхъ нарядцевъ тожь не поскупитесь, матушка, и ты, отецъ родной, чтобы наша молодая, на красу да на похвальбу, въ хороводъ вошла и, что есть, безъ зазору танокъ повела.»

Этихъ праздничныхъ нарядцевъ было у Анны Гавриловны безъ счета. Она могла нарядить ими цѣлый хороводъ — и наряжала. Съ утра еще барышни не чаяли дождаться вечера праздника и именно того часа, когда балъ, чинно начатый гавотами и минуэтами, принадлежитъ всѣмъ. Гаврила Михайловичъ сидитъ у себя въ кабинетѣ съ обычными, избранными собесѣдниками, и нѣтъ ему ни малѣйшаго дѣла, какъ себѣ тамъ хотятъ, забавляются его гости. И вдругъ двери изъ внутреннихъ комнатъ растворяются настежь, и въ большую залу вносится хороводъ, яркій до ослѣпленія. Короткія, пестрыя паневки выше щиколки показываютъ ножку; кокошники и повязки горятъ, ленты вихремъ вьются и кружатся по комнатѣ; барышни и сѣнныя дѣвушки перемѣшались въ хороводѣ, и вы развѣ сердцемъ скажете, что вотъ та изъ нихъ лучше; а на глаза онѣ всѣ хороши вамъ. У васъ духъ занялся отъ заливной пѣсни, и разбѣжались глаза... «Матушка! утѣшь сударя батюшку,» попадетъ за кисейный рукавъ Анну Гавриловну няня и шепнетъ ей на ушко. Та будто ничего не слышитъ и не внимаетъ нянѣ. Но чуть допѣли пѣсню, молодая грудь высоко поднялась и опала подъ кисейною рубашкою, едва только однимъ вольнымъ вздохомъ вздохнула Анна Гавриловна, и она громко хлопаетъ въ ладони. Хороводъ смыкается рука въ руку, нетерпѣливый коблучекъ Анны Гавриловны не то въ полъ бьетъ, не то музыку даетъ, и вдругъ всѣ голоса подхватываютъ:

У воротъ мурава
Зеленымъ-зелена;
Ужь и я ль молода
Веселымъ-весела.

Хороводъ разрывается на двѣ равныя стороны, и Анна Гав-

риловна одна остается посреди зала. Но Русская пляска не идетъ въ одну. Анна Гавриловна выводитъ за руку изъ хоровода избранную любимую подругу, и онѣ вмѣстѣ начинаютъ пѣть и плясать.

Всѣ домой, всѣ домой,
А я домой не хочу.
Съ кѣмъ гуляю, не скажу.
Пойду, млада, въ темный лѣсъ.
Сорву, млада, клиновъ листъ;
Напишу, млада, грамоту,
Что по бѣлому бархату:
Пошлю тое грамоту,
Изъ города на городъ,
Я къ батюшкѣ въ Бѣлгородъ:
«Государь ты мой батюшка!
«Изволь письмо прочитать.
«Велишь ли мнѣ поиграть
«И шуточки пошутить?»
—«Играй, мое дитятко,
«Шути шутки, милое!
«Какъ старость-то пришибетъ.
«Игра на умъ не пойдетъ,
«И шуточка пропадетъ
«Состаришься, дитятко,
«За люлькою сидючи,
«На дѣтище глядючи.»
—«Я старость-то пришибу
«Своимъ малымъ башмачкомъ,
«Сафьяненькимъ коблучкомъ...

И самымъ дѣломъ повершая слова своей заливной пѣсни, Анна Гавриловна именно пристукивала, уносясь въ пляскѣ, своимъ малымъ башмачкомъ и сафьяненькимъ коблучкомъ.

Хороводъ мгновенно окружалъ ее и опять подхватывалъ:

У воротъ мурава
Зеленымъ-зелена,
Ужь и я ль молода
Веселымъ-весела.

Съ первыми звуками этой пѣсни, что бы ни дѣлалъ Гаврила Михайловичъ, игралъ ли въ карты, въ шашки, или разговаривалъ объ охотѣ, онъ поднимался какъ бы не своею си-

лою; на пяти-шести шагахъ ронялъ съ ноги туфлю и, не замѣчая того, въ одномъ чулкѣ становился въ дверяхъ залы. Онъ не могъ слышать, что̀ бы ни говорили ему, и, уважая его, никто съ нимъ не заговаривалъ; Комариная Сила стоялъ безмолвно, держа въ рукахъ оброненную туфлю... И все, что̀ мощно-нѣжнаго, что̀ любящаго затаилось въ сильной душѣ подъ кровомъ величаваго барства и какого-то *стыда чувства*, принимавшаго всякое проявленіе его за слабость въ мущинѣ, все то неудержимо проступало наружу; Гаврила Михайловичъ приковывался глазами къ дочери и отвратить силу этого любящаго отцовскаго взора — нѣтъ! кажется, еслибы ножомъ сверкнули въ глазахъ Гаврилы Михайловича и наставили конецъ его къ груди, онъ бы сказалъ: «Постой! дай доглядѣть пляску дочери. Чего тебя нетерпячее беретъ?» И когда дочь, словами своей простодушной пѣсни, будто заглядывала ему въ душу и выносила оттуда собственный отвѣтъ его:

Играй, мое дитятко,
Шути шутки, милое!

у Гаврилы Михайловича слезами туманились глаза, и грудь его, распахнутая до сорочки, подымалась и опускалась, какъ грузная волна.

Но пѣсня оканчивалась; хороводъ заливнымъ припѣвомъ покрывалъ ее, и цѣлые десятки лицъ, съ похвалами и привѣтствіями, обступали Гаврилу Михайловича. Еще борясь съ осилившимъ его чувствомъ, онъ первыя минуты бывалъ грубъ и неуклюжъ; точно будто всѣ эти лица, хваля его дочь, чѣмъ-то оскорбляли его самого. Но Гаврила Михайловичъ скоро становился обычнымъ Гаврилою Михайловичемъ. «Кто пляшетъ? Аннушка. А кто хвалитъ? Мать да бабушка,» лукаво произносилъ онъ и оборачивался идти въ кабинетъ. На дорогѣ Комариная Сила подавалъ ему туфлю. «Давай, братецъ!» говорилъ Гаврила Михайловичъ, и снова принимался за ташки и карты, или за живые споры и разсужденія объ

охотѣ. Но что бы ни дѣлалъ Гаврила Михайловичъ, съ устъ его не сходила мелькающая улыбка, которая не принадлежала ни шашкамъ, ни картамъ, ни даже псовой охотѣ...

Такъ жила Анна Гавриловна у государя своего батюшки, когда неожиданно съ нею случилось маленькое обстоятельство такого рода.

На Свѣтлыхъ праздникахъ, подъ качелями, барышни пѣли весеннія пѣсни, *пашеньку пахали* и *просо сѣяли*, разумѣется, въ приличныхъ костюмахъ, и имъ помогали добрые молодцы въ зеленыхъ и синихъ кафтанахъ; полы подбитыя красною шелковою обьярью, у кого были обѣ отворочены и заткнуты за поясъ; у кого одна пола поднята на колѣно, а черная шляпа сдвинута на ухо. Сомкнулся хороводъ, и послѣ многихъ другихъ пѣсень, запѣли въ хороводѣ вотъ эту:

Я по сѣнюшкамъ хожу, млада хожу;
Сквозь стеколушко на милаго гляжу,
Мой милый другъ и хорошъ, и пригожъ:
Душа моя, чернобровъ, черноглазъ.
Я не знаю, къ чему друга примѣнить?
Примѣню друга къ золотому перстеньку:
Золотъ перстень на рукѣ, на рукѣ,
Мой милый другъ на умѣ, на умѣ.

У Анны Гавриловны какъ-то странно занѣмѣла эта пѣсня на губахъ. Когда другія пѣли, она безъ пѣсни двигалась въ хороводѣ, и молодые глаза, невѣдомо ей, приковались къ одному молодцу, который былъ и хорошъ, и пригожъ, и ужъ именно чернобровъ и черноглазъ. Пѣсня лилась какъ звонкая, заливающая душу струя, а Анна Гавриловна все смотрѣла, а вечерняя заря все больше румянѣла на ея щекахъ. Случилось страннымъ ненарокомъ, когда разносились слова пѣсни:

Золотъ перстень на рукѣ, на рукѣ,
Мой милый другъ на умѣ, на умѣ....

молодые глаза Анны Гавриловны до того задумались и засмотрѣлись, что тотъ удалой добрый молодецъ, на кого глядѣли они, снялъ свою черную шляпу и, будто бы пускаясь въ пляску, низко поклонился молодымъ глазамъ. Анна Гавриловна ахнула и убѣжала изъ хоровода.

Молодецъ этотъ былъ Марка Петровичъ Ш***, съ пеленокъ записанный сержантомъ на службу и служившій капитаномъ въ гвардіи, живя у себя въ деревнѣ.

Но небольшому обстоятельству съ молодыми глазами Анны Гавриловны не суждено было окончиться такъ. Прошла ли полная недѣля, или не прошла она послѣ того хоровода, какъ вдругъ совершенно неожиданно, подъ вечеръ, вбѣгаетъ лакей со двора, и даже минуя Комариную Силу, докладываетъ Гаврилѣ Михайловичу, что ея превосходительство, матушка генеральша жалуютъ. «Гмъ!» произнесъ Гаврила Михайловичъ, выражавшій такъ иногда свое довольство, а иногда и недовольство. (Матушка сестрица-генеральша жила за семьдесять слишкомъ верстъ.) Подождавъ, пока ея карета съ рѣзными, золочеными тюльпанами на кузовѣ и запряженная осьмерикомъ, выравнялась и остановилась подъ крыльцомъ—«стала», доложилъ Комариная Сила.

Гаврила Михайловичъ всталъ, подтянулъ нѣсколько спущенный поясъ на шлафрокѣ, и шаркая своими туфлями, отправился на встрѣчу неожиданному пріѣзду матушки сестрицы-генеральши. Уже весь домъ съ Анной Гавриловною во главѣ—няня, комнатныя дѣвушки, гости и пожилицы,—столпившись въ залѣ, готовились принять почетную нежданную гостью, когда Гаврила Михайловичъ, своимъ появленіемъ раздвигая толпу, принялъ сестрицу-генеральшу на порогѣ залы и тутъ же они сначала родственно обнялись и поцѣловались трижды; а потомъ Гаврила Михайловичъ поцѣловалъ ручку матушки сестрицы, а она назвала его: «свѣтъ мой, сударь братецъ!» «Тьфу ты, пропасть! ворчала няня. Малъ домъ имъ.

Нашли мѣсто: на порогѣ цѣлуются! Тутъ-то быть добру.» По понятіямъ няни, да и всѣхъ старыхъ людей, цѣлованье и обниманье на порогѣ вело къ неминуемой ссорѣ.

— Здравствуй, Анютушка! особенно милостиво говорила тетушка генеральша къ подступавшей Аннѣ Гавриловнѣ. — Посмотри, другъ сердечный на меня,—и подняла она голову Анны Гавриловны, спѣшившей наклониться къ тетушкиной рукѣ.—Она у васъ, батюшка братецъ, изо дня въ день хорошѣетъ. Тьфу! сплюнула немножко съ сторону генеральша, —чтобы не сглазить. Затѣмъ началось дальнѣйшее допущеніе къ рукѣ, и вечеръ прошелъ совершенно благопріятно.

На утро, еще сидя въ опочивальной кофтѣ и подвязывая кругомъ себя бѣлые канифасные карманы, сестрица Гаврилы Михайловича изволила потребовать къ себѣ няню. «Ну, какъ? что у васъ дѣется хорошаго? Старая! ты мнѣ все доложи, не потай.» Старая докладывала, что, слава Богу, все у нихъ, по какой часъ, дѣется хорошее! «Что Аннушка-свѣтъ утѣшаетъ батюшку-братца?»—Утѣшаетъ, матушка.—«Ну, то-то же, смотри. Я вѣдь не безъ дѣла пріѣхала.» Затѣмъ матушка генеральша опустила свою ручку въ карманъ, вынула оттуда гривенку и пожаловала гривенкою няню. «Ступай себѣ на лежанку, Богу молись. Я сейчасъ къ батюшкѣ-братцу иду.» И накинувъ, сверхъ своего опочивальнаго костюма, епанечку шелковую съ воротниками, сестрица-генеральша вошла къ сударю братцу. «Здорово живешь, Комарушка?» сказала она мимоходомъ Комариной Силѣ, растворявшей передъ нею дверь. Гаврила Михайловичъ поздоровался, всталъ съ своего почти просиженнаго дивана, спросилъ сестрицу-генеральшу: «каково почивали?» и опять сѣлъ. «Силушка! ты себѣ другое время найдешь,» выслала генеральша изъ кабинета Комаринную Силу, который было располагался у печки читать житіе. «И дверь-то за собою, Силушка, припри...» — Не надо! возвысилъ голосъ Гаврила Михайловичъ. — Матушка сестрица! начиналъ хмуриться онъ, — домъ мой не есть канцелярія тайныхъ дѣлъ, и въ домѣ у меня тайностей не

имѣется. Я скорѣй глотки и уши заткну; а уже ото всякой дряни хоронясь, дверей моихъ запирать не стану. Слышишь, Комариная Сила? Чтобы ты у меня слухомъ не слыхалъ и видомъ не видалъ! «Слушаю, батюшка Гаврила Михайловичъ!» отвѣчалъ изъ-за дверей Комариная Сила.—И я васъ, матушка сестрица, слушаю. Извольте говорить, коли вы мнѣ сказать что пришли.—Кажется, Гаврила Михайловичъ догадывался о предметѣ разговора.

Приступъ былъ такой рѣшительный и, можно сказать, неожиданный; сударь братецъ, приготовляясь слушать, такъ настойчиво заложилъ нога за ногу и свѣсилъ свою стоптанную туфлю, что сестрицѣ генеральшѣ ничего болѣе не оставалось, какъ объявить прямо:

— Я, батюшка братецъ, объ Аннушкѣ говорить пріѣхала.

— Что такое Аннушка?

— Взыскалъ ее Господь милостію. Женихъ ей хорошій находится.

Судя по бровямъ Гаврилы Михайловича, совершенно наежившимся, можно было ожидать, что и сестрицу-генеральшу не встрѣтитъ ли одинъ изъ тѣхъ лаконическихъ отвѣтовъ, которыми Гаврила Михайловичъ встрѣчалъ и выпровождалъ свахъ. Но нѣтъ!

— Какой женихъ? спросилъ онъ.

— Такой, сударь мой братецъ! что и Бога моля, не вымолить намъ лучшаго. Самъ ты изволишь судить своимъ разумомъ. Друцкой княгинѣ свойственникъ, Трубецкаго князя Илью дядей зоветъ; Ширинскіе ему своя семья, да и бабушка тожъ двоюродная, Анфиса Петровна, человѣкъ въ случаѣ. Вельможъ за уши деретъ.

Гаврила Михайловичъ молчалъ. Сестрица-генеральша продолжала говорить далѣе.

— И достаткомъ тожъ, какъ сами вы, сударь братецъ, свѣдомы, не обидѣлъ Господь. Родовыя вотчины не за горами, и богатство его отцовское не на водѣ писано,—четыре тысячи душъ.

Гаврила Михайловичъ молчалъ. Матушка сестрица-генеральша посмотрѣла немножко со стороны, и сама помолчала.

— Такъ вотъ, свѣтъ вы мой батюшка братецъ! начала она (въ добрый часъ молвить, а въ худой помолчать),—какъ вы этому дѣлу, что̀ скажете и что̀ прикажете?

Гаврила Михайловичъ всталъ и, отвѣчая своею полною грудью, сказалъ:

— Не отдамъ!

— За Марка Петровича? всплеснула руками генеральша.

— И за Марка не отдамъ.... Комариная Сила! иди житіе читать.

— Да чтожъ ты батюшка? изъ себя вышла сестрица-генеральша. — Ума ты, сударь, отступился? Чего ты дѣвкой мудруешь? Какого еще жениха желать? Иль ты ей генерала съ лентою чаешь?

— Довольно съ насъ, матушка сестрица, одной генеральши, замѣтилъ Гаврила Михайловичъ.

— Такъ мнѣ не довольно, сударь вы братецъ! Развѣ она тебѣ одному дочь, а мнѣ не племянница? Осталось дитя безъ тери, сирота голубиная, клюй ее, батюшка, сизой орелъ! Велики когти, защиты нѣтъ.

— Сестра! грозно сказалъ Гаврила Михайловичъ.—Говори да думай!

— Что̀ тутъ думать? Дѣвкѣ семнадцать лѣтъ. Ей во снѣ женихи снятся; а отецъ родной на яву женихамъ отказы даетъ. Ты, батюшка, лучше бы ее въ монастырь сослалъ: такъ бы она черницей слыла, лбомъ въ землю стукала и, на радость тебѣ, черную рясу волочила.

— Не отдамъ! стукнулъ по собственному колѣну Гаврила Михайловичъ и двинулъ ногою такъ, что туфля летомъ вылетѣла за дверь кабинета.

Въ ту же дверь сестрица генеральша вышла, не сказавши болѣе ни слова. Но она сейчасъ велѣла своимъ людямъ собираться въ дорогу, и, когда у Гаврилы Михайловича обѣденный столъ былъ накрытъ и уже несли серебряную мису съ

супомъ, сестрица-генеральша изволили выѣхать, нанося тѣмъ чувствительное, великое оскорбленіе братниной хлѣбъ-соли. «Вотъ тебѣ и поздравствовались на порогѣ!» заключила няня.

Другое заключеніе едва ли можно было вывести какое изъ отказа Гаврилы Михайловича. Женихъ былъ по всѣмъ статямъ женихъ для Анны Гавриловны. По свойству его, по родству, по богатству, и самъ-то Марка Петровичъ молодецъ молодцомъ былъ! Умно слово сказать и шутку пошутить, и уже бариномъ себя показать такимъ, какъ есть настоящій тысячный баринъ, не у другихъ спрашивалъ, а самъ умѣлъ Марка Петровичъ. У него одного «половинчатая» коляска была, то-есть такъ она называлась, что верхъ у нея откидывался на двѣ половины: напередъ и назадъ. И какъ ѣдетъ Марка Петровичъ, народъ старый и малый за ворота выбѣгаютъ: «Марка Петровичъ ѣдетъ! Марка Петровичъ ѣдетъ!» а барышни къ окнамъ бросаются. Оно и было чего, не одной половинчатой коляски, посмотрѣть. Истинно сказать, на славу себѣ подобралъ Марка Петровичъ четырехъ въ маслѣ бурыхъ жеребцовъ (благо, что отцовскіе табуны степи крыли), и то-есть какъ подобралъ? Ни примѣтинки, ни отмѣтинки, ну вотъ какъ въ сказкахъ говорится: и голосъ въ голосъ, и волосъ въ волосъ, и ногами ровно ступаютъ, и нога въ ногу высоко поднимаютъ! И такихъ молодцовъ нечего было думать на поводахъ сдержать: такъ вмѣсто ремней, они серебряными цѣпями скованы были, настоящими серебряными, и серебряныя удила грызли въ прахъ. И вотъ уже страхъ и любо было посмотрѣть, какъ четверкой въ рядъ несся въ своей половинчатой коляскѣ Марка Петровичъ, ахти мнѣ! Стонъ за нимъ и передъ ними на двѣ версты по землѣ шелъ. Ни мостовъ, ни переправъ Марка Петровичъ не держалъ изъ благоразумной осторожности, что тогдашніе мосты и переправы не сдержали бы наступа его силачей и безопаснѣе было махнуть рукою и поискать броду. «Черти бурые!» говорилъ Гаврила Михайловичъ, когда эти бурые, испытавши броду у него подъ садомъ, подносились къ крыльцу и оста-

повясь, могуче встряхивались такъ, что серебряныя цѣпи звономъ звенѣли, и вода струями сочилась съ длинныхъ гривъ и отекающихъ хвостовъ: «черти бурые!» повторялъ онъ. Но даже Гаврила Михайловичъ поднимался съ своего дивана, чтобы взглянуть на этихъ бурыхъ чертей. И при всемъ этомъ отказать Марку Петровичу? Недѣлю, другую бурые проносились мимо, и только окна въ домѣ отъ ихъ могучаго топота слегка сотрясались, да еще, можетъ-быть, вздрагивало молодое сердце. На третью недѣлю только-что сѣли за столъ, Гаврила Михайловичъ не успѣлъ еще заложить салфетки подъ свой подборокъ, какъ вдругъ Марка Петровичъ, сію минуту проѣхавшій мимо, явился нежданнымъ гостемъ. «Извините меня, Гаврила Михайловичъ! развязно говорилъ онъ. Я совсѣмъ было не думалъ заѣзжать къ вамъ и, сами вы знаете, не съ руки мнѣ; да вотъ, проѣзжая, увидѣлъ въ окно Анну Гавриловну, и какъ я самъ здѣсь, вы меня не спрашивайте.»— Приборъ! сказалъ Гаврила Михайловичъ, не спрашивая и сажая за обѣдъ гостя. И Марка Петровичъ опять сталъ бывать, не скрываясь ни мало и во всеуслышаніе говоря Гаврилѣ Михайловичу во время веселыхъ застольныхъ бесѣдъ, что онъ, Марка Петровичъ, не самъ здѣсь сидитъ и не своя его воля посадила здѣсь,—не ѣства дорогія и не питья медвяныя Гаврилы Михайловича, а засадили его, посадили очи голубыя Анны Гавриловны, да своя зазноба сердечная. Анна Гавриловна краснѣла, какъ жаръ, и не знала, куда дѣть свои очи голубыя; а Гаврила Михайловичъ молчалъ и только немного самодовольно улыбался въ тарелку.

Такимъ путемъ шли дѣла, когда скоро подошелъ праздникъ вешняго Николы, который былъ престольнымъ праздникомъ одного изъ придѣловъ въ церкви Гаврилы Михайловича. Гаврила Михайловичъ обыкновенно праздновалъ этотъ праздникъ на пасѣкѣ. Прямо отъ обѣдни, онъ со всѣмъ домомъ, со всѣми гостями и всѣмъ народомъ, который сходился на праздникъ, шествовалъ съ образами и хоругвями версты за четыре на пасѣку. Тамъ служили молебенъ; кор-

мили и виномъ поили народъ, лакомили его разсыченнымъ медомъ, и здѣсь же Гаврила Михайловичъ имѣлъ у себя большое столованье и пированье. Мѣсто было славное. Долина глубокая между горами, и лѣсъ кругомъ. По взгорьямъ разставлена тысячная пасѣка; а внизу, въ самой рощѣ, выстроены были омшеники для зимовки пчелъ, и въ боку глинистаго обрыва, у самаго ключа живой воды, находилась кухня съ очагами на случай празднествъ Гаврилы Михайловича и временнаго посѣщенія господъ. Въ самой рощѣ подъ кленами да подъ липами, вдоволь было мѣста: гдѣ хочешь, затѣвай пиръ.

И пиръ былъ, какъ должно было быть пиру: и пѣсенники пѣли, и лица румянѣли. Гаврила Михайловичъ, прося своихъ дорогихъ гостей извинить его, что онъ старый конь и къ нарядной сбруѣ не обыкъ, вышелъ изъ-за стола и уже смѣнилъ свой парадный костюмъ на обычный шлафрокъ и привычныя туфли, и по этому случаю, еще довольнѣе и веселѣе, возсѣдалъ на почетномъ хозяйскомъ мѣстѣ въ концѣ стола. Говорили много и шумно; но вмѣсто того чтобы къ концу пира болѣе разговариваться, одинъ изъ гостей Гаврилы Михайловича все больше задумывался и не пилъ вина. Гость этотъ былъ Марка Петровичъ. Замѣтилъ ли бойкій и смышленый народъ пѣсенниковъ, зорко выглядывавшій изъ-за куста и получавшій частыя полачки отъ пирующихъ гостей, замѣтилъ ли онъ эту особенность грусти замѣтнаго гостя Марка Петровича, иль оно вышло совершенно случайно, только хоръ пѣсенниковъ запѣлъ:

Не туманъ въ полѣ разстилается;
Добрый молодецъ во бесѣдушку,
Онъ во пиръ идти собирается.
На пиру сидитъ, голова болитъ;
Во бесѣдушкѣ не слыхать рѣчей.
Ой, чѣмъ соколу
Лечить голову?
Ой, чѣмъ ясному
Ретиво сердце?
Лечить голову
Перепелкою,

Ретиво сердце
Карастелкою,
Добра молодца ль
Красной дѣвкою.

— Знатно, ребята! хлопнулъ въ ладони одинъ изъ повеселѣвшихъ гостей.—А за пѣсню-то платить милости вашей, Марка Петровичъ!

— Да, да! подхватило нѣсколько голосовъ.

— Коли на пиру не пить и хозяина не веселить...

— Такъ что̀ дѣлать? спросилъ Марка Петровичъ.

— Добраго молодца кручину лечить, отозвался одинъ изъ ближнихъ сосѣдей хозяина.

— Батюшка Гаврила Михайловичъ! для-ради праздника большаго будь во отца, полечи молодца!

— Не Нѣмецъ, замѣтно похмурился Гаврила Михайловичъ.—Скоморошествомъ отъ родителей, батюшка, не занимаемся.

— Къ чорту Нѣмецкое скоморошество! продолжалъ сосѣдъ.—Мы на чистоту Россійскую идемъ. У васъ, батюшка, товаръ, а у насъ купецъ-молодецъ.

— Не отдамъ! ударилъ по столу кулакомъ Гаврила Михайловичъ, и весь столъ, какъ осиновый листъ, задрожалъ.—Комариная Сила, вина! запилъ широкимъ глоткомъ свое слово Гаврила Михайловичъ.

— Коли на то пошло, поднялся съ мѣста Марка Петровичъ,—такъ почему бы вы, государь мой Гаврила Михайловичъ, не изволили отдать за меня? Ни я ошельмованный какой, зазорнаго дѣла за мной нѣтъ, и моя дворянская амбиція, сударь мой, по всему равна вашей амбиціи. Коли вы мнѣ конфузъ такой даете, говорилъ Марка Петровичъ, — въ чемъ сей есть конфузъ, благоволите отвѣтствовать?

Гаврила Михайловичъ, довольно разгоряченный виномъ, кажется, готовъ былъ опять ударить кулакомъ по столу, но удержался.

— Эй! крикнулъ онъ, внезапно обращаясь къ пѣсенни-

камъ:—*Смердова сына!* Большая часть гостей переглянулась между собою; Марка Патровичъ сѣлъ. Уныло затянули пѣсенники:

Отдалъ меня батюшка
За смердова сына,
Далъ мнѣ батюшка
Приданаго много:
Село съ крестьянами,
Церковь съ колокольнею,
Сокола съ сокольнею,
Коня съ конюшнею.
Не умѣетъ смердовъ сынъ
Онъ мною владати,
Крестьянами посылати,
Назвалъ онъ, смердовъ сынъ,
Мене—нѣмкинею
Село—пустынею,
Церковь—часовнею,
Сокола—вороною,
Коня—коровою.

— Такъ вотъ чтобы не было другаго смердова сына, не отдамъ! сказалъ Гаврила Михайловичъ и на этотъ разъ не удержался, а ударилъ по своей тарелкѣ, и она разлетѣлась вдребезги.

И здѣсь только всѣмъ гостямъ и Марку Петровичу пришло на память, что у Гаврилы Михайловича была другая дочь замужемъ и именно за *смердовымъ сыномъ*, какъ пѣлось въ пѣснѣ. Недовольный богатою долей приданаго, которую Гаврила Михайловичъ далъ за своею дочерью, зять его, завистливый и злобный, сталъ угнетать и тиранить жену, чтобъ она вымогала все больше и больше у отца. Въ полтора года онъ до того разорилъ приданыя вотчины жены, что Гаврила Михайловичъ, рѣшившись замѣнить ихъ другими, принужденъ былъ дать крестьянамъ на другіе полтора года льготы, чтобы хотя нѣсколько поправить ихъ. Но когда, и этимъ недовольный, зять опять направилъ жену съ новыми требованіями, Гаврила Михайловичъ сказалъ ей: «матушка! у меня есть другая дочь, а у тебя сестра, скажи мужу». И

мужъ за этотъ отвѣтъ избилъ жену и, въ отмщеніе тестю, прервалъ съ нимъ всѣ сношенія и запретилъ дочери Гаврилы Михайловича видѣться съ отцомъ и съ сестрою, — на двадцать верстъ ближе не подъѣзжать къ отцовскому дому. И проходилъ третій годъ, какъ дочь не видала отца, Гаврила Михайловичъ не видѣлъ лица любимой дочери! У него родились и умирали внуки, и дѣдъ ни одного не благословилъ изъ нихъ; ни однимъ ему не дали порадоваться, онъ почти не зналъ, какъ зовутъ ихъ. Близорукіе сосѣди и гости, видя, какъ скрѣпился могучій старикъ, и не слыша отъ него ни пеней, ни жалобъ на зятя, ни даже имени дочери, чтобъ онъ часто поминалъ его, эти близорукіе судьи рѣшили, что зять таково прогнѣвалъ Гаврилу Михайловича, что онъ, батюшка, и отъ дочери совсѣмъ отступился, какъ есть, то-есть избылъ ее изъ памяти вонъ. А между тѣмъ какъ болѣло о ней отцовское сердце, и какъ память этой, повидимому, забытой дочери, жива была въ глубокомъ нѣдрѣ родительскаго чувства Гаврилы Михайловича, это можно было видѣть теперь, когда старикъ, опустя руки и съ наклоненною головой, сидѣлъ передъ своими гостями, и слезы у него капали на черепки разбитой тарелки, лежавшіе на его колѣняхъ.

— Не отдамъ, шепталъ онъ, съ каждымъ слогомъ произносимыхъ далѣе словъ выявляя все больше и больше несокрушимой силы. — Покаралъ меня Господь Богъ на одной дочери, не отдамъ другую! Пусть она себѣ дѣвкой свѣкуетъ у отца, и уже ни одинъ смердовъ сынъ не будетъ больше величаться да наругаться надъ моею дочерью! Слышишь, Марка Петровичъ?

— Слышу. Коли, значитъ, отъ одной падали смердь пошла, ужь-ли и соколу не клевать свѣжаго мяса?

— Клюй себѣ, Марка Петровичъ, да не у моего гнѣзда. Я самъ съ клевомъ.

— А я молодецъ съ летомъ, сказалъ Марка Петровичъ.— Коли вы не отдаете, Гаврила Михайловичъ, такъ я украду.

— Что?.. будто съ улыбкою остановилъ глаза Гаврила Михайловичъ на Маркѣ Петровичѣ.

— Я украду Анну Гавриловну, вотъ что! рѣшительно проговорилъ тотъ.

— Молодецъ! сложилъ на груди руки Гаврила Михайловичъ.—А послѣ что̀?

— А послѣ ничего.

— Такъ я милости вашей покажу, что̀... Сила! крикнулъ Гаврила Михайловичъ такимъ голосомъ, какъ бы его Комариная Сила находился за полверсты; а онъ стоялъ за самымъ его стуломъ. — Сюда! показалъ головою Гаврила Михайловичъ, что онъ хочетъ говорить на ухо и пошепталъ что-то Комариной Силѣ. Тотъ, выслушавши, быстро отошелъ; а Гаврила Михайловичъ взглядомъ подозвалъ къ себѣ запѣвала изъ ряда пѣсенниковъ и тому сказалъ что-то на ухо. Такъ вотъ, сударь мой, Маркъ Петровичъ, попытка не шутка, а спросъ не бѣда! говорилъ повеселѣвшій Гаврила Михайловичъ. И Марка Петровичъ тоже очень веселъ сталъ.

— Смѣлость города беретъ, молвилъ онъ.

— И кандалы третъ, домолвилъ Гаврила Михайловичъ.

Комариная Сила показался передъ гостями. Въ обѣихъ рукахъ онъ несъ большой серебряный подносъ, на которомъ стояла серебряная золоченая стопа, видимо не пустая, а съ медомъ или виномъ; а далѣе ея, на подносѣ, лежало что-то покрытое бѣлою салфеткой. Когда Комариная Сила приблизился, хоръ пѣсенниковъ грянулъ извѣстную застольную пѣсню:

Чара моя
Серебряная,
На золотомъ блюдѣ
Поставленная!
Кому чару пить?
Кому выпивать?
Пить чарку Марку-свѣтъ,
Пить Петровичу...

Комариная Сила сталъ передъ Маркомъ Петровичемъ и въ

то время, какъ онъ подносилъ ему серебряную чару, другой лакей сдернулъ салфетку и, вмѣстѣ съ чарою, на подносѣ открылся связанный *пукъ розогъ!* А хоръ пѣсенниковъ, заливаясь, твердилъ:

На здоровье,
На здоровье—
На здоровьеце ему!
Чтобъ головушка не болѣла,
А сердечушко не щемѣло.

Защемѣло ли сердечушко у Марка Петровича? Но онъ всталъ, взялъ съ подноса серебряную стопу въ руки, поклонился на обѣ стороны хозяину и хозяйкѣ, какъ того требовалъ долгъ, и Марка Петровичъ молодецки осушилъ стопу; а остатокъ ея плеснулъ на тотъ связанный пукъ.

— Посла не бьютъ, не казнятъ—лаской жалуютъ, сказалъ Марка Петровичъ, ставя стопу на подносъ и бросая Комариной Силѣ три или четыре золотыхъ.—Спасибо вамъ, ребята, за величанье! обратился онъ къ пѣсенникамъ, и опустя руку въ одинъ карманъ и въ другой, Марка Петровичъ дважды сыпнулъ пѣсенникамъ чистымъ золотомъ.

— Теперь милость вашу, ласковый хозяинъ, благодаримъ на сладкомъ медѣ да на привѣтливомъ словѣ, сказалъ Марка Петровичъ.

— Просимъ не погнѣваться, отвѣчалъ Гаврила Михайловичъ.—Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады; только въ другой разъ уже извините, батюшка, подчивать васъ будетъ не Комариная Сила.

— Хоть самъ чортъ! тихонько сказалъ Марка Петровичъ... —Извините, Анна Гавриловна! а я васъ украду, громко подтвердилъ онъ. Съ тѣмъ словомъ Марка Петровичъ всталъ изъ-за стола, сѣлъ въ свою половинчатую коляску и уѣхалъ.

— Вотъ не было печали, такъ черти накачали! говорилъ Гаврила Михайловичъ, приступая, нельзя сказать, чтобы безъ нѣкотораго удовольствія, къ приведенію въ исполненіе мѣръ необходимой предосторожности вслѣдствіе объявленнаго замысла Марка Петровича. «Держи Анну, какъ соловья въ клѣткѣ», и Гаврила Михайловичъ приказалъ вставить зимнія двойныя рамы въ комнаты Анны Гавриловны и даже въ гостинную. Тѣмъ строгимъ, неизмѣннымъ словомъ, котораго ослушаться не было можно, онъ повелѣлъ держать караулъ съ вечера до бѣла свѣта по двору, у околицы; вокругъ всего дома ходить дозору, и чтобы птица не перелетѣла и мышь не выбѣжала изъ дому! Но принимая мѣры внѣшней охраны, Гаврила Михайловичъ хорошо понималъ, что при томъ внутреннемъ содомѣ, который постоянно праздновался у него, не было ничего легче какъ среди бѣлаго дня взять за руку Анну Гавриловну, и подъ шумокъ увезти ее. Крѣпко не хотѣлось старику и постѣснить дочь, и показать Марку Петровичу, что вотъ онъ таково напугалъ своимъ молодецкимъ словомъ, что-молъ Гаврила Михайловичъ свѣта отступился, людей открестился, монастырь-отъ у себя во двору завелъ, и служки по ночамъ ходятъ, въ било бьютъ... Крѣпко не хотѣлось старику; но дѣлать было нечего. «Съ Маркомъ шутить нельзя», качалъ головою онъ. И Гаврила Михайловичъ потребовалъ къ себѣ отцовъ тѣхъ подругъ Анны Гавриловны, которыя почти постоянно гостили или жили у нея.

— Ну, судари вы мои! сказалъ онъ: не безъизвѣстно вамъ, чѣмъ на пиру похвалялся тотъ названный воръ, Марка Петровичъ? Хоть я его похвальбу въ алтынъ не чту; но береженаго и Богъ бережетъ. Дочки ваши по сосѣдски живутъ съ Анной Гавриловною. Она пьетъ, ѣстъ, встаетъ и ложится съ ними; думка у нихъ дѣвичья одна... Такъ вотъ, судари мои! поминаючи мою хлѣбъ-соль и ласку, вы мнѣ отвѣчаете за вашихъ дочерей, коли какая-либо изъ нихъ вздумаетъ послугой подслужиться Марку Петровичу.

— Батюшка, Гаврила Михайловичъ! подняли руки отцы,

и только-что не становились на колѣни передъ Гавриломъ Михайловичемъ.—Не вскладывай на насъ бѣды такой! почти въ одинъ голосъ говорили они.—Статочное ли дѣло, чтобъ отцу ручаться и отвѣчать, что̀ на умѣ его взрослой дѣвки? Скорѣй можно вилами по водѣ писать.

— Извѣстное дѣло: гдѣ чортъ не сможетъ, тамъ баба поможетъ, говорилъ одинъ изъ отцовъ. — Онѣ, батюшка Гаврила Михайловичъ, всѣ разомъ готовы выскочить за Марка Петровича; а то, чтобъ онѣ любимицу свою, Анну Гавриловну, да онѣ ее руками выдадутъ! Это такой народъ. Одна моя быстроглазая этимъ дѣломъ какъ разъ смекнетъ.

— Коли оно такъ, сказалъ Гаврила Михайловичъ:—берите ихъ всѣхъ по домамъ.

И Анна Гавриловна осталась одна. Гаврила Михайловичъ потребовалъ къ себѣ няню.

— Ты слышала, старая Емельяниха? сказалъ онъ.

— Слышала, батюшка Гаврила Михайловичъ, грѣхъ такой.

— Смотри въ оба, чтобъ у меня было безъ грѣха! Возьми Настю Подбритую къ себѣ. Она баба крѣпкая, смотрѣть будетъ, да чтобъ и всѣ смотрѣли! Праваго и виноватаго, всѣхъ овинію.

Принявши такія мѣры предосторожности, Гаврила Михайловичъ могъ быть довольно покойнымъ. Но бѣдная Анна Гавриловна свѣта невзвидѣла. Остаться одной безъ шума, безъ веселья, безъ пѣсенъ, безъ ея милыхъ подругъ, съ Подбритою Настей, которая не давала ей шагу ступить безъ себя, и спала поперекъ дверей комнаты Анны Гавриловны. Если Анна Гавриловна выпрашивала себѣ черезъ няню позволеніе идти въ садъ погулять, ее сопровождала цѣлая гурьба дѣвокъ, которыя не спускали съ нея глазъ, заглядывали во всякій кустикъ и, кажется, въ травѣ-то искали Марка Петровича, словно иголку. Всякій разъ, когда Анна Гавриловна думала пройдти нѣсколько далѣе, заглянуть въ рощу, Настя Подбритая падала ницъ передъ нею на дорогѣ и вопила, что развѣ, наступивши на нее, пройдетъ сударыня Анна Гавриловна!

Пусть она раздавитъ ее своею ножкою сахарною, а поколева жива Настя Подбритая, не сойдетъ она, не встанетъ, не подвинется съ мѣста того по приказу батюшки Гаврилы Махайловича! Анна Гавриловна, разсерженная, возвращалась въ домъ; давала себѣ зарокъ надолго не проситься въ садъ и назавтра же просилась опять. И Анна Гавриловна была бы не живой человѣкъ съ плотью и кровью, еслибъ она не возненавидѣла Насти Подбритой. И не была бы женщиной Анна Гавриловна, еслибъ она всѣми силами души не желала, чтобъ ее укралъ Марка Петровичъ; хотя бы потому только, чтобы насолить Подбритой, чтобы та со всѣми ея приглядками сѣла, какъ ракъ на мели! Но сидѣть-то на мели приходилось не Настѣ, а самой Аннѣ Гавриловнѣ.

Какъ ни долго шелъ, а уже мѣсяцъ прошелъ заключенію. Уже минула и половина втораго; уже и третій мѣсяцъ наступилъ и прошелъ, и лѣтнія ночи стали уже замѣтно длиннѣть и холодѣть; а Анна Гавриловна ждала и все напрасно ждала, что именно вотъ этою-то ночью и украдетъ ее Марка Петровичъ. Но эта желанная ночь все была впереди и не приходила. Тщетно Анна Гавриловна гадала на четъ и нечетъ, и держала у себя бобы подъ подушкой, чтобы ночью раскидывать свою думку на бобахъ. Думка была все одна и та же, а бобы сказывали розно: выходило то хорошо, то дурно. Спать не спала Анна Гавриловна, и подъ шелковымъ пологомъ вспоминался ей Змѣй Горынычъ и Вихорь Вихорычъ, которые уносили Настасью премудрую и Елену прекрасную, и Анна Гавриловна совсѣмъ чаяла засыпать на той самой кровати хрустальной, по бокамъ которой сидѣли-ворковали голуби и говорили: «полетимъ, полетимъ! понесемъ, понесемъ нашу царевну прекрасную!» Но никто не уносилъ Анну Гавриловну: ни сизые воркующіе голуби, ни Змѣй Горынычъ, ни Вихорь Вихорычъ, ни даже Марка Петровичъ.... Кажись бы, совсѣмъ изныла въ своей тоскѣ-одиночествѣ Анна Гавриловна,

Тебя, мой другъ, дожидаючи,
Свое горе проклинаючи,

еслибы Аннѣ Гавриловнѣ не помогалъ коротать ея горе тотъ же самый кругъ хозяйственныхъ заботъ, который не думалъ покидать ее въ заключеніи. Плоды въ саду окончательно дозрѣвали. Надобно было сушить и солить, въ прокъ откладывать и варенье тоже варить. И хотя Анна Гавриловна два таза совсѣмъ испортила варенья; но прохлопотавъ въ саду почти цѣлый день, перебравъ съ Настей Подбритою болѣе тысячи яблоковъ, Анна Гавриловна скорѣе и крѣпче засыпала, и сонъ ей снился веселый.

— Няня? а вѣдь я сегодня видѣла, что меня Марка Петровичъ совсѣмъ укралъ! краснѣла и улыбалась Анна Гавриловна.

— Христосъ съ тобой, моя утенушка! качала головою няня.—Куда ночь, туда и сонъ. А ты Богу молись и батюшку не гнѣви. Знаешь, кто на землѣ чудеса творитъ? Тотъ, Кто высоко сидитъ, изъ-подъ солнца глядитъ.... Умывайся, моя утенушка!—Анна Гавриловна умывалась; а солнце глядѣло ей въ серебряный тазъ и серебряный рукомойникъ съ непочатою водою, и въ умѣ Анны Гавриловны, невнятно, какъ отголосокъ далеко слышимаго пѣнія, проносились слова:

На что бѣло умываться,
Когда не съ кѣмъ цѣловаться?
На что хорошо ходить,
Когда некого любить?

Наконецъ Анна Гавриловна, собственноручно съ дѣвушками, обобрала послѣднія румяныя яблоки на саду; наступилъ сентябрь.

О Маркѣ Петровичѣ ни слуху, ни духу не было. Хотя бы онъ ради того слова, какимъ похвалялся на пиру, отвѣдочку малую какую оказалъ, хоть не сдѣлалъ, да попробовалъ! Нѣтъ даже и не пробовалъ. Пропалъ безъ вѣсти, и черти его бурые пропали съ нимъ, и домъ, окна и двери заколочены, стоитъ; даже тропки по двору заросли тровой. «Поминай, какъ звали

нашего Марка Петровича! говорили сосѣди. Далъ маху молодецъ, видно, зеленая закуска не по вкусу пришлась. И слово сказалъ, да отъ дѣла бѣжалъ.» Гаврила Михайловичъ недовѣрчиво качалъ головою. «Знаю я Марка, говорилъ онъ, онъ не побѣжитъ. Ему хоть и лозана отвѣдать; а уже онъ не заспитъ и не задумаетъ этого дѣла.» И Гаврила Михайловичъ даже къ церкви не пускалъ Анну Гавриловну и, какъ мы видѣли, ни мало не послаблялъ мѣръ принятой предосторожности. Но наконецъ четыре мѣсяца прошло и, какъ говорится, ни одна дворняшка не тявкнула на Марка Петровича, ни даже на тѣнь его. Гаврила Михайловичъ внутренно началъ не много колебаться; но наружу онъ не выдавалъ того. Сентябрь шелъ своимъ чередомъ, и домъ Гаврилы Михайловича все также хмурился и смотрѣлъ сентябремъ. Начались по сосѣдству охоты.

— Батюшка, Гаврила Михайловичъ! наѣзжали изъ поля охотники и говорили:—что дѣлать изволите? Богъ волюшку и погодушку далъ. Душу на просторъ вывелъ.

— Хорошо вамъ, что на просторъ, отвѣчалъ шутливо Гаврила Михайловичъ,—а я вотъ въ тѣснотѣ сижу; своего краснаго звѣря берегу.

— Да что это вамъ, батюшка, снится? говорилъ одинъ изъ любимыхъ собесѣдниковъ Гаврилы Михайловича.—Сболтнулъ молодецъ на пиру: въ головкѣ шумѣло; а вы Богъ вѣсть какую напасть вывели. Сами вы сидите, не въ обиду сказать вашей чести, какъ жучка на привязи и голубушку Анну Гавриловну въ тенета загнали.

— А языкъ-то тебѣ не привязали? спросилъ Гаврила Михайловичъ.—Вотъ то-то и есть, что *сболтнулъ*, говорилъ онъ.—Да Марка-то болтаетъ не по нашему съ тобой: не на вѣтеръ лаетъ. У него и батюшка былъ таковъ: что спьяну сказалъ, то тверезый исполнилъ.

— Такъ ищите же вы *Марка по пеклу!* отвѣчалъ собесѣдникъ поговоркой.—Вы его теперь, батюшка, и съ борзыми не отыщете.

— Да Марка и не надо искать. Онъ самъ найдется, коли на что̀ пойдетъ...

Но Гаврила Михайловичъ болѣе говорилъ, нежели самъ вѣрилъ своимъ словамъ. По крайней мѣрѣ въ томъ отношеніи, чтобы рѣшиться выѣхать на охоту, онъ считалъ это дѣломъ крайне опаснымъ? Вовсе нѣтъ. Гаврила Михайловичъ зналъ хорошо, что онъ можетъ выѣхать и можетъ приказать, чтобъ оно было такъ, какъ при немъ было, и оно непремѣнно будетъ. Но Гаврила Михайловичъ сидѣлъ и не выѣзжалъ по завѣтнымъ преданьямъ своей «знатной» охоты. Выѣхать въ поле до Покрова у Гаврила Михайловича, послѣдній доѣзжачій считалъ это дѣломъ позорнымъ: ерышковъ ловить да матераго звѣря губить! И Гаврила Михайловичъ таковыхъ охотниковъ величалъ не охотниками, а *кошкодавами*.

— Вамъ бы, господа, только кошекъ давить, говорилъ онъ.—По листопаду взрыскались на охоту съ Сёмина дня! Звѣрь не выцвѣлъ, не вылинялъ; еще по немъ ость не пошла, холодъ не уматерилъ его... И что то̀ за звѣрь, хоть бы какой русакъ, коли онъ разъ, другой, не отряхнулся въ молодомъ снѣжку? Лисица хвостомъ пороши не помела; а объ волкѣ и помолвка нейдетъ! махалъ рукою Гаврила Михайловичъ. И можно судить, съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалъ онъ Покрова и особенно теперь, когда Гаврила Михайловичъ засидѣлся на привязи, какъ говорилъ его собесѣдникъ, и когда время удивительно благопріятствовало его охотничьимъ повѣрьямъ. Лисица уже съ недѣлю и больше того, какъ пушистымъ хвостомъ порошу помела, и заяцъ могъ не однажды отряхнуться въ молодомъ снѣжку. И здѣсь еще надобно замѣтить, что Покровъ былъ вдвойнѣ великимъ днемъ и большимъ праздникомъ для Гаврилы Михайловича. Это былъ главный престольный праздникъ его церкви, и уже отпраздновавши праздникъ, Гаврила Михайловичъ обыкновенно на другой день поднимался и недѣли на три, всѣмъ огуломъ, съѣзжалъ въ отъѣзжее поле. Но на этотъ разъ нетерпѣніе Гаврилы Михайловича было до того велико, что онъ рѣшилъ

послѣ обѣдни и обѣда, на самый праздникъ, выѣхать этакъ немножко поразмять собакъ. Гости тоже съ вечера начали понемножку съѣзжаться, преимущественно охотники. О томъ, какова будетъ погода для праздника, они не думали; но что охота должна была быть отличною, много толковали.

— Сударь мой, Гаврила Михайловичъ! говорилъ собесѣдникъ, пріѣхавшій послѣднимъ изъ гостей.—На дворѣ, батюшка, рай земной. Мжица мжитъ; передъ носомъ пальца своего не видать, и вѣтеръ только не тявкаетъ, а то, какъ песъ удалой, на всѣ вои воетъ.

— Хорошо, говорилъ Гаврила Михайловичъ. Повидимъ, что завтра будетъ.—Но при этихъ ожиданьяхъ и разговорахъ, Гаврила Михайловичъ не могъ забыть того, что завтра престольный праздникъ, и не быть Аннѣ Гавриловнѣ у заутрени, этого нельзя. Гаврила Михайловичъ, хотя поздно вечеромъ, а послалъ сказать Аннѣ Гавриловнѣ, что она должна быть.

Няня Анны Гавриловны, почти съ недѣлю, лежала больна, распаривала свои старыя кости на горячей лежанкѣ, и приказъ Гаврилы Михайловача приняла въ свое вѣдѣніе Настя Подбритая. Ранехонько Анна Гавриловна поднялась и начала снаряжаться къ заутренѣ. Чуть перезвонили во всѣ колокола, она уже была готова. Зеленая бархатная шапочка съ напускными ушками и съ розовою лентой у подбородка, греческая шубка съ перехватомъ на золотыхъ застежкахъ, крытая бѣлымъ атласомъ и опушенная чернымъ соболемъ, — просто красавицею изъ красавицъ дѣлали Анну Гавриловну. Гаврила Михайловичъ съ своими гостями уже поспѣшилъ въ церковь; а Анна Гавриловна топала ножкой въ нетерпѣніи, дожидаясь послѣднихъ распоряженій Подбритой Насти: кому идти впереди съ фонаремъ дорогу свѣтить, кому по бокамъ шествовать, подъ ручки вести Анну Гавриловну (это Настя оставляла себѣ и другой такой же если не бритой, то Мазаной Софьѣ); кому наконецъ оберегать сзади греческую шубку и приподнимать длинное платье Анны Гавриловны. Лакей долженъ былъ замыкать шествіе, какъ и открывать

его съ фонаремъ въ рукѣ. Наконецъ шествіе появилось на крыльцѣ. Церковь прямо въ глазахъ ярко горѣла своими огнями, и шумъ отъ прибывающаго народа разливался на подобіе глухаго шума, въ полноводьѣ, выступающей изъ береговъ рѣки. На всѣ престольные праздники у Гаврилы Михайловича кормили и угощали приходящій народъ, и народу приходило видимо-невидимо. Живо перешла Анна Гавриловна небольшое пространство отъ крыльца до своей барской калитки въ церковную ограду. Но за оградой толпа народа была страшная. Отъ сильнаго вѣтра боковыя двери были заперты, и весь народъ смурою тѣснящеюся волною приступомъ бралъ одни растворенныя западныя врата. «Подайся, пусти, разступись!» не замолкалъ передовой лакей, свѣтя фонаремъ и расталкивая народъ во всѣ стороны. Настя ему усердно помогала, и шествіе счастливо поднялось до третьей ступени крыльца. Здѣсь что-то случилось съ заднимъ лакеемъ. Онъ поскользнулся или споткнулся на чью-то ногу и полетѣлъ внизъ. т.-е. упасть за народомъ онъ не могъ; но его отшатнуло, отбросило назадъ, и прикрывать шествія онъ уже болѣе не могъ. Волна народа залила, закрыла и стѣной дюжихъ, неподатливыхъ мужиковъ заступила шествіе Анны Гавриловны. Скоро послышался писк обеерегательницы греческой шубки и хранительницы коротенькаго шлейфа Анны Гавриловны. Анна выпустила его изъ рукъ и сама, затертая и замятая, осталась назади. Съ тѣмъ вмѣстѣ толпа вышибла фонарь изъ рукъ передоваго лакея; но онъ и не нуженъ былъ болѣе. Волны исходящаго изъ церкви свѣта уже освѣщали Анну Гавриловну. Она стояла на площадкѣ крыльца передъ распахнутыми дверями, и, немножко оправляясь и крестясь, готовилась вступить въ самую церковь. И она вступила. Здѣсь народъ (безъ сомнѣнія, видя, кто идетъ), всѣми мѣрами тѣснясь и разступаясь, давалъ дорогу лакею и идущей за нимъ Аннѣ Гавриловнѣ. Но съ перваго шага толпа смурыхъ мужиковъ не думала оказывать той же чести ни Софьѣ Мазаной, ни Настѣ Подбритой. Эти

охреяны тѣснились и напирали съ такою силою, что Настя, волею и неволею, выпустила руку Анны Гавриловны и оборотилась, чтобы свободными локтями постоять за себя.... Въ ту жъ минуту Софью Мазаную какъ будто что отдернуло въ сторону... Лакей оглянулся и не увидѣлъ болѣе Анны Гавриловны! Ея не стало... «Ахъ, ахъ!.. Ахъ, батюшки! ахъ родные мои!...» металась въ толпѣ Настя Подбритая, не видя ни за собою, ни передъ собою Анны Гавриловны, ни бѣлой атласной шубки ея. На Анну Гавриловну мгновенно накинули мужицкій сѣремяжный кафтанъ; толпа такихъ же сѣрыхъ мужиковъ окружила ее и одинъ изъ нихъ, торопливо опуская ей на голову простую мужицкую шапку шепталъ на ухо Аннѣ Гавриловнѣ: «Ахъ, моя желанная! на силу-то я дождался такого часу...» Въ ту жъ минуту Анну Гавриловну вывели изъ дверей церкви.

Между тѣмъ лакей, также быстро ища глазами кругомъ и не встрѣчая Анны Гавриловны, прорвался къ Настѣ Подбритой. «Гдѣ барышня? глядѣлъ онъ какъ безумный, видя передъ собою однихъ сѣрыхъ мужиковъ. И вдругъ вопль пронесся по церкви: «украли Анну Гавриловну!» Гаврила Михайловичъ услыхалъ крикъ, но это было далеко отъ него, и онъ не могъ разобрать словъ; пока гуломъ шепчущей толпы дошло до него и въ самомъ алтарѣ повторилось слово: «Анну Гавриловну украли!» Служба почти пріостановилась. Гаврила Михайловичъ рванулся въ боковыя двери; но онъ не зналъ и не видѣлъ ничего и опять воротился въ церковь. «Гдѣ украли? какъ украли?» бросился онъ въ середину толпы, не видя лицъ, не замѣчая никого. Настя Подбритая ухватилась ему за руку.

— Батюшка, Гаврила Михайловичъ! здѣсь, здѣсь! на этомъ самомъ мѣстѣ съ глазъ украли ее!

— Гаврила Михайловичъ, какъ щепку, отряхнулъ Настю съ рукава, повидимому, не узнавая, кто она, и былъ уже на крыльцѣ, въ оградѣ, среди своего широкаго двора.

— Розогъ! прежде нежели закричать: лошадей! крикнулъ,

Гаврила Михайловичъ, и самыя лошади въ стойлахъ затопотали отъ этого крика. — Пуки розогъ со мной! лошадей, лошадей! повторилъ онъ. И десятки ихъ, дрожа на уздахъ и поводахъ, подъ сѣдлами и безъ сѣделъ, высыпали на дворъ. И прежде, чѣмъ Гаврила Михайловичъ успѣлъ машинально надѣть шапку, поданную ему Комариною Силой, и которую онъ совершенно позабылъ въ церкви, тройка лошадей съ телѣжкой подкатила къ Гаврилѣ Михайловичу. Но здѣсь Гаврила Михайловичъ пріостановился. Куда въ догоню гнать? Вору одна дорога, а сыщику ихъ десять. Никто изъ окружающихъ Гаврилы Михайловича не зналъ, не видалъ, и что называется, духомъ не чуялъ! И къ тому еще на дворѣ рай земной. Мжица мжитъ и морозитъ, передъ носомъ пальца своего не видать и мало того, что вѣтеръ на всѣ вои воетъ, къ тому еще пономарь, въ общемъ смятеніи, включилъ на колокольню и, что̀ есть силы, билъ и трезвонилъ въ колокола, какъ на пожаръ. Народъ, почитай какъ улей разбитыхъ пчелъ, сыпалъ во всѣ стороны; шумѣлъ, толкался куда зря. Ни дознать чего-либо, ни доспроситься: какъ? куда? не видалъ ли кто? ничего было нельзя.

— На плотину! крикнулъ Гаврила Михайловичъ и понесся туда.

Проскакавъ плотину, онъ велѣлъ пріостановить лошадей и подождалъ, пока другія тройки и охотники его верхами съ пуками розогъ въ торокахъ окружили Гаврилу Михайловича. Собесѣдникъ его и двое-трое изъ гостей были также между ними. Гаврила Михайловичъ быстро, сообразительно роздалъ свои распоряженія. Хотя нельзя было ожидать, чтобы воръ осмѣлился къ бѣлому дню прямо въ свое логовище тащить добычу; но какъ этотъ воръ былъ Марка Петровичъ, то можно было полагать, что онъ, разсчитывая на это самое, что нельзя же предположить, чтобъ онъ увезъ Анну Гавриловну прямо къ себѣ и держалъ ее въ десяти верстахъ отъ отца, именно-то и повезетъ ее туда. Гаврила Михайловичъ отрядилъ человѣкъ десять верховыхъ скакать полями и ярами.

на переемъ той прямой дорогѣ, по которой одной могъ ѣхать Марка Петровичъ, засѣсть въ извѣстномъ лѣску и дѣлать, что̀ Богъ укажетъ, только взять руками и не выпускать вора.

— Ребята! сказалъ Гаврила Михайловичъ: —слышишь мое барское слово: по сту рублей каждому и по синему кафтану всѣмъ. Съ Богомъ! во всѣ стороны.

Самъ Гаврила Михайловичъ поскакалъ съ плотины прямо въ гору. Его неотступный Комариная Сила торчалъ на облучкѣ, и человѣкъ пятнадцать лучшихъ охотниковъ неслись при Гаврилѣ Михайловичѣ. Другія тройки онъ направилъ по дорогѣ къ селенію, гдѣ былъ заштатный попъ, извѣстный на сто верстъ кругомъ тѣмъ, что онъ вѣнчалъ встрѣчнаго и поперечнаго, и при томъ также мало соображаясь со временемъ, узаконеннымъ церковью.

Но самого Гаврилу Михайловича какъ что-то тянуло по этой прямой дорогѣ въ гору. Просновавъ верстъ десять полями, дорожка эта выбѣгала на большую проѣзжую дорогу, и тамъ вольно было кинуться или налѣво къ городу, или направо по дорогѣ къ матушкѣ сестрицѣ-генеральшѣ. А Гаврила Михайловичъ не безъ вѣроятностей могъ предполагать, что, укравши, Марка Петровичъ навострить лыжи къ тетушкѣ генеральшѣ, какъ къ своей свахѣ, и что та, на радостяхъ, только бы учинить сопротивное батюшкѣ братцу, повелитъ мигомъ обвѣнчать ихъ своему попу. И Гаврила Михайловичъ, вставъ на колѣни и выхвативъ кнутъ у своего кучера, самъ во всю руку погонялъ лошадей. Начинало свѣтать, когда они прискакали на большую дорогу.

— Эй, вы, хохлы безмозглые! крикнулъ Гаврила Михайловичъ, увидя подымающійся съ ночлега воловій обозъ. — Не видали вы, чтобъ проскакалъ кто мимо?

Хохлы, самимъ дѣломъ отвѣчая на свое названіе «безмозглыхъ», даже слова не сказали, а только махнули рукой, показывая къ сторонѣ тетушки генеральши. И когда всѣ глаза устремились туда, и лошади съ новою силой рипулись

впередъ, даже старый, нѣсколько притупленный, взоръ Гаврилы Михайловича скоро замѣтилъ во мглѣ сѣрѣющаго разсвѣта какой-то черный отдѣляющійся предметъ.

— Пошелъ! пошелъ! крикнулъ Гаврила Михайловичъ, погоняя еще довольно свѣжихъ, неусталыхъ лошадей. Охотники его сыпнули, какъ мухи, и понеслись вскачь. Но и тотъ предметъ не стоялъ на мѣстѣ. Онъ уходилъ съ такою же быстротою, съ какою Гаврила Михайловичъ хотѣлъ настичь его. Вѣтеръ, было притихшій немного къ разсвѣту, началъ проноситься сильными порывами. Однимъ изъ этихъ порывовъ вѣтеръ рванулъ ползучую массу сѣраго тумана: она заклубилась и потянула вверхъ. Вся дорога, какъ слитая, сверкнула изморозью подъ низкимъ лучомъ восходящаго солнца, и чьи глаза, видѣвшіе хотя однажды, не узнали бы на этой дорогѣ несущуюся половинчатую коляску Марка Петровича и отлетныхъ бурыхъ, разметавшихъ по вѣтру гривы, какъ крылья?

— Розги! повидимому совершенно спокойно проговорилъ Гаврила Михайловичъ и тронулъ ихъ рукою. Ему не нужно было кричать и понуждать. То, что̀ явилось открыто передъ глазами всѣхъ, воодушевило не только людей, но, кажется, самихъ лошадей. Погоня ринулась со всѣмъ пыломъ погони, настигающей врага. Половинчатая коляска все больше и больше выяснялась. Кажется, можно было уловить мелкій раздробленный блескъ безчисленнаго множества сіяющихъ мѣдныхъ гвоздиковъ, которыми коляска была усыпана для красы и прочности.

— Ребята! закричалъ Гаврила Михайловичъ и остановился, не кончивъ. Онъ, повидимому, хотѣлъ указать на эту близость коляски, что-нибудь окончательное повелѣть въ отношеніи ея, но въ то самое мгновеніе, когда онъ бросилъ въ воздухъ мощные звуки своего *ребята*, половинчатая коляска встрепенулась, какъ птица, ринулась впередъ и мгновенно сокрыла блескъ своихъ гвоздиковъ и почти видъ самой себя. Изумленіе, горе обманувшагося ожиданія было общее. —

Не отставай, впередъ! замахалъ шапкою Гаврила Михайловичъ. Но сказать это было легче, нежели исполнить. Лошади уже начинали приставать. Ихъ взмыленные бока часто и тяжело подымались; пѣна, клубомъ набившаяся у рта, падала шматьями по дорогѣ, а дорога подтаявала и становилась, что дальше, то тяжеле. Между тѣмъ коляска, пронесшись верстъ пять и почти исчезнувши изъ вида, опять начинала показываться. Она ѣхала почти шагомъ. — Пошелъ! крикнулъ Гаврила Михайловичъ, и у коренной лошади, на бѣлую пѣну у рта, кровь брызнула изъ ноздрей. Коляска дала себя настигнуть еще ближе прежняго; но она опять рванулась впередъ и понеслась на своихъ могучихъ коняхъ. — Онъ дразнитъ меня! проговорилъ Гаврила Михайловичъ, и гнѣвъ у него загорѣлся и задрожалъ, какъ полымя, въ глазахъ. — Пошелъ, пошелъ! кричалъ внѣ себя распаленный старикъ. Лошади, собравшись съ послѣдними силами, рванулись и вдругъ стали какъ вкопаныя. Гаврила Михайловичъ во весь ростъ поднялся на своей телѣжкѣ и стоялъ въ изумленіи, едва вѣря своимъ глазамъ. Коляска Марка Петровича поворотила назадъ и неслась прямо на Гаврилу Михайловича. — Стой, стой! повторялъ тотъ, хотя и безъ того всѣ стояли въ удивленіи и не двигались съ мѣста. — Черти! шепталъ Гаврила Михайловичъ, всѣми силами души глядя, какимъ мощнымъ махомъ шла коляска. У пристяжныхъ гривы стлались по землѣ, и густая грязь шапками летѣла изъ-подъ копытъ. Приближаясь, кучеръ видимо сдерживалъ бурыхъ коней. Ихъ могучее порсканье и брянанье не натянутыхъ серебряныхъ цѣпей долетали до слуха; коляска вотъ-вотъ должна была остановиться. Она поравнялась съ Гаврилой Михайловичемъ, обѣ полы ея боковыхъ фартуковъ были отстегнуты и въ ней никого не было. Въ коляскѣ не было никого, ни одной души! Охотники Гаврилы Михайловича бросились подъ передъ, чтобы задержать коляску, но это былъ напрасный трудъ. Страшно было видѣть, какъ кучеръ подпялъ всю четверню бурыхъ на дыбы, и они

ринулись. По невольному движенію, кучеръ Гаврилы Михайловича вскочилъ и пустилъ за коляскою своихъ добрыхъ, вздохнувшихъ лошадей.

— Какого чорта? осадилъ его за воротъ Гаврила Михайловичъ.—Стой!

И въ самомъ дѣлѣ надобно было постоять и раздумать, что это могло значить? Лошади и коляска здѣсь, гдѣ же *онъ* самъ? Гаврила Михайловичъ отрядилъ трехъ охотниковъ слѣдить за коляскою и провожать ее, куда она поѣдетъ. Самъ онъ слишкомъ много времени убилъ на преслѣдованіе, отскакалъ отъ дома на тридцать верстъ и возвращаться назадъ, оставить пунктъ матушки сестрицы-генеральши не обслѣдованнымъ, нѣтъ! Гаврила Михайловичъ принялъ коляску и лошадей за отводъ Марка, что онъ именно ѣдетъ этою дорогой, но чтобы отвести глаза Гаврилѣ Михайловичу, оставилъ коляску и своихъ бурыхъ назади въ томъ чаяніи, что когда увидятъ, какъ половинчатая коляска ѣхала, ѣхала и пустая назадъ поѣхала, не поѣдутъ больше этою дорогой.

— Пошелъ! крикнулъ Гаврила Михайловичъ, и лошади, довольно отдохнувшія, помчались крупною рысью.

Какъ разъ на половинѣ пути къ сестрицѣ-генеральшѣ, жилъ хорошій знакомый Гаврилы Михайловича. Велико было его удивленіе, когда онъ увидѣлъ подъ крыльцомъ у себя остановившуюся загрязненную телѣжку, на тройкѣ загнатыхъ лошадей, и въ этой телѣжкѣ кого же?—Гаврилу Михайловича.

— Съ нами крестная сила! батюшка Гаврила Михайловичъ! что̀ съ вами? выскочилъ онъ на крыльцо.

— Давай лошадей. Марка дочь укралъ.

— Марка Петровичъ? спрашивалъ знакомый.

— Онъ, собака. Лошадей!

— Сейчасъ, батюшка, родной мой! звалъ людей и суетился знакомый.—Вѣдь это вы значитъ-съ до свѣта? Что жъ вы это сидите? Выйдите, пока лошадей запрягутъ. У меня обѣденный столъ идетъ, Гаврила Михайловичъ! милости просимъ.

— Не надо. Лошадей, братъ, лошадей! повторялъ Гаврила Михайловичъ.

— Лошади лошадьми, да вотъ люди! показывалъ знакомый на кучера и охотниковъ, провожавшихъ по двору лошадей.— Вѣдь имъ надобно по куску съѣсть. Вѣдь они чай не ѣли. Ѣли, ребята? громко крикнулъ онъ чужимъ людямъ.

— Богъ дастъ, отвѣчали охотники этимъ чуднымъ отвѣтомъ русскаго человѣка, которымъ онъ покрываетъ свою нужду.

— Вели накормить ихъ, скорѣе! отрывисто проговорилъ Гаврила Михайловичъ.

— Эй вы, люди! ключница! кучера! мальчишекъ сюда. Водить лошадей, кричалъ, топая ногами на крыльцѣ и распоряжаясь, знакомецъ.—Вы, ребята, живѣе на кухню. Ѣсть въ два рта, не спѣсивиться. Ключница! праздничнаго имъ, водки. По стакану съ придачею. Живѣе, народъ!

И не прошло трехъ четвертей часа, какъ люди были накормлены, подвеселились; лошади перемѣнены, осѣдланы, взнузданы, запряжены въ телѣжку, и Гаврила Михайловичъ съѣхалъ со двора, говоря своему знакомцу суровое *спасибо*.

До матушки сестрицы-генеральши было вѣрныхъ сорокъ верстъ, и ихъ надобно было проѣхать *грязью*, во всемъ значеніи этого сильнаго слова русской природы. На половинѣ пути Гаврила Михайловичъ бросилъ телѣжку и верхомъ, только около одиннадцати часовъ ночи, прибылъ въ большое село и на барское большое жилье сестрицы-генеральши.

— Отворяй! крикнулъ онъ сторожу, и по могучему звуку этого слова, кажется, сами собою упали крѣпкіе затворы, и ворота распахнулись передъ Гаврилой Михайловичемъ. Въ домѣ уже спали.

— Отворяй! ударилъ онъ кулакомъ въ наружную дверь, и дверь, не запертая на желѣзные крюки и задвижки, растворилась. Гаврила Михайловичъ вошелъ.—Огня! свѣти! шелъ онъ въ темнотѣ, какъ буря, опрокидывая попадающіеся на встрѣчу стулья, ударомъ ноги сбивая все съ своего пути.

У самыхъ дверей матушки сестрицы предсталъ Гаврилѣ Михайловичу бѣлѣющій призракъ съ растрепанными волосами, съ костлявыми поднятыми руками... Это была старая прислужница генеральши, въ ужасѣ и въ безпамятствѣ страха, все еще считавшая своею обязанностію до конца живота защищать дверь своей госпожи.

— Прочь, вѣдьма! сказалъ Гаврила Михайловичъ, не ударомъ, а однимъ взмахомъ руки, сдувая ее, какъ пыль, съ своего пути.

— Мать Пресвятая Богородица! защити, заступи и покрой своимъ покровомъ.

— Послѣ, матушка-сестрица, изволите молитву прочесть, Гдѣ Аннушка! Выдай мнѣ головой Марка! Куда ты его, сударыня, въ свои бабьи юбки запрятала? сжималъ кулаки и топалъ ногами Гаврила Михайловичъ. Предъ образами горѣла лампадка и довольно видно показывала все. Гаврила Михайловичъ, какъ звѣрь какой въ клѣткѣ, озирался по спальнѣ...

— Ищи, мой батюшка! сказала генеральша, уже имѣвшая время придти въ себя и понять, что̀ оно значитъ. — Ищи, родной мой! сѣла она на постели въ кофтѣ и въ своемъ спальномъ чепцѣ. Дочь не иголочка, какъ не найдти. И Марка тожъ показенъ молодецъ, не схоронится,—рѣшилась показать генеральша своему батюшкѣ-братцу, что она его сестрица.—Такъ это значитъ, сударь мой Гаврила Михайловичъ! вы проберегли дочку, и похвальба Марка въ прокъ пошла? Слава Тебѣ Господи, Царю мой! набожно перекрестилась сестрица генеральша. Услыхалъ Ты мою грѣшную молитву: призрѣлъ на сироту... А когда же это, батюшка-братецъ! въ пору какого часа Божьяго спомогся-то Марка Петровичъ? Позову завтра попа, велю молебенъ пѣть... А старая-то Емельяниха и Подбритая ваша, сударь мой братецъ, чего же они смотрѣли?..

Надобно было смотрѣть и удивляться, какъ распаленный Гаврила Михайловичъ, съ сжатыми кулаками, оставался не-

движимъ и не поднялъ руки... Но это было невозможно. Матушка-сестрица генеральша, вся въ бѣломъ, въ своей широкой кофтѣ, въ большихъ оборкахъ ея спальнаго чепца, съ выбившимися сѣдыми волосами и немного тряся старою головою, сидѣла въ такомъ неподвижномъ величіи, подъ подзоромъ штофнаго полога ея кровати, что принять ее за божество какого-нибудь богдыханскаго капища было легче и вѣрнѣе всего. Гаврила Михайловичъ, кажется, принялъ ее за вѣдьму. Онъ разразился такимъ страшнымъ ударомъ по шифоньерѣ матушки-сестрицы, что дорогая саксонскаго фарфора чашка подпрыгнула на своемъ блюдечкѣ, слетѣла внизъ и разсыпалась въ куски. Гаврила Михайловичъ хлопнулъ за собою дверью и опять потребовалъ огня. Огонь былъ поданъ. Оставляя сестрицу-матушку въ покоѣ, сударь братецъ, какъ медвѣдь въ лѣсу, сталъ ломить все и ворочать по ея дому. Онъ передвигалъ мебель, переставлялъ диваны, растворялъ шкапы; шелъ въ кладовыя, крича: «отворяй! а то замки собью.» Поднималъ крыши на сундукахъ; ощупывалъ ощупью шубы сестрицы-генеральши. Не было такого темнаго застѣнка, уголка, притаеннаго мѣстечка, куда бы не заглянулъ Гаврила Михайловичъ. Гдѣ только могла спрятаться кошка, тамъ онъ искалъ дочь и вора Марка. Вспомнилъ Гаврила Михайловичъ, что у сестрицы-генеральши была вышка въ саду, гдѣ обыкновенно на жердяхъ сушилось бѣлье. Гаврила Михайловичъ полѣзъ на вышку. Слѣзши съ вышки, онъ еще вспомнилъ про баню и въ темнотѣ ночью, по грязи, отправился къ банѣ подъ довольно крутую гору; поскользнувшись, чуть не упалъ въ прудъ и опять воротился къ дому. Начинало уже свѣтать. Гаврила Михайловичъ осмотрѣлъ всѣ флигеля, всѣ пристройки. Послалъ къ попу за ключами, велѣлъ себѣ отворить церковь и даже въ алтарь заглянулъ Гаврила Михайловичъ. Но нигдѣ ничего, ни вида, ни какой-либо примѣты, чтобы здѣсь были бѣглецы.

— Лошадей! крикнулъ Гаврила Михайловичъ, повелѣвая взять для себя лошадей съ конюшни сестрицы-генеральши.

И ихъ взяли; запрягли шестерикъ въ колымагу, и Гаврила Михайловичъ съѣхалъ съ сестрина двора, оставляя позади себя разоръ и сумятицу, какъ послѣ татарскаго погрома.

Что Гаврила Михайловичъ не жалѣлъ лошадей сестрицы-генеральши—это правда; но что онъ прибылъ къ своему знакомцу уже очень спустя послѣ обѣда—и то была истина. Еще скорѣе прежняго раза, давъ перекусить людямъ и въ чужую крашеную телѣжку запрягши своихъ лошадей, Гаврила Михайловичъ прямо изъ колымаги пересѣлъ въ нее, не ступивши ногой на порогъ дружескаго дома, не попросивши для себя стакану квасу! По счастью для людей и лошадей Гаврилы Михайловича, дома у него не зѣвали. Подстава тому и другому выставлена была верстъ за двадцать на постоялomъ дворѣ, и самъ старикъ староста, съ шапкою въ одной рукѣ и съ фонаремъ въ другой, перестрѣлъ Гаврилу Михайловича въ глухую ночь среди большой дороги и доложилъ, что вотъ онъ такъ и такъ распорядился.

— Умно! сказалъ Гаврила Михайловичъ.— А люди гдѣ? Какія вѣсти? Подавай сюда!... Эй вы!... кричалъ Гаврила Михайловичъ, подъѣзжая къ постоялому двору, и человѣкъ больше двадцати высыпало на голосъ барина. Собесѣдникъ Гаврилы Михайловича былъ также здѣсь. Онъ тѣмъ случаемъ травилъ зайчишекъ, какъ говорилъ онъ, чтобы не попусту пропадало время.

— Вѣсти какія? спрашивалъ Гаврила Михайловичъ, становясь въ сѣняхъ и на одномъ мѣстѣ разминая ноги, отерпшія отъ долгаго сидѣнья.

Но вѣсти, видно, были не радостныя, потому что всякій искалъ схорониться за спину другаго и не вызывался отвѣчать.

— Да что, батюшка Гаврила Михайловичъ! сказалъ собесѣдникъ—тутъ такія вѣсти, что просто чудеса въ очію совершаются. Не въ томъ дѣло, что укралъ; а въ томъ дѣло, какъ концы схоронилъ. А Марка Петровичъ, просто, аль въ огнѣ ихъ сжегъ, что и пепелу не оставилъ, или въ морѣ

потопилъ, а на землѣ слѣду нѣтъ. Какъ ты изволишь, батюшка: нѣтъ слѣду!

— Говори! отрывисто, сказалъ Гаврила Михайловичъ.

— Я-то говорить буду, продолжалъ собесѣдникъ, говорившій вообще довольно флегматически.—Да что говорить, Гаврила Михайловичъ? Нечего говорить. Пріѣхали къ попу, попъ дома, безъ ряски сидитъ и въ обѣднѣ, значитъ, не былъ, потому что сапогъ нѣтъ. И празднику не радъ, по той самой, изволите знать, поговоркѣ: кто празднику радъ, тотъ до свѣту пьянъ. А нашъ попъ свѣтелъ, какъ стеклушко. Только увидѣлъ насъ, обрадовался. «А что, молодцы! говоритъ: ай повѣнчать кого? Можно. Только, говоритъ, сейчасъ снимай, ребята, кто-нибудь сапоги и давай мнѣ. Попу безъ сапогъ вѣнчать нельзя.» Ну, такъ сами вы судите, батюшка! говорилъ собесѣдникъ. Былъ ли бы попъ безъ сапогъ, и усидѣлъ ли бы онъ безъ радости въ праздникъ, коли бъ Марка Петровичъ только однимъ глазомъ заглянулъ къ нему?

— Не былъ... не усидѣлъ бы попъ! рѣшительно говорилъ про себя Гаврила Михайловичъ.

— А чтобы дѣло было безъ всякаго опасства, продолжалъ собесѣдникъ:—мы и на томъ не стали; а попа къ себѣ и безъ сапогъ взяли. Онъ и теперь у васъ на радостяхъ безъ горя въ флигелькѣ сидитъ.

— Дать попу сапоги, обратился Гаврила Михайловичъ къ старостѣ, отдавая приказъ,—и другаго прочаго, что̀ дается: муки, крупы, сала. Отправить его на подводѣ и сказать: буду ѣхать, нарочно заѣду посмотрѣть, чтобъ онъ не пропивалъ сапогъ, или пусть больше не прогнѣвается, сухаря не дамъ. Дальше что? Говори! обратился Гаврила Михайловичъ къ собесѣднику.

— И дальше говорить нечего. Засѣли ребята въ лѣску. Ждать-пождать, ѣдетъ тройка рысью; сѣдоковъ нѣтъ, и кучеръ завалился подъ полость на сѣно, спитъ. Оступили ребята — кучеръ Марка Петровича, что второй по конюшнѣ.

Начали его будить; а онъ съ просонья набранилъ ихъ — и только.

— А коляска? спросилъ Гаврила Михайловичъ.

— А что въ колескѣ, коли она вамъ пустая? немножко разгорячался собесѣдникъ. — И коляска пріѣхала во дворъ прямо къ сараю. Кучеръ выпрягъ бурыхъ чертей и почалъ ими дивить людей: по два человѣка каждаго демона стали проваживать. Вотъ вамъ, батюшка, и коляска! И опричь того во всѣ стороны рыскали: ни слуху, ни духу... Ни птица не перелетала, ни звѣрь не перебѣгалъ; а овинъ между глазъ сгорѣлъ, и курева нѣтъ!

— Къ чорту! топнулъ ногою Гаврила Михайловичъ. — Что жъ Марка оборотнемъ сталъ?.. Идетъ у тебя выше лѣсу стоячаго?.. Давай! внезапно сказалъ онъ хозяйкѣ, проносившей мимо его кувшинъ съ молокомъ. И Гаврила Михайловичъ, не отрываясь, выпилъ кувшинъ отъ верху до дна. — Ѣдемъ, сказалъ онъ своему собесѣднику.

— Да куда же мы, батюшка, Гаврила Михайловичъ, ѣдемъ?

— А тебѣ не вдомекъ стало? надвигая себѣ низко шапку на уши, сказалъ Гаврила Михайловичъ.—Ко Власу Никандровичу ѣдемъ.

— А! теперь вдомекъ, батюшка! отвѣчалъ собесѣдникъ, и они поѣхали.

Но чтобы и намъ было вдомекъ, куда и за чѣмъ ѣхалъ Гаврила Михайловичъ — для этого надобно знать и сказать: кто и что̀ такое былъ этотъ Власъ Никандровичъ?

Былъ онъ лицо чрезвычайно занимательное само по себѣ— по роду поповичъ и по чину своему «съ приписью подъячій» въ отставкѣ. Власъ Никандровичъ былъ бездѣтенъ, холостъ-неженатъ; пріютился къ семьѣ своего единственнаго крѣпостнаго, или даренаго ему за какое дѣльце, человѣка и жилъ въ этой семьѣ не то старшимъ, не то наимладшимъ членомъ ея. Жилъ онъ въ собственномъ домикѣ при огородѣ. Домикъ и огородъ, обои вмѣстѣ, выходили на одну и

ту же улицу, которая была большою проѣзжею дорогой къ уѣздному городу и единственною улицей пригородной слободки Погорѣловки. Худъ былъ Власъ Никандровичъ какъ щепка; ничѣмъ піющимъ не занимался; ходилъ въ пестрядиномъ халатѣ; копалъ гряды вмѣстѣ съ своею бабою на огородѣ, и баба, то и дѣло, кричала на Власа Никандровича, что онъ вовсе грядъ не копаетъ, а только воронъ по сторонамъ оглядаетъ! И права была баба. Власъ Никандровичъ совершенно наклоненъ былъ къ созерцательной жизни, а того не понимала дюжая баба и, подпослѣдокъ, вырывала заступъ изъ рукъ у Власа Никандровича и едва не тѣмъ же заступомъ выпроваживала его изъ огорода вонъ. Власъ Никандровичъ шелъ, нахмурясь, въ виду своей бабы, какъ бы глубоко огорченный своимъ изгнаніемъ; но едва только онъ поворачивалъ за уголъ (что баба съ заступомъ не могла болѣе видѣть своего барина), лицо у Власа Никандровича мгновенно прояснялось. Онъ былъ остръ носомъ, какъ пиголица, и этотъ невелико-острый носъ тотчасъ вздергивался къ верху и начиналъ нюхать на всѣ стороны. А живые, разбѣгающіеся глазки созерцали все, рѣшительно все. Власъ Никандровичъ видѣлъ и тучку на небѣ, и встающую пыль на дорогѣ, и что дѣлала его сосѣдка, пригнувшись у себя въ сѣняхъ, видѣлъ онъ свою курицу хохлатую у ногъ и чужихъ дѣтей, плескавшихся далеко въ лужѣ, какъ плещутся молодые утята. Власъ Никандровичъ настояще зналъ, въ какой день какая изъ его сосѣдокъ хлѣбъ пекла и въ какой праздникъ поросенка жарила.

Но чего не могли дознать всѣ сосѣди міромъ,—это: съ какой стороны шли вѣсти къ Власу Никандровичу? Полагали даже, что едва ли не сороки служили на вѣстяхъ у него. И это предположеніе было тѣмъ вѣроятнѣе, что на углу домика Власа Никандровича, въ огородѣ, стояла большая дупластая верба, и не было того часа времени, чтобъ одна-двѣ и больше того рябоперыхъ сорокъ не прыгало и не щебетало на вербѣ. А Власъ Никандровичъ все больше сидѣлъ

въ своей свѣтелкѣ подъ окошечкомъ и сторожилъ дорогу, какъ ласый котъ сторожитъ пронюханную мышь. Кто бы ни шелъ, ни ѣхалъ, Власъ Никандровичъ никого не пропускалъ даромъ. Въ окошечко обзоветъ, за ворота на встрѣчу выйдетъ; человѣка своего отправитъ, даже бабу въ догонку пошлетъ; а уже Власъ Никандровичъ достодолжно узнаетъ: кто это ѣдетъ и за чѣмъ? куда и откудова?

Но этого мало, что онъ зналъ всѣ эти вѣсти: Власъ Никандровичъ еще писалъ ихъ. Къ календарямъ подшивалъ онъ помѣсячно листы синей бумаги и подъ однимъ общимъ названіемъ: «Описаніе житію, дѣлъ, бѣдствій и разныхъ приключеній», Власъ Никандровичъ вносилъ сюда всѣ происшествія, все, чѣмъ малѣйше шевелилась сосѣдская жизнь. Въ книгахъ у Власа Никандровича достовѣрнѣйше значилось: кто когда по сосѣдству умиралъ, женился, родился, крестился, кто воспріемниками были и даже что̀ попу за крестины заплатили, Власъ Никандровичъ обстоятельно велъ метеорологическія наблюденія. Записывалъ дожди, грозы, бури, метели, небесныя явленія, какія были, мертвыя тѣла, какія находили; въ какой цѣнѣ хлѣбъ стоялъ, что̀ во снѣ видѣлъ Власъ Никандровичъ, и что̀, проснувшись, онъ видѣлъ наяву. Случались такія происшествія, что казалось бы, никоимъ путемъ не дойдти имъ до Власа Никандровича! А они доходили, и Власъ Никандровичъ зналъ ихъ, и подробно записывалъ въ свое «Описаніе житію, дѣлъ, бѣдствій и разныхъ приключеній».

Теперь понятно, почему Гаврила Михайловичъ, не встрѣтя никакихъ слѣдовъ Марка Петровича и получа донесеніе, что и розыски другихъ въ той же степени не нашли ихъ, сказалъ собесѣднику: «Ко Власу Никандровичу ѣдемъ».

Было еще рано, только начинало свѣтать, и Власъ Никандровичъ стоялъ на утренней молитвѣ, когда, поклоняясь за крестнымъ знаменіемъ, онъ вдругъ, привычнымъ взглядомъ, перехватилъ что-то движущееся на дорогѣ. При такихъ случаяхъ искушенія, Власъ Никандровичъ обыкновенно

крѣпко жмурилъ глаза, поднималъ свое незрячее лицо къ образамъ и старался какъ можно внятнѣе и громче, на церковный распѣвъ, читать молитвы, чтобы тѣмъ предохранить себя отъ разсѣянности. Но это обыкновенное, очень вѣрное средство оказывалось теперь не дѣйствительнымъ. Искушеніе не отставало. Власъ Никандровичъ если не видѣлъ, то явственно слышалъ, какъ подъѣхали лошади; стали онѣ у его воротъ, отворили имъ ворота; зашлепали лошади въ дворѣ по лужамъ, и чей-то голосъ, котораго не узнавалъ Власъ Никандровичъ, громко спрашивалъ: «Дома?» И Власъ Никандровичъ напрасно затыкалъ себѣ уши и клалъ земные поклоны: онъ вдругъ услышалъ пронзительный визгъ и причитыванье своей бабы.

Баба Власа Никандровича терпѣть не могла гостей своего барина и называла ихъ довольно громко «дармоѣдами». И вотъ не успѣлъ еще путемъ день бѣлый объявиться, какъ несетъ нелегкая одного и двухъ еще! Баба, съ ухватомъ въ рукахъ, стала на самомъ порогѣ сѣней и рѣшилась, коли не дѣломъ не пустить гостей, то хоть своимъ видомъ показать имъ, какъ бы она ихъ ухватомъ выпроводила, коли бы на то ея воля бабья была! Но взглядѣвшись попристальнѣе въ одного гостя, баба вдругъ увидѣла, что это былъ не только не дармоѣдъ, а самъ Гаврила Михайловичъ, который его барскою милостію кормилъ бабу, и дѣтей ея, и мужа ея, въ лицѣ ея барина, отставнаго съ приписью подъячаго, которому Гаврила Михайловичъ, какъ и заштатному пропившемуся попу, только-что не посылалъ сапогъ, а давалъ все прочее, что̀ дается: муку, сало, пшено, крупу, и даже къ празднику присылалъ московской синей выбоечки на халатъ. Баба съ ревомъ повалилась въ ноги Гаврилѣ Михайловичу. «Кормилецъ ты нашъ, милостивецъ! завопила она. Жалуй въ сѣни... Гдѣ ему, родимый, дѣться, коли съ голоду не помретъ безъ твоей, кормилецъ, милости?» отвѣчала баба на вопросъ, дома ли Власъ Никандровичъ.

И Власъ Никандровичъ все это слышалъ съ зажмуренными

глазами, съ заткнутымъ однимъ лѣвымъ ухомъ, потому что правою рукою онъ крестился и спѣшилъ всемѣрно докончить свою молитву. Наконецъ онъ, кладя на себя послѣднее крестное знаменіе, оборотился къ дверямъ и въ эту самую минуту Гаврила Михайловичъ, отворяя, вошелъ въ двери.

— Что ты это, Власъ Никандровичъ, отъ меня открещиваться сталъ?

— Сумнѣніе взяло, отвѣчалъ съ робостію Власъ Никандровичъ.

И точно могло взять сумнѣніе: былъ ли это Гаврила Михайловичъ передъ глазами? Такъ онъ былъ малоузнаваемъ, въ грязи весь, два дня не умытый, не спавшій, не ѣвшій; даже голосъ его былъ не его, и осипъ, какъ отъ перепоя.

— Ну, шагалъ по свѣтелкѣ Гаврила Михайловичъ: — сослужи службу, Власъ Никандровичъ. По вѣкъ того не забуду... Чай тебѣ разсказывать нечего. Ты самъ знаешь.

Власъ Никандровичъ отвѣчалъ смиренно, что онъ точно знаетъ.

— И записалъ?

— И записалъ, отвѣчалъ Власъ Никандровичъ.

— Чтобы тебѣ руки отсохли!.. Не погнѣвайся, братецъ! добавилъ Гаврила Михайловичъ.—Такъ помогай бѣдѣ. Слѣду нѣтъ. Воръ Марка слѣдъ затаилъ... Не въ примѣту ли тебѣ: не проѣзжалъ ли, не минулъ ли кто? Не прослышалъ ли ты чего? Вѣдь говорятъ же, что тебѣ сороки на хвостахъ вѣсти носятъ!

— Оно, пожалуй, и говорятъ, въ смущеніи соглашался Власъ Никандровичъ.

— Такъ, ну же ты говори! наступалъ Гаврила Михайловичъ.

Власъ Никандровичъ подался къ своему окошечку, и, почти припертый къ стѣнѣ, ухватился за «Описаніе житію, дѣлъ, бѣдствій и разныхъ приключеній».

— Ну, читай что̀ написано... Что тебя лихорадка бьетъ? доступалъ еще ближе Гаврила Михайловичъ.

Власа Никандровича истинно била лихорадка. Дрожащею рукою онъ перевернулъ два листа плотно исписанной синей бумаги и спросилъ:

— Съ Покрова читать?

— Съ Покрова читай. Что тамъ у тебя настрочено?

Власъ Никандровичъ зажужжалъ, какъ муха жужжитъ, пойманная большимъ паукомъ:

«Мѣсяцъ октомбрій, по словенски именуемый «паздерникъ», «полагаетъ изначала своего праздникъ Пресвятыя Богоро- «дицы Покрова, нынѣ, попущеніемъ Божіимъ за грѣхи наши, «не погожъ есть: мгла съ небесъ и зѣльное вѣтра устрем- «леніе.»

— Ну, дальше! остановилъ Гаврила Михайловичъ. — Что тамъ еще за устремленіе?

«Искушеніе найде на мя», жужжалъ дальше Власъ Никандровичъ. «Ворочающуся изъ заутрени, промчалась Танька- «Ванька: сіе есть дѣвка, мчущаяся на лошади, простоволоса «и продерза...»

Власъ Никандровичъ поднялъ глаза на Гаврилу Михайловича и уставилъ ихъ съ полуоткрытымъ ртомъ.

— Что? глянулъ на него Гаврила Михайловичъ, и у Власа Никандровича душа въ пятки ушла... — Ума ты рехнулся, чтобъ моя дочь была *простоволоса* и *продерза!* ударилъ по столу кулакомъ Гаврила Михайловичъ.—Читай дальше.

«Воротившуся изъ обѣдни,» читалъ Власъ Никандровичъ: «и вкушающу праздничное учрежденіе, пироги именуемое, «узрѣлъ я на дорогѣ чумацкій обозъ, и, изшедъ во срѣте- «ніе тѣмъ чумацкимъ людямъ, испытывалъ первѣе о горѣніи «земли. Есть горѣніе, якоже и въ Писаніи говорится: «земля «и вся яже на ней дѣла сгорятъ». Потомъ вопросившу ми: «что везутъ сіи чумацкіе люди хохлы (они же и Малороссы «по странѣ своей Малороссійстѣй нарицаются), одинъ изъ «сихъ малороссихъ людей, яко бы посмѣваясь мнѣ, отвѣт- «ствовалъ: *А хто его знае, пане! Може борошно, а може*

«*и барышню*. Сіе есть яко бы они везутъ или *муку* или *ба-*«*рышню*...»

— Что?... спросилъ Гаврила Михайловичъ, и въ воспоминаніе его мгновенно представалъ тотъ чумацкій обозъ и тѣ хохлы, которыхъ онъ опросилъ, выѣзжая на большую дорогу, и вспомнилъ Гаврила Михайловичъ, какъ хохлы, молча, показали ему слѣдъ пустой коляски Марка Петровича. — Такъ вотъ гдѣ угораздило его спрятать концы: въ куляхъ съ мукою!

Гаврила Михайловичъ тремя шагами ступилъ, а четвертымъ уже былъ на крыльцѣ. Баба Власа Никандровича вела его лошадь съ водопоя. Гаврила Михайловичъ вырвалъ у нея поводъ, вскочилъ на лошадь и поскакалъ къ городу. Тамъ онъ скоро отыскалъ постоялый дворъ, гдѣ преимущественно останавливались обозы.

— Въ обѣдъ на Покровъ былъ у тебя чумацкій обозъ? спрашивалъ Гаврила Михайловичъ.

— Былъ, отвѣчалъ дворникъ.

— Съ чѣмъ былъ?

— Съ мукою.

— Не замѣтилъ ли чего особеннаго? Не былъ ли кто другой при обозѣ?

Дворникъ отвѣчалъ, что быть никто не былъ и особеннаго онъ ничего не замѣтилъ, кромѣ развѣ того, что пить чумаки много пили, и онъ имъ сдачу давалъ: золотомъ платили... Чумаки платили золотомъ! Бо́льшаго удостовѣренія не требовалъ Гаврила Михайловичъ. «Гдѣ Марка, тамъ золото, чортовъ слѣдъ!» ударилъ онъ кулакомъ по вереѣ воротъ. Но Гаврила Михайловичъ хорошо понималъ, что не станетъ же Марка Петровичъ все на волахъ везти свою покражу, и потому, оставивъ въ покоѣ чумацкій обозъ, Гаврила Михайловичъ бросился разыскивать по городу: не видалъ ли кто, не встрѣтилъ, не зналъ ли чего? Все было безотвѣтно на вопросы Гаврилы Михайловича.

Да и какъ было отвѣчать? Кому бы пришло въ голову слѣдить: зачѣмъ и для чего одинъ возъ выдѣлился изъ чумацкаго обоза и, не въѣзжая на постоялый дворъ, поѣхалъ глухою улицей между садами и огородами, на самый конецъ города. Два мужика шли возлѣ воза. Одинъ погонялъ воловъ—хохолъ съ своимъ чумацкимъ батожкомъ въ рукѣ; другой—русскій молодецъ, видно, купилъ эти кули съ мукою и провожалъ покупку къ своему двору, держась неотступно за край широкаго воза. А далѣе и видѣть было некому, въ глуши совершенно пустынныхъ, облетѣлыхъ садовъ и высокихъ пригородныхъ ветлъ, хлеставшихъ по вѣтру голыми вершинами,—какъ этотъ возъ взъѣхалъ на дворъ къ молочному брату Марка Петровича, отпущенному на волю, и крѣпкія ворота затворились за нимъ. Черезъ часъ мѣста они опять отворились и изъ воротъ выѣхала доброконная кибитка парою, съ опущенною бѣлою полостью. На облучкѣ сидѣлъ русскій молодецъ и слегка подгонялъ пристяжную, между тѣмъ какъ коренной конь забиралъ крупною рысью, и ветлы, огороды, галки сновали, какъ основу, въ глазахъ. Кибитка своротила на перерѣзъ пахатныхъ полей и, оставивъ позади себя большую дорогу, быстро скатила въ оврагъ. Тамъ она понеслась невидимкою по окрѣпшему песчаному руслу нѣкогда бывшей, безыменной рѣчки, теперь только сочившейся дождевыми ручьями и кой-гдѣ изрѣдка стоявшей лужами. Версты на четыре ниже, кибитка вынырнула, какъ утка, изъ оврага; метнулась, какъ заяцъ, въ густую опушку лѣса, и только ее видѣли. Въ лѣсу, на опустѣлой пасѣкѣ стонъ стоялъ: отъ вѣтра, ходившаго вверху хóденемъ по голымъ вершинамъ, и внизу отъ топота не стоявшихъ на мѣстѣ восьмерика коней, запряженныхъ въ карету. Простой молодецъ въ мужицкой сѣремягѣ суетился вокругъ кареты и кого-то усаживалъ въ нее; за тѣмъ, самъ бросившись въ середину кареты, онъ закричалъ не мужицкимъ, а прямо барскимъ голосомъ: «пошелъ!»

А Гаврила Михайловичъ, съ своихъ безуспѣшныхъ розы-

сковъ, воротился къ Власу Никандровичу. Онъ видѣлъ, что искать было больше нечего. Третій день уже былъ...

— Домой, сказалъ онъ своимъ людямъ, хлопотавшимъ вокругъ лошадей.—Власъ Никандровичъ, какъ изволишь? Самъ пріѣзжай, или свою бабу пришли: что тамъ тебѣ нужно на зиму?... Съѣзжай! что по сторонамъ воронъ ловишь, какъ баба? замѣтилъ своему кучеру Гаврила Михайловичъ и съѣхалъ со двора Власа Никандровича.

— Баню! сказалъ онъ, ступая на первую ступень своего барскаго крыльца, и за тѣмъ вошелъ въ опустѣлый домъ. — Обѣдать! сказалъ онъ точно такимъ голосомъ, какъ всегда говорилъ: обѣдать! возвращаясь съ осмотра конюшни, хозяйственныхъ работъ, псарни, или лѣтомъ, воротившись съ объѣзда полей. Въ домѣ всѣ, отъ перваго до послѣдняго, со страхомъ и недоумѣніемъ ожидали пріѣзда Гаврилы Михайловича, и столъ былъ накрытъ; обѣдать тотчасъ подано. По обыкновенію выпивъ серебряный стаканчикъ водки и закусивъ коркой ржанаго хлѣба, Гаврила Михайловичъ почти не обѣдалъ.—Что жъ баня? спросилъ онъ. По счастію это была суббота: слѣдовательно баня съ утра топилась, и Комариная Сила доложилъ немедленно, что баня готова. Тотчасъ изъ-за обѣда Гаврила Михайловичъ отправился въ баню и часа два съ половиною онъ пробылъ въ ней; наконецъ показался Гаврила Михайловичъ изъ бани. Паръ клубомъ валилъ съ его распахнутой груди, и Гаврила Михайловичъ, въ своихъ туфляхъ на босу ногу, шествовалъ поперекъ двора.—Обѣдать! сказалъ онъ такимъ голосомъ, какимъ царь звѣрей даетъ знать, что онъ голоденъ.—Народы, обѣдать! повторилъ Гаврила Михайловичъ, и всѣ подвластные ему народы пришли въ неописанный ужасъ. Можно ли было ожидать такого требованія: обѣдать! пообѣдавши уже разъ. Гдѣ взять обѣда? Щи холодныя, жаркое простылое, ничто не разогрѣтое... Но дожидаться третьяго рыканія льва было невозможно. И передъ Гаврилу Михайловича несли и ставили что попало—различныя приливныя холодныя: индѣйку

и осетрину, ветчину и жаренаго гуся. Гаврила Михайловичъ ѣлъ, какъ долженъ былъ ѣсть человѣкъ, двое сутокъ съ половиною ничего не ѣвшій и въ теченіи этого времени только залпомъ выпившій кувшинъ молока, позабывъ даже, что то была пятница.—Принимать! сказалъ Гаврила Михайловичъ:— да поставить квасу, добавилъ онъ, отправляясь въ кабинетъ, и едва только склонился къ подушкѣ крѣпкій старикъ, какъ уже спалъ непробуднымъ сномъ.

И долго спалъ Гаврила Михайловичъ. Комариная Сила, няня Анны Гавриловны, староста и еще нѣсколько почетныхъ лицъ, столпившись у дверей кабинета и притаивъ дыханіе, смотрѣли на Гаврилу Михайловича, а онъ спалъ. Въ домѣ не было ни шелеста, ни звука; словно все мертво затихло, занѣмѣло, и одно богатырское дыханіе Гаврилы Михайловича, какъ съ прибоемъ морская волна, ходило и отдавалось по комнатамъ.

— Эй, Комариная Сила! воззвалъ, пробуждаясь, Гаврила Михайловичъ и, какъ въ околдованномъ замкѣ, все вмѣстѣ съ нимъ ожило и пробудилось. Няня, крестясь и читая молитву, пошла отъ дверей; староста вошелъ въ кабинетъ за приказаніями; дворецкій поспѣшилъ готовить чай. Въ лакейской и дѣвичьей слышно было одно и то же обрадованное слово: «баринъ проснулся! баринъ проснулся!»

Гаврила Михайловичъ спалъ безпробудно двадцать четыре часа! Какъ заснулъ въ субботу передъ вечернями, и только проснулся въ воскресенье, когда къ вечернямъ пора была звонить. Всѣ домашніе его находились въ неописанномъ страхѣ. И разбудить Гаврилу Михайловича никто не смѣлъ, и всѣхъ приводилъ въ ужасъ и недоумѣніе этотъ богатырскій сонъ.

— Кой лядъ! сказалъ Гаврила Михайловичъ отряхивая, какъ левъ гриву, крѣпкое забвеніе своего суточнаго сна. — Что это на дворѣ дѣется? Не то свѣтаетъ, не то смеркается?

— Смеркается, батюшка, Гаврила Михайловичъ! отвѣчалъ Комариная Сила.—Вчера объ эту пору милость ваша започивать изволили.

— Что?... своимъ обычнымъ короткимъ вопросомъ спросилъ Гаврила Михайловичъ, поднимая брови.—Ну, значитъ, хорошо спалъ, коли сутки проспалъ. Обѣдать давай, и пора значитъ опять спать.

Гаврила Михайловичъ всталъ, умылся, Богу помолился, подали обѣдать. Онъ пообѣдалъ совершенно одинъ (собесѣдникъ его вчера уѣхалъ послѣ обѣда), и опять легъ Гаврила Михайловичъ. Спалъ ли онъ, или цѣлую осеннюю ночь пролежалъ въ темнотѣ съ открытыми глазами, этого никто не могъ знять. Только въ обычное время своего пробужденія, Гаврила Михайловичъ кашлянулъ, какъ онъ всегда кашлялъ, и на вопросъ появившейся Комариной Силы:—Что прикажете, батюшка Гаврила Михайловичъ? онъ отвѣчалъ другимъ вопросомъ:—Что жъ охота? Точно какъ бы между приказаніемъ объ охотѣ не прошло ничего другаго, и самое это приказаніе отдано было вчера.—Сборъ! прибавилъ Гаврила Михайловичъ, и въ большомъ охотничьемъ сборѣ съѣхалъ съ своего широкаго двора.

Удивительно сиротливъ и пустыненъ оставался его барскій дворъ! Мелкій дождикъ кропилъ его, пометала молодая пороша; зяблики стадами слетались на широкую площадь его, и только двѣ-три искалѣченныя собаки блуждали въ опустѣломъ подворьѣ. Домашняя челядь забилась по своимъ теплымъ угламъ, спасаясь отъ осенней непогоды. Не для кого было сѣнными дѣвушкамъ выбѣгать постоять на крылечкѣ и помахать дѣвичьимъ передникомъ въ сизую мглу прохваченнаго морозомъ вечера. Все мужское народонаселеніе скочевало за Гаврилой Михайловичемъ. Остались однѣ женщины, и веретена прилежно жужжали по всѣмъ тихимъ угламъ, и въ этой тиши, въ жужжаніи рабочаго веретена, кто развѣ не хотѣлъ, тотъ бы только не услышалъ, какъ часто поминалось здѣсь все одно и то же, всѣмъ милое, всѣмъ равно дорогое: Анна Гавриловна! Анна Гавриловна!

Гаврила Михайловичъ только наканунѣ Михайлова дня изволилъ пожаловать домой, пробывъ въ отъѣзжемъ полѣ мѣ-

сяцъ и со днями. Съ нимъ наѣхали охотники, собесѣдники; прибыли на вечеръ старухи помолиться въ праздникъ въ церкви Гаврилы Михаиловича; со старухами наѣхали молодыя, и домъ попрежнему зашумѣлъ и наполнился по всѣмъ угламъ и закоулкамъ. Гаврила Михайловичъ былъ все тотъ же величавый баринъ, оставлявшій своимъ гостямъ хлѣбосольное право: жить и веселиться у него въ домѣ, какъ кому угодно. Музыка и пѣсенники являлись по первому востребованію; но самъ Гаврила Михайловичъ только къ обѣду и ужину переступалъ за порогъ своего кабинета, и далѣе не дѣлалъ ни одного шагу въ своемъ барскомъ домѣ. И къ чести нашего старинnаго домоводства стòитъ сказать, такова была крѣпко поставленная, незыблемая основа однажды заведеннаго порядка въ домѣ, что даже такой случай, какъ внезапное изчезновеніе хозяйки и полное отчужденіе хозяина отъ всего, чтò внутренно происходило въ его барскомъ домѣ, не измѣнили ни въ чемъ обычнаго теченія дѣлъ! Ни на волосъ не произвели разстройства въ заведенныхъ порядкахъ и однажды установленномъ чинѣ богатаго, наполненнаго гостями, дома! Безъ чьихъ-либо повелѣній и распоряженій, няня вступила въ полное завѣдываніе всѣмъ; сама себѣ опредѣлила помощницей свою племянницу. Весь этотъ людъ, который по утрамъ являлся къ Аннѣ Гавриловнѣ со всѣми его разными дѣлами, точно такъ же продолжалъ являться къ нянѣ. И мало было нужды, что барскій хозяйскій глазъ цѣлые мѣсяцы не заглядывалъ далѣе условленнаго порога; но тѣмъ не менѣе комнаты оставались всѣ въ той же холѣ и въ томъ же призорѣ; ни одна лишняя порошинка не заводилась въ нихъ. Платье Анны Гавриловны, которое было приготовлено надѣть ей въ обѣдню на праздникъ, будто сей часъ вынутое, лежало на ея кровати, прикрытое кисейною занавѣской. Анна Гавриловна, въ ея поспѣшныхъ сборахъ къ заутренѣ, обронила алый бантикъ, которымъ подкалывалась буфа ея рукава, и этотъ бантикъ оставался нетронутымъ. Онъ линялъ, терялъ свой цвѣтъ, становился

никуда негоднымъ, но прошла осень и зима, проходили весенніе и лѣтніе мѣсяцы,—а бантикъ все лежалъ на комодѣ и оставался какою-то святынею, къ которой не дерзала касаться ничья рука. Вся комнатная прислуга, правые и немногіе виноватые съ Настей Подбритой во главѣ, пережившіе всѣ ужасы томительнаго ожиданія—что̀ будетъ? чѣмъ и какъ разразится гнѣвъ Гаврилы Михайловича? — наконецъ успокоились. «Заспалъ», говорили они, и точно, видя, какъ Гаврила Михайловичъ ни словомъ, ни дѣломъ не поминалъ ничего того, что̀ было прежде, можно было подумать, что онъ именно заспалъ все въ своемъ суточномъ снѣ. Объ Аннѣ Гавриловнѣ не доходило никакого слуха. Можетъ-быть сосѣди и успѣли по времени перехватить кое-какія вѣсти; но сообщать эти вѣсти Гаврилѣ Михайловичу, когда онъ изволилъ молчать и не спрашивать,—такихъ смѣлыхъ охотниковъ до переносу вѣстей не находилось. А самому Гаврилѣ Михайловичу между тѣмъ нашлось, для развлеченія, небольшое дѣльце.

Матушка сестрица-генеральша подала челобитную самому намѣстнику о ночномъ погромѣ сударя-братца, въ коей властно требовала, по ея вдовству и сиротству, защиты отъ конечнаго разоренія и законнаго себѣ удовлетворенія за понесенные убытки: за разбитую чашку, за поломанную колымагу, за двухъ загнанныхъ лошадей и, по своему высокому чину, за оскорбленіе ея генеральской чести.

— Самодуръ-баба! сказалъ Гаврила Михайловичъ, получа извѣстіе о томъ.—Нарядить подводу и послать за Власомъ, чтобы былъ ко мнѣ.

Власъ этотъ былъ Власъ Никандровичъ и онъ часто сталъ бывать въ кабинетѣ у Гаврилы Михайловича и строчить ему отвѣты на челобитную самодуръ-бабы. И кромѣ этихъ отвѣтовъ, никакихъ перемѣнъ не послѣдовало въ быту Гаврилы Михайловича. Онъ такъ же бывалъ веселъ и шутку шутилъ съ пріятелями; только къ концу года усы и брови у Гаврилы Михайловича совершенно побѣлѣли... И еслибы Комарпная

Сила не наученъ былъ слухомъ не слыхать и видомъ не видать, онъ, можетъ-быть, сказалъ бы кому: что онъ по начамъ видалъ и слыхалъ за дверью кабинета? А видалъ Комариная Сила, какъ этотъ крѣпкій, на видъ не податливый старикъ, въ смертельной тоскѣ вставалъ съ своего барскаго ложа и, падая ницъ, повторялъ: «Боже, милостивъ буди ми грѣшнику! Боже, очисти мя грѣшнаго и помилуй мя!» И шепотъ повторяемой молитвы, разгораясь до вопля терзаемой души, покрывался рыданіемъ, и слышно было: «Господи, помилуй *ее!* Господи, не остави ее, Господи! Царю мой! что съ нею? Помилуй ее!..» Комариная Сила именно желалъ бы, чтобъ ему слухомъ не слыхать и видомъ не видать! Онъ зарывался въ свою постель у дверей кабинета, пряталъ голову подъ подушкою; но и подъ подушкою Комариная Сила слышалъ мольбы и земные поклоны его барина, открывавшаго свою душу только передъ однимъ Богомъ.

На другой день Вздвиженья, когда всякій гадъ земной, какъ гласитъ повѣрье, подвигнулся на зимовлю, въ это замѣчательное время Гаврила Михайловичъ изволилъ опочивать послѣ обѣда, и вдругъ онъ слышитъ во снѣ, будто Марка Петровичъ говоритъ ему: «Что это вы, батюшка, заспались такъ? Вставайте внука Гавріила крестить. Попъ въ ризахъ ждетъ». Не опамятавшись, въ полуснѣ, Гаврила Михайловичъ поднялся и сѣлъ на кровати; но когда онъ открылъ глаза—сонъ у него былъ въ рукахъ. На колѣняхъ у Гаврилы Михайловича, на розовой атласной подушкѣ, въ кисеѣ и кружевахъ, лежалъ младенецъ и копался маленькими ножками и ручонками, какъ майскій жукъ, перекинутый на спинку. Еслибы земля разступилась и издала мертвецовъ своихъ, Гаврила Михайловичъ не удивился бы болѣе, какъ онъ удивился явленію этого младенца. Его пораженная мысль остановилась на одномъ: украдена Анна Гавриловна! Къ этой мысли приливала вся горечь тоскующаго отцовскаго чув-

ства и вся оскорбленная гордость Гаврилы Михайловича. Но далѣе, что̀ должно было слѣдовать за этою кражею, о томъ Гаврила Михайловичъ никогда не думалъ, и, въ совершенномъ пораженіи, онъ неподвижно глядѣлъ на это явное доказательство, что Анна Гавриловна была не только украдена, а что она была жена и мать, и это ея первенецъ копошился на колѣняхъ у Гаврилы Михайловича и морщился, собираясь заплакать! Гаврила Михайловичъ неподвижно глядѣлъ и не слыхалъ, что въ залѣ уже священникъ возгласилъ: «Господу̀ помолимся». Онъ неотступнымъ взоромъ разсматривалъ младенца и его густые темные волосенки, и теперь уже замѣтно очерченныя брови и смуглота ребенка явственно убѣждали Гаврилу Михайловича, что это именно сынъ того вора, Марка Петровича...

— Пожалуйте младенца ко оглашенію, сказалъ священникъ, показываясь во всемъ облаченіи въ дверяхъ кабинета.

Гаврила Михайловичъ смутился, какъ онъ смущался развѣ тогда, когда въ дѣтствѣ могли застать его надъ банкой варенья, не выпрошеннаго у ключницы: такъ теперь смутился могучій старикъ, что его застали въ прилежномъ разсматриваніи его внука.

— Сейчасъ, батюшка! послушно и робко, какъ женщина, отвѣчалъ Гаврила Михайловичъ.—Сила! сказалъ онъ...

И Комариная Сила держалъ уже наготовѣ новый богатый шлафрокъ, привезенный вмѣстѣ съ младенцемъ; но Гаврила Михайловичъ не замѣчалъ того.

Поспѣшая одѣться, онъ хотѣлъ было ребенка положить на постель, потомъ думалъ было передать его Комариной Силѣ; но никому не передалъ, никуда съ своихъ рукъ не сложилъ Гаврила Михайловичъ.

— Давай! протянулъ онъ одну руку Комариной Силѣ, чтобы всадить ее въ рукавъ шлафрока; а другою рукою Гаврила Михайловичъ придерживалъ у груди своей младенца. Натянувъ рукавъ на одну руку, Гаврила Михайловичъ перемѣнился ребенкомъ на другую; потомъ приподнялъ обѣ свои

руки и далъ Комариной Силѣ запахнуть шлафрокъ и подпоясать себя. Гаврила Михайловичъ не зналъ, въ какія туфли вступалъ онъ, и неся свою драгоцѣнную ношу, онъ выступилъ въ залу. Тамъ, разнаряженная, въ высокомъ чепцѣ и въ желтой робѣ венеціанскаго атласа, предстояла передъ святою купелью кума Гаврилы Михайловича, и кума эта была не кто иная, а матушка сестрица-генеральша; но Гаврила Михайловичъ, кажется, и этого не замѣтилъ... Или, нѣтъ! Когда, послѣ погруженія младенца, совершивъ уже крещеніе и готовясь ко св. муропомазанію, священникъ отъ купели передалъ дитя на руки кумѣ:

— Сестра, дай мнѣ! задыхающимся шепотомъ сказалъ Гаврила Михайловичъ.

— Возьмите, батюшка-братецъ, съ умиленнымъ вздохомъ передала братцу младенца матушка-сестрица. — Возьмите, Богъ съ вами! добавила и прослезилась она.

Но гдѣ надобно было посмотрѣть слезъ и улыбокъ, и послушать этого лепета радости, высказывающагося прерывистыми, несвязными словами, — это въ комнатѣ Анны Гавриловны. Подъѣхавъ осторожно къ заднему крыльцу и передавъ на руки мужу ребенка, чтобы нести его къ спящему дѣду въ кабинетъ, Анна Гавриловна не помнила, какъ она вошла въ свою комнату. Первымъ ея невольнымъ, почти безсознательнымъ движеніемъ было упасть на колѣни передъ кивотомъ образовъ и помолиться черезъ годъ времени тамъ, гдѣ она каждый день читала свою молитву. Въ первомъ еще успѣла Анна Гавриловна: она стала на колѣни; но помолиться ей нельзя было. Вся комната наполнилась женщинами, сѣнными дѣвушками, лакеями. Руку, которую Анна Гавриловна подняла для крестнаго знаменія, схватили у нея и покрывали поцѣлуями. Въ забвеніи радости, Аннѣ Гавриловнѣ не давали подняться съ колѣнъ; величали ее *барышнею*, цѣловали ей голову, цѣловали рукава ея платья. Няни не было въ домѣ, когда пріѣхала Анна Гавриловна, и, прибѣжавъ, старуха бросилась сзади обнимать свою питомицу.

Обняла ее, духъ нянѣ захватило, и она сама зашаталась, упала и едва было не уронила Анны Гавриловны. Няню подняли, усадили на маломъ сундучкѣ; старуха раскашлялась и расплакалась. Анна Гавриловна цѣловала свою няню; повязывала ей платокъ, спавшій съ головы, и сама тоже расплакалась. Марка Петровичъ, бодрый и веселый, явился на эту сцену слезъ и сладкаго смущенія.

— Вотъ на то-то я привезъ вамъ молодую барыню, чтобы вы тутъ съ тяжкаго горя расплакались, да и ее въ слезы ввели? сказалъ онъ, весело приговаривая;—послѣ, послѣ! и на всѣ стороны отмахиваясь руками, которыя было бросились цѣловать у него. Марка Петровичъ опустилъ свои руки въ карманы и, по своему обычаю, началъ посыпать деньгами на ту и другую сторону.—Ну, голубушка моя, старая Емельяновна! сказалъ онъ, обращаясь къ нянѣ и осаживая ее рукою, чтобъ она не сплилась встать,—дай мы съ тобою во уста поцѣлуемся,—и Марка Петровичъ поцѣловался разъ и въ другой съ нянею во уста. — Спасибо тебѣ, нянюшка! сказалъ онъ, отступая и кланяясь нянѣ въ поясъ: — что ты мнѣ взростила и взлелѣяла жену молодую и вишь какую, что я, годъ скоро, гляжу на нее и будто сегодня впервой вижу. Спасибо тебѣ, нянюшка! низкій поклонъ. Выянчила мнѣ жену, поняньчи и моего сына! въ другой разъ поклонился нянѣ Марка Петровичъ и положилъ ей въ колѣна не одинъ червонецъ...—Скоро окончатъ крестить,—сказалъ онъ Аннѣ Гавриловнѣ, между тѣмъ какъ она сплилась своей нѣжной рукою достать черноволосую высокую голову Марка Петровича и наклонить ее передъ кивотомъ съ образами. — Да будетъ же, Анюта! говорилъ онъ.—Вѣдь это хоть въ монахи идти. Ты и такъ меня сегодня цѣлую дорогу все только заставляла Богу молиться! а все таки крестился Марка Петровичъ и наклонилъ свою гордую высокую голову къ образамъ. Намъ уже пора и въ гостиной быть, сказалъ онъ, и повелъ Анну Гавриловну въ гостиную.

И они пришли въ самую пору. Крещеніе только-что окон-

чилось. Принявъ послѣднее благословеніе на младенца и усердное поздравленіе своего священника съ духовнымъ сыномъ и со внукомъ, Гаврила Михайловичъ оборотился и искалъ глазами вокругъ.

— *Она* же гдѣ? Гдѣ *она*?.. Анюта! позвалъ Гаврила Михайловичъ вырывающимся крикомъ отцовскаго сердца.

Анна Гавриловна себя не помнила: какъ она рванулась впередъ, быстро распахнула дверь, упала къ ногамъ отца и обняла ихъ съ поцѣлуями и слезами.

— Аннушка! Анюта! самъ плакалъ Гаврила Михайловичъ и не могъ отереть слезъ. Онѣ одна по одной быстро скатывались на пріуспувшее дитя. — Встань, Анюта. Изъ какой тебѣ вины лежать въ ногахъ? задыхаясь выговаривалъ Гаврила Михайловичъ.—Я не вижу тебя... Дай мнѣ взглянуть. Анюта, встань.

Анна Гавриловна поднялась; съ рыданіемъ протянула руки и вмѣстѣ припала головою къ груди отца и къ своему ребенку. Какъ ни былъ глубоко взволнованъ Гаврила Михайловичъ, но онъ былъ мужъ силы и воли, и почти пришелъ въ себя.

— Возьми свое сокровище, бери его! передалъ онъ на руки дочери дитя, и когда Анна Гавриловна приняла ребенка, Гаврила Михайловичъ съ чудною нѣжностію отклонилъ ей лицо и, взявъ въ обѣ руки ея голову, онъ на цѣлую минуту приникнулъ надъ Анной Гавриловною и поцѣловалъ ее въ лицо.—Христосъ съ тобою! сказалъ онъ, поднимаясь и осѣняя однимъ крестомъ мать и младенца...

— Ну, а молодецъ нашъ гдѣ? ступилъ шагъ впередъ Гаврила Михайловичъ.

— Здѣсь молодецъ, отвѣчалъ Марка Петровичъ и выступилъ передъ Гаврилу Михайловича.

— Вижу молодца... Что жъ? Ты укралъ у меня дочь, и еще за жену не хочешь поклониться отцу?

— Отчего не хотѣть, батюшка? сказалъ Марка Петровичъ.—

Голова не отпадетъ, подступилъ онъ ближе, чтобы поклониться Гаврилѣ Михайловичу въ ноги. — За такую жену не грѣхъ челомъ бить.

Но Анна Гавриловна, съ невыразимымъ безпокойствомъ слушавшая отца и смотрѣвшая на мужа, когда увидѣла, что тотъ готовится ударить челомъ, она сама бросилась къ нему и съ нимъ вмѣстѣ поклонилась отцу.

— Поди, Анюта! отступилъ шагъ назадъ Гаврила Михайловичъ.—Что ты съ младенцемъ валяешься у ногъ? Ай ты боишься, что онъ безъ тебя не съумѣетъ головы нагнуть? показывалъ рукою на зятя Гаврила Михайловичъ. — Пусть поучится.

— Ученаго учить только портить, батюшка! отвѣчалъ Марка Петровичъ.—А эту науку мы хорошо знаемъ,—и онъ поклонился въ ноги Гаврилѣ Михайловичу въ другой разъ и въ третій. Гаврила Михайловичъ смотрѣлъ на него.

— Ну, такъ какъ же? сказалъ онъ.

— Да вотъ такъ же, батюшка, отвѣтилъ Марка Петровичъ.— Внука вы перекрестили, а стопой вина не запили его. Чай и отцу Алексѣю *по трудѣхъ* сухая ложка ротъ деретъ.

— Это истинно такъ,—подтвердилъ отецъ Алексѣй, хорошо понявшій о чемъ старается Марка Петровичъ.

— Давай! сказалъ Гаврила Михайловичъ.

Въ ожиданіи этой минуты, лакей Марка Петровича держалъ наготовѣ серебряный подносъ и серебряный бокалъ на немъ съ чеканными родовыми гербами Марка Петровича и съ вензелемъ Екатерины II, осыпаннымъ брилліантами, — жалованный бокалъ. Марка Петровичъ принялъ подносъ въ свои руки, и тогда еще очень рѣдкое въ провинціяхъ шампанское брызнуло, зашипѣло въ золотой глуби бокала и перелилось черезъ край.

— Полно наливаешь, замѣтилъ Гаврила Михайловичъ.

— Не жалѣючи, батюшка, съ поклономъ подалъ вино Марка Петровичъ.

— Это значитъ, чтобы нашему новорожденному въ чинахъ

и въ богатствѣ, и во всякомъ то-есть пріятствѣ ему такъ полно было! пояснила сударыня сестрица-генеральша.

— И тожъ, матушка, ваше высокопревосходительство! дерзаю замѣтить, не смѣло отозвался дьяконъ:—много лѣтъ-съ будутъ здравствовать-съ. Примѣта такая-съ есть, что вино черезъ край пошло...

— Ну, сказалъ Гаврила Михайловичъ, принимая бокалъ,— здравствуйте! наклонилъ онъ голову и повелъ глазами вокругъ, и такова была всеобщность этого поклона, что лакеи, комнатныя дѣвушки, женщины, столпившіяся въ дверяхъ, всѣ поклонились Гаврилѣ Михайловичу, всѣ они почувствовали, что величавый старикъ всѣхъ ихъ привѣтствовалъ въ своей сердечной радости.—Во здравіе моему внуку, моему сыну крещеному и вашему пороженому! обращаясь къ отцу и матери, выпилъ бокалъ Гаврила Михайловичъ и остатками вина плеснулъ въ потолокъ. — Здравствуйте! повторилъ онъ, и все, что могло явиться радости и веселья, все оно объявилось и просіяло во всѣхъ глазахъ.

Выпивши за виновника этой радости, новорожденнаго и новопросвѣщеннаго, слѣдовало, по долгу и по обычаю, выпить въ честь и во здравіе воспріемниковъ и еще такихъ почетныхъ, какъ самъ Гаврила Михайловичъ и матушка сестрица-генеральша, и за ихъ здравіе выпили.

— Марка! наливай еще! сказалъ Гаврила Михайловичъ.— Богъ любитъ троицу... Коли ты думаешь, что за твое здоровье не слѣдъ пить (какъ оно и не слѣдъ есть, воръ ты этакой окаянный, святотатецъ! изъ церкви укралъ), такъ вотъ я за мое дитя порожденное выпью! обнялъ Гаврила Михайловичъ голову Анны Гавриловны и опять приникъ къ ней, почти въ слезахъ и повторяя шепотомъ слова Евангелія: *изгибъ бы и обрѣтеся*. Гаврила Михайловичъ становился пьянъ и отъ непривычнаго вина, и отъ сердечной радости. Но, то-есть, какъ пьянъ? Не забвеніемъ, не потерею ума и памяти, а блескомъ глазъ подъ нависшими бѣлыми бровями, огнемъ разлившагося румянца въ лицѣ и жаромъ сердечнаго

чувства, которое безъ того было бы захоронено, а виномъ вызвано наружу, и Гаврила Михайловичъ склонялся на голову дочери, и приникалъ къ ней почти съ тою же страстною нѣжностію, какъ она сама приникала къ своему первенцу и дышала на него всѣмъ дыханіемъ любви ея материнскаго сердца.

— Хорошо вино, Марка, отецкій сынъ! сказалъ Гаврила Михайловичъ, отрываясь отъ дочери и выпивъ бокалъ, поданный ему Маркомъ Петровичемъ. — А что, ты молодецъ, думаешь?

— А что я, батюшка, думаю? спросилъ Марка Петровичъ.

— Да ты чай совсѣмъ думать забылъ, о чемъ я говорилъ тебѣ?

— Не погнѣвайтеся, батюшка. Давно было.

— Да что было.

— Да что бы ни было.

Гаврила Михайловичъ поднялъ голову и запрокинулъ ее назадъ.

— Да ты, я вижу, со мной въ слова, какъ въ свайку, играешь? сказалъ онъ.—Помнишь тѣ рѣчи, что шли у меня съ тобою на пиру?

— Помнить всѣ рѣчи, батюшка, которыя ведутся на пиру, отвѣчалъ Марка Петровичъ,—долгую память надобно имѣть.

— А у тебя она знать не выросла? Такъ если ты молодъ, да память у тебя коротка, то я хоть и старъ, а память долга у меня. Похвалялся ты, Марка, что украдешь дочь и укралъ; а я на твою похвальбу показалъ всѣмъ, что тебя высѣку,— и что жь ты думаешь—не высѣку?

На этотъ вопросъ сестрица-генеральша поднялась со стула, всплеснувъ руками:

— Ахъ, сударь мой братецъ!

Анна Гавриловна безъ словъ подошла къ отцу и склонила ему на плечо свою головку. Эта безмолвная просьба могла быть дѣйствительнѣе всякихъ словъ. Гаврила Михайловичъ это чувствовалъ.

— Прочь, бабье! сказалъ онъ, отводя рукою дочь.—Вы, матушка-сестрица, извольте идти отдыхать съ пути; а ты, дочка, ступай, дитя колыши! Да не учись вязнуть на слѣду мужа: а дѣлай такъ, чтобы мужъ къ тебѣ шелъ, а не ты у него на глазахъ торчала. Ступайте обѣ; а мы вотъ съ зятькомъ побесѣдуемъ.

Анна Гавриловна и пошла было за тетушкою генеральшею; но переступая за порогъ залы, она остановилась.

— Анюта! сказалъ Марка Петровичъ и показалъ ей рукою на дверь.

Анна Гавриловна скрылась.

— Такъ вотъ, дорогой зятекъ, оставшись на самотѣ, сказалъ Гаврила Михайловичъ:—позабылъ ты это?

— Да и вы-то, батюшка, вспомнили спустя пору, въ лѣсъ по малину идти, сказалъ Марка Петровичъ.

— Какъ такъ?

— И конечно такъ, говорилъ Марка Петровичъ.—Коли бъ вы меня въ ту пору да поймали—не гдѣ дѣться? Ваша воля бы была. Укралъ да поймался, не проси милости. По дѣломъ вору и мука. А теперь какой я вамъ воръ. Я честный мужъ вашей честной дочери и вамъ, честному отцу, полагать на меня безчестье нельзя.

— Ой ли? сказалъ Гаврила Михайловичъ и немного задумался.—Марка!

— Что, батюшка?

— Я тебя высѣку.

— Ну, это еще бабушка на двое ворожила, сказалъ Марка Петровичъ.

— Да вѣдь ты понимай меня, Марка! съ жаромъ говорилъ Гаврила Михайловичъ.—Вѣдь я тебя вовсе не хочу сѣчь: ты теперь, почитай, моя плоть и кровь—сынъ мой по дочери; а все-таки я тебя высѣку, Марка!

— Да что же это за напасть такая? сказалъ Марка Петровичъ.—Вы меня, батюшка, не хотите сѣчь, а добиваетесь высѣчь?

— Марка! говорилъ Гаврила Михайловичъ, подступая къ Марку Петровичу.—Сынъ мой, понимай меня, Марка! говорилъ онъ.—Я не хочу тебя сѣчь, чтобы тебя высѣчь, Марка; а я тебя высѣку, Марка, потому что я сказалъ, что высѣку тебя, Марка!

— Э, э, э! тоже сказалъ Марка Петровичъ.—Раскудахталась курица, прежде чѣмъ яйцо снесла... Нѣтъ, ужъ извините, батюшка: своя кожа не чужая одежа. Выпьемте-ка лучше вина.

— Нѣтъ, Марка! отводилъ рукою подаваемый бокалъ Гаврила Михайловичъ.—Не хочу я вина. Ты взгляни на мою старость; Марка. Ты молодой человѣкъ, только-что нарекаешься на свѣтѣ жить, и ты, Марка, сказалъ свое слово и исполнилъ. А я дѣдъ побѣлѣлый; глянь ты на меня, Марка! и чтобы я вѣкъ свой изжилъ и не научился тому, Марка: коли я слово свое говорю, то значитъ, не на вѣтеръ лаю.

Даже заплакалъ Гаврила Михайловичъ.

— Но вѣдь это, Богъ знаетъ, что̀ такое, батюшка! говорилъ Марка Петровичъ, въ странной нерѣшительности глядя вокругъ и на плачущаго старика. — Чтобъ я далъ себя высѣчь вамъ...

Всталъ съ мѣста Марка Петровичъ.

— Дай я тебя высѣку, Марка, сынъ мой! просилъ Гаврила Михайловичъ.—Коли ты укралъ мою дочь, и она тебѣ по сердцу жена, дай я тебя высѣку, Марка!

Марка Петровичъ топнулъ ногой. На столѣ стоялъ бокалъ не выпитый вина. Марка Петровичъ взялъ его и выпилъ до дна.

— Сѣки, отецъ! сказалъ онъ. — Больно сѣки. Пусть же всѣ люди знаютъ и поминаютъ, что я укралъ твою дочь, и что она есть мнѣ по сердцу размилая жена! Сѣки меня.

Гаврила Михайловичъ всталъ, какъ выросъ.

— Господи, Царю мой! воздѣлъ онъ руки къ образамъ,— благодарю Тебя, что Ты меня создалъ, что Ты меня воспиталъ, человѣкомъ межъ людьми поставилъ, и что Ты, мой

Господи, на старости лѣтъ не посрамилъ меня! положилъ земной поклонъ Гаврила Михайловичъ.—Марка, сынъ мой, пди за мной.

— Некуда идти, отецъ. Сѣки меня здѣсь... Но сѣки меня самъ, отецъ: чтобъ меня не касалась холопская рука!

— Правда твоя, сынъ мой. Пожди меня.

Вышелъ Гаврила Михайловичъ изъ дому, и самъ нарѣзалъ прутьевъ.

И воротившись отхлесталъ Гаврила Михайловичъ сына не шутя, а такъ, какъ бы онъ хлесталъ это за провинность какую Фильку или Ѳомку, только не своею барской рукою.

Крѣпко обнялись послѣ этого и поцѣловались отецъ съ сыномъ.

— Теперь ты мой, Марка; а я твой на вѣки вѣчные, въ верхъ твоей головы цѣлую тебя. И Гаврила Михайловичъ поцѣловалъ въ голову Марка Петровича. — Пусть тебя твой сынъ, а мой внукъ Гаврила утѣшитъ такъ, какъ ты утѣшилъ меня, не посрамилъ старика! отступилъ Гаврила Михайловичъ и поклонился низкимъ поклономъ въ поясъ Марку Петровичу.—Сокрушилъ ты было меня совсѣмъ, сынъ мой родной! Ну, да и утѣшилъ, Марка! Опять братски обнялись и поцѣловались отецъ съ сыномъ.—Пойдемъ же теперь вмѣстѣ.

И Гаврила Михайловичъ, взявши подъ руку нареченнаго сына, шелъ съ нимъ вмѣстѣ по барскимъ покоямъ своего дома, въ которыхъ покояхъ Гаврила Михайловичъ самъ больше семи лѣтъ какъ не былъ, со свадьбы своей старшей дочери. Анну Гавриловну они нашли въ самой послѣдней комнатѣ.

Тревожно и грустно пріютившись въ молельнѣ матери, она во всей точности исполняла завѣтъ отца и качала свое дитя на своихъ колѣняхъ, когда отецъ и мужъ, широко растворяя двери, явились передъ нею, довольные собою въ высшей степени.

— Анна! сказалъ Гаврила Михайловичъ; — я взялъ отъ

тебя зятя, а теперь привожу сына,—слышишь, Анна? моего роднаго сына.

— Слышу, батюшка!

Хотѣла подняться Анна Гавриловна и не могла за своимъ сыномъ, который лежалъ у нея на колѣняхъ. Анна Гавриловна протянула руку къ отцу, и гордый старикъ, ни передъ кѣмъ не гнувшій своей шеи, теперь низко нагнулъ ее, чтобы дать дочерниной рукѣ обвиться вокругъ нея.

— Хорошо, Анна! сказалъ Гаврила Михайловичъ, принявъ третій, четвертый и пятый поцѣлуй дочерниной нѣжности, радости и благодарности.—Слушайте, дѣти! сказалъ онъ съ глубокою грустію: — порѣшимъ все дѣло за одинъ разъ. Что жъ вы это пріѣхали да и опять покинете меня одного? Тяжело жить одному, дѣти. Я бы и самъ перебрался къ вамъ, да не хорошо, дѣти, старому пѣтуху свою насѣсть бросать.

— Подлинно не хорошо, батюшка, сказалъ Марка Петровичъ.—Такъ мы, молодые, возлѣ васъ гнѣздо совьемъ.

— Ой ли? Правда твоя, Марка!

— Истинная, подтвердилъ Марка Петровичъ.

— Ну, а ты, дочка, не станешь перечить мужу?

— Батюшка! батюшка!.. сказала Анна Гавриловна.

— Ну, хорошо, дѣти! спасибо, дѣти! тихо повторялъ Гаврила Михайловичъ, глубоко умиленный и растроганный, наклонивъ къ груди свою старую голову.

Но не такъ былъ могучъ силою, и волей, и привычками своего барства Гаврила Михайловичъ, чтобы ему можно было удовольствоваться этою тихою отрадой умиленнаго сердца и на радостяхъ не распахнуться душою во всю вольную волю широкаго чувства.

— Старосту! сказалъ Гаврила Михайловичъ, выходя отъ дѣтей и своимъ шествіемъ озаряя дѣвичью, чайную и другія переходныя комнаты, которыя, еще долѣе парадныхъ покоевъ, не зрѣли въ себѣ господскаго присутствія. И едва всту-

пилъ въ свой кабинетъ Гаврила Михайловичъ, какъ уже староста стоялъ передъ нимъ.

— Ефремъ ты мой братецъ! господа молодые пожаловали.

Хотя Гаврила Михайловичъ могъ быть совершенно увѣренъ, что Ефремъ уже знаетъ о томъ; но съ его стороны, со стороны Гаврилы Михайловича, эти слова были точно такимъ же изъявленіемъ его барской милости, какъ и царскій спросъ о здоровьѣ въ нашей древней до-петровской Руси. Ефремъ это хорошо чувствовалъ и низкимъ поклономъ отвѣчалъ Гаврилѣ Михайловичу.

— Господа молодые пожаловали, повторилъ Гаврила Михайловичъ:—и что привелъ намъ Богъ здорово принять ихъ и окрестить нашего внука и наслѣдника, а вашего барина. Ефремъ, дай знать во всѣ вотчины: подушныя за нынѣшній годъ я плачу, недоимки какія есть по казнѣ — нѣтъ ихъ: я плачу.

Ефремъ повалился въ ноги Гаврилѣ Михайловичу.

— Подожди, пока всѣ услышишь, тогда поклонишься, остановилъ Гаврила Михайловичъ.—Кто забиралъ хлѣбъ и не отдалъ, простить ему; кто чѣмъ виненъ по барщинѣ, простить барщину; дворовымъ выдать, отъ стараго до малаго, по пуду пшеничной муки на душу; въ застольную кабана убить и всѣмъ сказать, что я жалую всѣхъ своей барской милостію и великимъ пиромъ черезъ десять дней.

Ефремъ въ поги поклонился Гаврилѣ Михайловичу, и сказалъ ему своимъ словомъ:

— Спасибо тебѣ, батюшка, Гаврила Михайловичъ! Вели намъ съ хлѣбомъ-солью на поклонъ къ молодымъ господамъ быть.

— На малый поклонъ, опредѣлилъ Гаврила Михайловичъ.— Пусть дворовые съ поклономъ придутъ, а крестьянамъ ждать дня великаго пира.

Затѣмъ Гаврила Михайловичъ вошелъ въ хозяйскія распоряженія по случаю великаго пира. Повелѣлъ пшеничные короваи печь, пиво варить, медъ варить, вино уже курилось

у Гаврилы Михайловича, и велѣлъ онъ позвать къ себѣ Фильку, который часто былъ отправляемъ въ вотчинный объѣздъ.—Филька ты, Филимонъ Антоновъ! будь здоровъ на барской радости, сказалъ Гаврила Михайловичъ представшему Филькѣ. — Слышалъ ты чай, что я жалую васъ, отсель десятымъ днемъ, моимъ великимъ пиромъ, чтобы вы похвалялись барской милостію, а я Божьимъ милосердіемъ. Собрать мнѣ нищихъ триста, чтобы въ десятый день во дворъ ко мнѣ были. Вотъ тебѣ приказъ, Филька. Ступай.

Нельзя сомнѣваться, чтобы довѣренный слуга Гаврилы Михайловича не употребилъ всего своего старанія и всѣхъ своихъ служебныхъ мѣръ во исполненіе барской воли, но триста нищихъ не могъ насобирать Филька. Онъ собралъ по дорогамъ всѣхъ калѣкъ перехожихъ, позабиралъ отъ церквей хромыхъ, слѣпыхъ, присѣдящихъ старухъ, завербовалъ, какихъ могъ, богомолокъ, по пути проспвшихъ милостыню; но все еще далеко не восполнялось число, означенное Гаврилою Михайловичемъ. Филька изъ кожи лѣзъ. Гдѣ встрѣчалъ старика и старуху, Христомъ-Богомъ молилъ ихъ, чтобъ они пошли въ старцы на великій пиръ къ Гаврилѣ Михайловичу, но старики и старухи, въ свою очередь, крестились и молились, чтобы сохранилъ ихъ Богъ и Богородица Матерь идти заѣдать кусокъ Христовой братіи. Такимъ образомъ Филька, въ страхѣ и въ великомъ сомнѣніи, явился передъ Гаврилу Михайловича и, чуть не кланяясь ему въ ноги, объявилъ:

— Батюшка Гаврила Михайловичъ! не положите великаго гнѣва: нѣту нищихъ, чтобы ихъ триста было.

— Нѣту? спросилъ Гаврила Михайловичъ, оборачиваясь всѣмъ лицомъ къ Филькѣ.—Хоть роди, а чтобы у меня были!

И родилъ Филька. Отправившись отъ лица барина съ такимъ положительнымъ повелѣніемъ, онъ опять бросился по всѣмъ дорогамъ, и на одной изъ нихъ, къ своему великому благополучію, Филька увидѣлъ цѣлый таборъ цыганъ, отправлявшихся на ярмарку съ медвѣдями и съ своими цыганятами, которые въ той самой одеждѣ, въ какой родила ихъ

мать, грѣлись, выплясывая, противъ осенняго солнышка. Филька предложилъ отцамъ табора явиться, подъ извѣстнымъ условіемъ, всѣмъ имъ, со всѣми ихъ цыганятами на великій пиръ къ Гаврилѣ Михайловичу, и Филька не встрѣтилъ ни малѣйшаго затрудненія. Весь таборъ запѣлъ, заплясалъ, заговорилъ радостно на своемъ гортанномъ непонятномъ нарѣчіи, и вслѣдъ за Филькою таборъ прихлынулъ къ деревнѣ Гаврилы Михайловича. Это было какъ разъ наканунѣ великаго пира; а въ самый день его Гаврила Михайловичъ имѣлъ свое барское удовольствіе видѣть, что заповѣданное имъ число не умалилось, и триста нищихъ сидѣло на Христовой трапезѣ у него.

Говорить о гомерическихъ пропорціяхъ всего, что было съѣдено, выпито и пролито на великомъ пиру у Гаврилы Михайловича, покажется немножко баснословнымъ. Довольно сказать: четыре жареныхъ быка стояли по сторонамъ четыреугольнаго двора Гаврилы Михайловича, а посрединѣ возвышался помостъ, устланный красными кумачами, и на помостѣ стоялъ пятый быкъ, золотые рога и посеребренныя копыта. Вокругъ быка цѣлымъ стадомъ столпилось пятьдесятъ жареныхъ барановъ и восемь кормленныхъ кабановъ подняты были на заднія ноги и, разодѣтые въ шапки и въ длинные сѣремяжные кафтаны, подпоясанные поясами, они, на потѣху крещенаго міра, являли изъ себя пастуховъ и стерегли свое стадо, опершись на толстыя суковатыя палки. И это былъ еще не настоящій пиръ, а было оно только добавленіе къ пиру. Годовая дворянская пропорція вина, которую тогдашнее правительство дозволяло выкуривать владѣльцамъ, вся была выпита въ одинъ тотъ день у Гаврилы Михайловича и еще потребовалось добавленіе, кромѣ добавленій меду и пива, и еще другаго меду, извѣстнаго подъ именемъ «воронца,» самаго крѣпкаго и пьянаго питья, заповѣданнаго издревле русскому міру. «Пей и лей, душа, сколько хочь! Батюшка, Гаврила Михайловичъ всѣхъ жалуетъ себѣ на барскую честь, а вамъ на веселіе!» восклицали распорядители пира, ходя

между народомъ и перевязанные крестъ-на-крестъ длинными расшитыми полотенцами и помахивая краснымъ платкомъ въ рукахъ. «Пей и лей!» подхватывали сотни голосовъ, и медъ-пиво пилось, и вино лилось на честь-хвалу батюшкѣ Гаврилѣ Михайловичу и на веселіе разгулявшемуся русскому люду.

Въ одно время съ этимъ надворнымъ людскимъ пиромъ, въ домѣ у Гаврилы Михайловича шелъ его собственный барскій пиръ. И таковъ былъ этотъ пиръ, что многія молодыя барыни, ставши уже старыми старухами, по самый конецъ своей жизни все еще поминали о немъ и поставляли мѣриломъ всякаго выходящаго изъ ряду празднества. «Почитай какъ на великомъ пиру у Гаврилы Михайловича!» говорили въ величайшую похвалу. И самъ Гаврила Михайловичъ былъ чрезвычайно веселъ и доволенъ самъ собой и своими гостями на своемъ великомъ пиру. Усадивъ своихъ дѣтей, какъ виновниковъ празднества на первомъ почетномъ мѣстѣ, Гаврила Михайловичъ не садился за столъ и исполнялъ обязанность самаго внимательнаго и любезнаго хозяина, ходя вокругъ своихъ гостей и подчуя ихъ. Но хотя Гаврила Михайловичъ не садился за обѣденный столъ, а приборъ его оставался не занятымъ и когда, подъ конецъ стола, Гаврила Михайловичъ присѣлъ къ своему прибору и спросилъ себѣ непочатую стопу вина, гости всѣ поднялись съ своихъ мѣстъ и поклонились Гаврилѣ Михайловичу, желая ему здорово пить, здорово подчивать. И подчиванье началось.

Въ старину и не великій праздникъ не могъ оканчиваться однимъ днемъ; а великое пированье Гаврилы Михайловича продлилось вплоть до Покрова. И отпраздновавши подрядъ престольный праздникъ и годовщину похищенія Анны Гавриловны, на другой день, въ шумномъ и многолюдномъ сборѣ, какъ никогда, съѣзжала со двора охота Гаврилы Михайловича. За нею тянулись десятки гостиныхъ экипажей, позади ѣхала Анна Гавриловна съ нянъками, мамками и со своимъ сыномъ Гаврилой, и все это направлялось переѣздомъ въ главную вотчину Марка Петровича, отстоявшую, какъ гово-

рено было, верстъ на десять. Тамъ, дѣля время межъ охотою и пирами, между отъѣзжавшими и новоприбывавшими гостями, хозяева, такимъ образомъ, слѣдовали переѣздами изъ одной своей вотчины въ другую, давая вездѣ праздники людямъ, какъ этого непремѣнно требовалъ старинный обычай, чтобы молодые господа обдаривали подарками и деньгами дворовыхъ, и никогда не забывали привѣтить крестьянъ привѣтомъ ихъ барской хлѣбъ-соли. И только за три дня до Рождества Христова Гаврила Михайловичъ и его молодая семья воротились со своего вотчиннаго объѣзда и сѣли на домосѣдство въ ихъ обычномъ барскомъ жильѣ.

Но что же новаго оказалось въ этомъ новомъ гнѣздѣ, которое прикрывалъ своими крыльями такой старый и могучій кокошъ, какъ былъ Гаврила Михайловичъ? Новаго почти что ничего. Кто зналъ Гаврилу Михайловича только вдовцомъ, не выходившимъ изъ его кабинета, тотъ, конечно, не мало бы удивился, встрѣтя въ гостиной сѣдаго балагура, все съ тою же болтающеюся туфлею на ногѣ, который, однажды занявъ себѣ избранное мѣстечко, глядѣлъ оттуда показнымъ орломъ и, играючи, шутилъ шутку здоровымъ словомъ.

Зять Гаврилы Михайловича былъ едва ли не въ полтора побогаче тестя и онъ былъ принятъ къ тестю во дворъ, жилъ, что-называется, на хлѣбахъ у него. Очень любилъ на этотъ счетъ пошучивать Гаврила Михайловичъ.

— Слыхали ль вы, господа, про коня такого, спрашивалъ онъ:—что изъ рѣки воды не пьетъ, а въ колодезь копытомъ бьетъ?

— Слыхать-то не слыхали, а видать, можетъ-быть, и видали. Значитъ, хорошій конь, отвѣчалъ любимый собесѣдникъ Гаврилы Михайловича.—По рѣкѣ всякая дрянь идетъ; а изъ колодезя человѣкъ пьетъ, и хорошему коню того надобно.

И Гаврила Михайловичъ и Марка Петровичъ бывали очень довольны подобнымъ отвѣтомъ.

Но то, о чемъ говорилъ и по самую смерть свою не могъ вдосталь наговориться Гаврила Михайловичъ, это было разсказыванье объ обстоятельствахъ похищенія Анны Гавриловны.

— А ну, Марка, разсказывай, какъ ты кралъ? Какъ твоя мудрость перемудрила мою премудрость? спрашивалъ Гаврила Михайловичъ.

И Марка Петровичъ начиналъ разсказывать со всѣми мельчайшими подробностями. Какъ, ѣхавши съ пира, онъ уже положилъ на томъ: хоть огонь и воду пройдти, а Анну Гавриловну выкрасть! Десять разъ попасться, да хоть въ одиннадцатый — дать себя знать!

— Вишь ты какой въ батюшку роднаго зародился! замѣчалъ Гаврила Махайловичъ.

— Да и въ тестя-батюшку отлился, отвѣчалъ Марка Петровичъ.

— Ну, ну! разсказывай дѣло.

И Марка Петровичъ продолжалъ разсказывать свое дѣло:

— Что рано пробовать, все одно, что съ жару рвать: не наѣшься, только губы пожжешь. И потому онъ вовсе не хотѣлъ изъ самаго начала пробовать, и уѣхалъ въ Москву и въ Петербургъ на службу, чтобъ дать по себѣ и слѣду простыть, чтобъ всякая вѣсть о немъ запропала.

— И запропала, подтверждалъ Гаврила Михайловичъ.

— Вотъ какъ она запропала, говорилъ Марка Петровичъ: — а я, молодецъ, и явился тутъ днемъ съ огнемъ и вечеромъ безъ свѣту.

То-есть Марка Петровичъ явился съ чрезвычайною осторожностью. Уже въ имѣніе свое, находившееся верстъ за сто отъ Гаврилы Михайловича, онъ пріѣхалъ тайно; оставилъ тамъ коляску, лошадей, и, переодѣвшись въ мужицкое платье, онъ вдвоемъ, на повозкѣ, прикатилъ сюда. Да вѣдь куда? Въ старые кирпичные сараи, которые у Марка Пе-

тровича, запущенные и заброшенные, стояли за деревней подъ лѣсомъ. Отсюда Марка Петровичъ принялся за развѣдки, и увидѣлъ, что дѣло крѣпко. Гаврила Михайловичъ, какъ старый воробей, не поддается на мякину. И цѣлый сентябрь мѣсяцъ Марка Пертовичъ, въ армякѣ и въ мужицкой шапкѣ, прожилъ въ кирпичныхъ ямахъ. «Смерть тошно станетъ, говорилъ онъ. Валяюсь по соломѣ, какъ медвѣдь въ берлогѣ; да еще какъ вспомню, что желанная моя Анна Гавриловна пятый мѣсяцъ въ затворѣ сидитъ и самый свѣтъ ей дневной, почитай, черезъ глаза Насти Подбритой проходитъ, просто душа разрывается. Кажется бы, я желѣзныя ворота на себѣ вынесъ и одинъ на сто человѣкъ пошелъ, да—ба! И пойдешь да ничего не возьмешь. Ну, да уже крѣпись-некрѣпись старый волкъ на сторожѣ, говорилъ Марка Петровичъ въ лицо старому волку, а ужь на Покровъ будетъ въ заутренѣ Анна Гавриловна! Нельзя тому, чтобъ не быть.»

И въ этой совершенной увѣренности, Марка Петровичъ за три дня до Покрова, отправился тайно въ то свое имѣніе, куда онъ прибылъ изъ Петербурга. Осыпавъ золотомъ попа и дьякона, дьячка и самого пономаря, онъ предоставилъ имъ праздновать праздникъ Покрова, какъ они знаютъ; только послѣ обѣдни отслужить заздравный молебенъ, поминая Анну. Но чтобъ съ полуночи праздника и до обѣда другаго дня, попъ въ ризахъ и весь причетъ при немъ безъисходно были въ церкви! Чтобъ вѣнцы на налоѣ лежали, свѣчи горѣли и ни малѣйшей остановки чтобъ не могло къ вѣнчанію быть! Какъ только покажется въ церковь Марка Петровичъ, чтобъ попъ тотчасъ начиналъ, не дожидаясь приказа. Дальше Марка Петровичъ занялся распоряженіями въ своемъ барскомъ домѣ. Комнаты были отоплены, убраны; груды серебра вынесены изъ кладовыхъ; обѣдъ заказанъ свадебный. Старыя фрейлины, служившія матери Марка Петровича помолодѣли, суетясь и готовясь послужить новой своей, молодой барынѣ. Затѣмъ Марка Петровичъ назначилъ мѣста для подставочныхъ лошадей; велѣлъ извѣстными

путями и глухими деревнями быть къ нему въ кирпичные сараи половинчатой коляскѣ и бурымъ въ маслѣ. И за день до Покрова все было исполнено, какъ по писанному: лошади и люди, все находилось по своимъ мѣстамъ, и Марка Петровичъ подъ вечеръ прибылъ изъ города, условясь тамъ съ своимъ молочнымъ братомъ. Только что гораздо свечерѣло, любимый доѣзжачій Марка Петровича прошелся по барскому красному двору и свиснулъ онъ разъ; погодя немного, свиснулъ въ другой... Охотники, кто ужиналъ, кто съ бабой бранился, кто что бъ ни дѣлалъ, бросали ложки, утирались полой и, не добранившись съ бабой, по третьему свисту лѣзли, какъ сѣрые волки, вонъ изъ дверей. «Куда васъ нелегкая несетъ?» напрасно допрашивались бабы.—«Въ такую непогодь собаки не выгонишь изъ сѣней». Но охотники шли и шли, и, проходя по деревнѣ, еще свиснули разъ и другой. На молодецкій свистъ со многихъ сторонъ слышались отзывные посвисты, и человѣкъ болѣе полутораста нагрянуло къ кирпичнымъ сараямъ. «Ребята! молодую барыню добывать», объявилъ имъ Марка Петровичъ, и разсказалъ что̀ дѣлать и какъ дѣлать. Ребята рады бы были на ножи идти. На тройкахъ, верхами и пѣшкомъ, они съ разныхъ сторонъ наступили въ деревню Гаврилы Михайловича, и, по первому удару колокола къ заутренѣ, заняли свои мѣста въ церкви. Цѣлая улица ихъ, по два въ рядъ, сходила по всѣмъ ступенямъ церковнаго крыльца и смыкалась и разступалась, какъ они того хотѣли. Оттереть заднихъ провожатыхъ Анны Гавриловны было дѣло «крылечныхъ»; а «церковные» должны были повершить дѣло, и такъ ли, сякъ ли, а вырвать Анну Гавриловну изъ когтей Насти Подбритой и Софьи Мазаной. Первую даже велѣно было придушить немножко, еслибъ она не въ пору принялась горланить. Но все совершилось такъ быстро и ловко. Анна Гавриловна, мгновенно скрытая подъ армякомъ и мужицкою шапкою, была выведена изъ церкви, посажена на простую тройку, и уже Марка Петровичъ самъ схватилъ возжи въ

руки, когда Настя Подбритая еще металась по церкви, восклицая: «ахъ, батюшки! ахъ, родные мои!» и не могла высвободиться изъ живой сѣти сѣрыхъ мужиковъ, которые окружали ее со всѣхъ сторонъ.

— Стой! очень часто на этомъ мѣстѣ разсказа останавливалъ Гаврила Михайловичъ. Что ты нарядилъ мою дочь въ армякъ и въ мужицкую шапку, развѣ она тебѣ мужичка далась? Какъ ты смѣлъ, Марка, ее на простой телѣжкѣ везти?

— Э-э, батюшка! отвѣчалъ Марка Петровичъ. — Нужда измѣняетъ законъ. Да и Анна Гавриловна не гнѣвалась. А вамъ чего бы хотѣлось? Чтобъ я въ своей «половинчатой» да на моихъ бурыхъ явился къ вамъ? Не на такого напали, говорилъ Марка Петровичъ. Гдѣ — волчій ротъ, а гдѣ лисій хвостъ, мы, батюшка, этому уму-разуму учились. Бурые ждали насъ, да только верстъ на десять подальше отъ вашей деревни. А то, чтобъ я, очертя голову и съ бараньимъ мозгомъ во лбу, внесся къ вамъ въ середину деревни, пусть оно и ночь была; да бурые-то мои задали бы вамъ разсвѣту! говорилъ Марка Петровичъ. — Вся деревня бы всполохнулась, да и вамъ, батюшка, померещился бы вѣщій сонъ, какъ мои бурые о полночи заржали бы, загоготали на деревнѣ у васъ, и серебряныя-то цѣпи ихъ звякнули позвонче того, какъ у васъ въ било колотили ваши сторожи!

— Ну, дальше, произносилъ Гаврила Михайловичъ, убѣдившись что не было нанесено безчестье его дочери; а такъ оно по дѣлу приходилось, чтобъ ее на простой телѣжкѣ везти.

— А дальше еще вамъ хуже покажется, батюшка! сказывалъ Марка Петровичъ.—Едва мы успѣли въ коляску пересѣсть, увидѣлъ я на большой дорогѣ обозъ, и вижу, что хохлы съ обозомъ не отъ города, а къ городу идутъ. «Стой! говорю... Хохлы Максимовичи! снялъ я шапку, кланяюсь имъ. Вотъ такъ и такъ, говорю: укралъ дочь у отца, да боюсь погони. Дайте схорониться въ обозѣ у васъ; а отецъ пусть-себѣ догоняетъ вѣтра въ полѣ. Могарычъ мой, хохлы Максимовичи.»

— Только одинъ могарычъ? качалъ головою Гаврила Михайловичъ.

— Тамъ уже моя рука-владыка была, отвѣчалъ Марка Петровичъ.—Только какъ вамъ это, батюшка, покажется? Приступилъ я къ Аннѣ Гавриловнѣ. «Желанная моя, несравненная! говорю: потрудитесь, не погнѣвайтесь! Дайте я васъ въ обозѣ схороню.»

— Анна! звалъ къ себѣ передъ лицо дочь Гаврила Михайловичъ.... — И ты, позабывши, какого ты отца рожденіе, Анна, дала себя въ хохлацкомъ обозѣ захоронить! Своею ты вольною волею дала?

— Батюшка! нашли что̀ спрашивать? отвѣчала улыбаясь Анна Гавриловна. —Я себя самое не помнила, не знала день ли, ночь ли у меня въ глазахъ.... Вѣрно своею волею, когда полдня пролежала, какъ убитая, на куляхъ съ мукою, прикрытая сверху рогожей.

— Дѣвка! восклицалъ Гаврила Михайловичъ, ударяя по воздуху рукою. — Родится и умретъ дѣвкой! Ей ли у меня не житье было? Нѣтъ! ты сколь волка ни корми, а онъ все тебѣ въ лѣсъ глядитъ.

— И мы, батюшка, подтверждалъ Марка Петровичъ,—ничего столько не хотѣли, какъ поскорѣе добраться до лѣсу. И какъ добрались мы милостію Божіею, какъ моя карета тронула съ мѣста, и я увидѣлъ себя, что сижу съ Анною Гавриловной въ каретѣ, вотъ только когда у меня отъ сердца отлегло! Сталъ я на оба колѣна въ каретѣ, сѣрымъ мужикомъ передъ Анной Гавриловною стою, и только этимъ часомъ почалъ просить, чтобъ Анна Гавриловна простила мнѣ; отпустила, дала свою ручку поцѣловать, что я протомилъ ее: пять мѣсяцевъ не кралъ, и теперь, укравши, обезпокоилъ ее, мою желанную, ненаглядную!

— И чай Анна Гавриловна великаго гнѣву не положила на тебя? замѣчалъ Гаврила Михайловичъ.

— Про то мы знаемъ, батюшка, съ Анной Гавриловною, отвѣчалъ Марка Петровичъ.

— Ну, ну, дальше! улыбался старикъ.

И Марка Петровичъ смотрѣлъ на Гаврилу Михайловича и улыбался.

— Дальше мы летомъ перелетѣли, сказывалъ онъ.—Еще свѣтъ на зарю не занимался, гляжу я съ горы: вся въ огняхъ видна моя церковь. Пошелъ! крикнулъ я... И спасибо батюшкѣ-попу! говорилъ Марка Петровичъ.—Не успѣли мы на порогъ церкви стать, какъ уже онъ на встрѣчу намъ: «гряди, гряди, невѣста!...»

— И какъ былъ мужикомъ, такъ ты и подъ вѣнецъ сталъ сивымъ мужикомъ? не скрывалъ своего изумленія Гаврила Михайловичъ. — Ну, счастливъ ты, братъ, что я не дѣвка, говорилъ онъ: — что моя дочь не въ отца пошла: она бы тебя, мужика сиваго, не поцѣловала!

Марка Петровичъ чрезвычайно весело смѣялся и приводилъ пословицу: полюби меня вчернѣ, а вбѣлѣ-то меня всякъ полюбитъ.

— За то какимъ я щеголемъ явился къ Аннѣ Гавриловнѣ послѣ вѣнца, вы спросите, батюшка! въ утѣшеніе Гаврилѣ Михайловичу сказывалъ Марка Петровичъ.—Хоть бы и вы, такъ запѣли бы мнѣ пѣсню:

У него ль кудри,
Кудри русыя,
Порасчесаны,
Разбумажены,
По плечамъ лежатъ,
Полюбить велятъ!

— Да гдѣ жь они *русыя*-то у тебя? спрашивалъ Гаврила Михайловичъ.

— Батюшка! вступалась Анна Гавриловна: —еще лучше, чѣмъ *русыя*, коли онѣ какъ смоль черныя.

— Ну, бабій толкъ! замѣчалъ отецъ.

Но съ окончаніемъ разсказа не все оканчивалось для Гаврилы Михайловича. Онъ входилъ въ разсужденія и въ пред-

положенія, что если бы вотъ *такъ* оно было, не вышло бы оно *этакъ*.

— Не повстрѣчайся хохлацкій безмозглый обозъ, не укралъ бы ты, Марка, дочь у меня. А теперь хоть ты и укралъ, да смѣхъ курамъ сказать: на волахъ ты жену себѣ кралъ!

— А вы и на лошадяхъ гнали да не догнали.

— Что?.. почти съ мѣста поднимался Гаврила Михайловичъ.—Коли бъ ты честно, на открытую руку кралъ, такъ я бы тебя догналъ и хорошаго тебѣ перцу задалъ!

— У Марка Петровича тоже загорались глаза.

— Коли правду говорить, такъ вамъ, батюшка, самимъ придется перецъ кушать, говорилъ онъ.

Но Анна Гавриловна, обыкновенно зорко слѣдившая за докончаньемъ разсказа о своемъ похищеніи, умѣла найдти способъ быть именно, какъ говорится въ поговоркѣ, «мужъ съ огнемъ, а жена съ водою,» хотя Аннѣ Гавриловнѣ предстоялъ вдвойнѣ трудъ запасаться водой и для отца и для мужа. Но Анна Гавриловна умѣла самыя простыя средства до того разнообразить и предлагать то отцу, то мужу, что мужъ и отецъ, какъ два рьяные пѣтуха и совсѣмъ нахлобучившись, чтобы подраться, никогда не могли сцѣпиться.

Впрочемъ, надобно сказать, что приведенный примѣръ пѣтушиной драки былъ единственный, бросавшій искры между отцомъ и сыномъ. А кромѣ того, зять и тесть не знали, что̀ такое ссора. «Ты мой, Марка, а я твой на вѣки вѣчные», какъ сказалъ Гаврила Михайловичъ, такъ оно и исполнялось на самомъ дѣлѣ. Въ простой открытой любви отца къ сыну, у Гаврилы Михайловича проявлялась, можетъ-быть, недовѣдомо ему самому, какая-то уважительная нѣжность къ Марку Петровичу, которая давала себя слышать въ самомъ голосѣ, какимъ Гаврила Михайловичъ произносилъ: «Марка, сынъ мой!» Но что̀ неразрывнѣе всего соединяло отца съ сыномъ, это была та крѣпкая связь двухъ

людей между собою, когда глубокая нѣжность одного и вся сила любви другаго покоятся на одномъ и томъ же предметѣ.

И этимъ предметомъ была Анна Гавриловна.

Вынося на себѣ всю глубину отцовской нѣжности и одаренная всею полнотою любви своего мужа, Анна Гавриловна, кажется, должна бы была покопиться на розахъ; а между тѣмъ за Анною Гавриловной покоился мужъ и отецъ. Съ дѣтства пріучаемая къ обязанностямъ своего барскаго хозяйства, она выросла въ нихъ, не замѣчая, что это могло быть бременемъ. Для наслѣдницы столбоваго дворянства и старинаго Русскаго барства не могло быть бременемъ то, что дѣлало Анну Гавриловну настоящею Русскою барынею и полновластною госпожею, не смотря на ея шестнадцать лѣтъ. И потому очень понятно, съ какимъ новымъ рвеніемъ Анна Гавриловна вступила въ привычный кругъ ея барскихъ распоряженій, когда этотъ кругъ еще шире передъ нею раздвинулся. Имѣнія отца и мужа слились подъ одно общее управленіе, и обоимъ имъ Анна Гавриловна была одною полною, самостоятельною хозяйкой. Марка Петровичъ до женитьбы мало занимался хозяйствомъ, а послѣ женитьбы, вышедши въ отставку и поселясь у тестя, онъ такъ былъ гордъ своею молодою женой и такъ искалъ выказать передъ всѣми эту свою гордость, что когда къ Марку Петровичу относились съ чѣмъ-нибудь, даже совершенно принадлежавшимъ къ его мужскому хозяйству, онъ и тогда отвѣчалъ: «Этого я не знаю. Это какъ хозяйка знаетъ.» И не прошло полныхъ пяти-шести лѣтъ отъ замужства Анны Гавриловны, какъ въ огромныхъ имѣніяхъ ея отца и мужа, и въ домѣ, въ которомъ было двое мущинъ, была надо всѣмъ одна хозяйка-женщина. «И, мой голубчикъ дорогой! говорила первоначально Анна Гавриловна, когда еще Марка Петровичъ думалъ иногда самъ поѣхать похозяйничать. — Чего ты, мой свѣтъ, поѣдешь? Я это дѣло лучше тебя знаю. Мнѣ не привыкать стать; а тебѣ по что, мой свѣтъ дорогой,

маяться?» И Марка Петровичъ тѣмъ скорѣе соглашался съ доброю волей Анны Гавриловны, что въ послѣдній пріѣздъ изъ Москвы онъ навезъ съ собою большіе короба книгъ и прилежно читалъ ихъ. Но Гаврила Михайловичъ былъ такой человѣкъ, который умѣлъ крѣпко держать въ рукахъ все, что относилось къ его барской власти, и передать свое управленіе имѣніемъ дочери, ему и въ умъ этого не приходило. Но какъ дочь нечувствительно стала завѣдывать всѣмъ полнымъ хозяйствомъ мужа, и какъ это хозяйство, въ общемъ, соприкасалось съ частными распоряженіями Гаврилы Михайловича, то, сдѣлавъ эти распоряженія, онъ своимъ словомъ приказывалъ старостѣ: «Поди-молъ, Ефремъ, къ Аннѣ Гавриловнѣ. Что она еще, сударыня, скажетъ?» И привычка этихъ хозяйственныхъ отношеній къ дочери, все больше и больше укореняясь, наконецъ разцвѣла въ полномъ чувствѣ отцовской гордости и сознаваемомъ достоинствѣ видѣть свою молодую дочь—едва двадцати-пятилѣтнюю женщину и стоящую такъ высоко въ ея умѣньи знать все и распорядиться всѣмъ, какъ другія хозяйки и въ двадцать пять лѣтъ замужства не выучивались! Гаврила Михайловичъ, незамѣтно для него самого, не только съ любовію и съ нѣжностію обращался къ Аннѣ Гавриловнѣ; онъ сталъ обращаться къ ней съ уваженіемъ. «Дочка моя, Анна Гавриловна», иначе не называлъ, какъ полнымъ именемъ, Гаврила Михайловичъ.

И когда Анна Гавриловна, обыкновенно вставъ до зари, обойдя и объѣздя поля и работы, побывавши за десять верстъ въ имѣніи мужа, наконецъ около девяти часовъ утра возвращалась къ дому и, побѣждаемая усталостію, склонялась ко сну и засыпала, — что дѣлали мужъ и отецъ? Они ходили на цыпочкахъ. Гаврила Михайловичъ даже снималъ свои туфли, чтобы не шаркать ими. «Тише, сыны! мать наша пріуснула», тихо наказывалъ пальцемъ Марка Петровичъ и садился въ дѣтской комнатѣ съ книгою, чтобы дѣти не шумѣли. Домъ весь погружался въ какое-то сладкое онѣ-

мѣніе. Няня, пока жива была, садилась на скамеечкѣ у дверей спальни, гдѣ почивала Анна Гавриловна, и берегла сонъ своей питомицы, какъ нѣкогда берегла его, когда та была еще малымъ ребенкомъ. Пріѣзжали гости, и первое слово, которымъ встрѣчалъ ихъ лакей, отворя двери: «матушка, Анна Гавриловна, изволятъ быть пріуснувши», тихо докладывалъ онъ. Гости входили осторожно, чтобы не зашумѣть, не стукнуть чѣмъ, и на порогѣ своего кабинета, подаваясь въ залу, встрѣчалъ ихъ высокій старикъ, въ шлафоркѣ и безъ туфель. «Просимъ милости вашей, не погнѣвайтесь! говорилъ онъ почти шепотомъ. Хозяюшка наша, дочка моя Анна Гавриловна, пріуснула.» И не то, чтобы Анна Гавриловна малѣйше требовала такихъ заботъ и попеченій о своемъ снѣ. Совершенно нѣтъ. Она почти не знала о нихъ. Неутомимо-дѣятельная, свѣжая, здоровая, она, прохлопотавъ пять и шесть часовъ на воздухѣ, засыпала такимъ крѣпкимъ здоровымъ сномъ, что можно было играть хоть на трубахъ чуть не у самаго ея изголовья и почти не потревожитъ ея.

Обыкновенно, заснувъ не болѣе часа, Анна Гавриловна весело просыпалась, и это былъ именно сказочный мигъ, когда все, дремавшее въ непробудномъ снѣ очарованно спящей красавицы, мгновенно вмѣстѣ съ нею просыпалось и начинало ходить и говорить, и одинъ передъ другимъ поспѣшая, всякій принимался за свое дѣло. «Проснулась! Анна Гавриловна проснулась!» переходило изъ комнаты въ комнату. «Проснулась?» спрашивалъ Марка Петровичъ, закрывая книгу. «Мать наша, дѣти, проснулась, говорилъ онъ. Пойдемъ къ матери.» Между тѣмъ радостная вѣсть успѣвала достигнуть и до кабинета Гаврилы Михайловича. Гаврила Михайловичъ вступалъ въ свои туфли и почти въ то же самое время, какъ въ одну дверь входилъ Марка Петровичъ съ дѣтьми, въ другую дверь изъ гостиной, широко распахнувъ ее, вводилъ Гаврила Михайловичъ гостей къ дочкѣ своей, Аннѣ Гавриловнѣ.

Анна Гавриловна, въ пудромантелѣ, сидѣла передъ туалетомъ, и Аверкій Саввичъ, самъ напудренный, въ косѣ и въ пукляхъ, въ чистѣйшемъ бѣломъ передникѣ, приступалъ къ чесанію волосъ. И это былъ едва ли не самый пріятный, почти царственный часъ изъ цѣлаго дня Анны Гавриловны. Только-что возставъ отъ освѣжительнаго, крѣпкаго сна, умытая студеною водой, свѣжая, прекрасная, съ блистающими веселыми глазами, Анна Гавриловна, казалось, вдвойнѣ царила надъ собравшимся вокругъ нея обществомъ веселыхъ гостей, отца, мужа, дѣтей ея, царила Анна Гавриловна и своимъ живымъ лицомъ, и своимъ отраженьемъ въ свѣтломъ зеркалѣ, которое оттуда улыбалось всѣмъ. Попросивъ отца подъ какимъ-нибудь предлогомъ удалиться, Анна Гавриловна, съ веселою безцеремонностію замужней и молодой прекрасной женщины екатерининскихъ временъ, обращалась къ другимъ мущинамъ и спрашивала свѣтовъ дорогихъ. «Развѣ они думаютъ, что она, почитай, при нихъ юбки надѣвать станетъ? Чего они сидятъ, когда чесаніе волосъ кончилось?» Затѣмъ Анна Гавриловна движеніемъ руки выпроваживала всѣхъ за дверь, и когда Марка Петровичъ, въ томъ же счету, выходилъ со всѣми, Анна Гавриловна громкою веселою шуткою ворочала его, и почти часъ до самаго обѣда проходилъ въ томъ, что Анна Гавриловна передавала мужу, что и что сдѣлано по хозяйству, какіе она порядки и безпорядки нашла, что видѣла... Словомъ, все, о чемъ хорошая хозяйка находитъ нужнымъ передать мужу и хозяину.

Послѣ чего дверь передъ Анною Гавриловною широко распахивалась, и Анна Гавриловна, величавая какъ лебедь на тихой водѣ, въ полномъ туалетѣ, котораго богатство и дорогой блескъ вполнѣ отвѣчали барству и достоинству дочери Гаврилы Михайловича и жены Марка Петровича, входила въ гостиную къ своимъ гостямъ. Говорили, что Анна Гавриловна какъ взглянетъ, словно рублемъ подаритъ, и она какъ серебряными рублями дарила и сыпала, обдѣляя всѣхъ и не за-

бывая никого ея щедрою хозяйскою лаской и привѣтнымъ словомъ, отъ котораго сладко было тому, кто слышалъ его. «Вотъ хозяйка, такъ хозяйка! Надѣлилъ Господь Марка Петровича по разуму его,» говорили всѣ и каждый. И въ самомъ дѣлѣ Анна Гавриловна была удивительною хозяйкою. Ни одна ея поѣздка въ Москву не обходилась безъ того, чтобъ она не нашла тамъ и не отыскала чего-нибудь необходимонужнаго и полезнаго, и не позаимствовала бы его. Анна Гавриловна завела всѣ ремесла по своимъ имѣніямъ: отъ кузнеца до золотаря, отъ плотника до каретника. Задумала строить церковь и отдала учиться рѣщиковъ и иконописцевъ; въ пѣвческую къ митрополиту помѣстила учиться регента для своихъ пѣвчихъ. Анна Гавриловна первая завела у себя въ имѣніяхъ прялки. Сама, на верху своей кареты, привезла изъ Тулы двѣ прялки, это величайшее благодѣяніе для простой женщины, которая своими пальцами и веретеномъ должна все вырабатывать для себя и для своей семьи. Сейчасъ Анна Гавриловна призвала лучшаго токаря и лучшаго столяра; съ обѣщаніемъ награды, отдала имъ на руки одну прялку; сказала имъ, чтобъ они осмотрѣли ее, разобрали, дѣлали, какъ знаютъ: но чтобъ Аннѣ Гавриловнѣ представлена была точно такая сдѣланная прялка. Во времена Анны Гавриловны, въ Москвѣ (вѣроятно, полагая первую основу нынѣшнимъ знаменитымъ ситцевымъ фабрикамъ) выдѣлывались лощеныя выбоечки: по льняной жиденькой холстинѣ разсыпался желтый и красный горошекъ иногда по бѣлому полю, а иногда по синему и коричневому. Что же? Анна Гавриловна и эти выбоечки переняла у Москвы. Съ понятною гордостію хозяйки она водила своихъ гостей въ ткацкую показать имъ, какими ярко-подобранными радужными полосами ткались у нея шерстяныя юбки для дворовыхъ чернорабочихъ бабъ и дѣвокъ. И уже давно умерла Анна Гавриловна; имѣнія ея перешли во вторыя и третьи руки; а эти радужныя юбки остались въ нихъ, и отличное крашеніе шер-

сти, введенное Анною Гавриловною, образовало родъ торговаго производства. Досужія бабы цѣлыми семьями ткутъ высшаго сорта пестрые мужицкіе пояса и сбываютъ ихъ тысячъ на десять серебромъ, и болѣе. Такова была русская барская хозяйка Анна Гавриловна.

А между тѣмъ былъ Михайловъ день...

День этотъ былъ днемъ Ангела отца Гаврилы Михайловича, и каждогодно праздновался этотъ день поминальнымъ обѣдомъ. Обыкновенно и духовные, которыхъ бывало не мало, и свѣтскіе люди въ одинъ голосъ говорили: «что Гаврила Михайловичъ, дай Богъ здоровья ему, хорошо поминаетъ родителя.» И на этотъ разъ, о которомъ говорю я, тоже не худо помянулъ родителя Гаврила Михайловичъ. Встали изъ-за стола: но за «царство» горячая варенуха продолжала разноситься въ чашкахъ, «душепарочка», какъ въ шутливую ласку называлъ ее Гаврила Михайловичъ и приглашалъ гостей попарить душки. «Да что, сударь мой, Гаврила Михайловичъ! отвѣчалъ любимый собесѣдникъ. Душа не того меду проситъ.»—А какого же твоя душа изволитъ? «А такого, батюшка, чтобы въ голову вступало и до сердца пронимало... А ну, матушка Анна Гавриловна? вели *трушья наломать*,» обратился собесѣдникъ съ просьбою къ Аннѣ Гавриловнѣ. Анна Гавриловна вняла просьбѣ и велѣла сѣннымъ дѣвушкамъ появиться въ дверяхъ залы. «Трушье, дѣвушки, трушье!» прихлопывалъ въ ладони и заранѣе приплясывалъ веселый собесѣдникъ. И дѣвушки запѣли *трушье*.

Велѣла мнѣ матушка,
Велѣла сударыня
Трушья наломать,
Трушья наломать.

А я, моя матушка,
А я, государыня,
Наломала, наломала,
Наломала молода!

И далѣе: *киселя наварить, гостей созывать и гостей подчивати...*

И едва ли чѣмъ-либо лучшимъ, послѣ всякого другаго подчиванія, можно было до конца уподчивать гостей, какъ не этою пѣснею. Она была до того плясучая, до того живозабирающая за все, что̀ было живаго въ русскомъ баринѣ, что собесѣдникъ Гаврилы Михайловича со споромъ увѣрялъ всѣхъ:

— Только, помилуй Богъ, этого нельзя! А коли бъ его можно было: пропой *трушье* надъ мертвецомъ, что̀ въ гробу лежитъ, и мертвецъ бы всталъ! «Живъ, молодецъ, не умеръ!» вотъ бы вамъ словомъ сказалъ!

Но слово словомъ, а дѣло дѣломъ. Къ хору сѣнныхъ дѣвушекъ всечасно подбывали то та, то другая изъ дворовыхъ бабъ и дѣвокъ, которыя особенно славились хорошими голосами. И скоро хоръ въ тридцать слишкомъ голосовъ загремѣлъ, какъ кованыя трубы; явился хоръ пѣсенниковъ, и пошелъ пиръ разливаннымъ моремъ.

— Стой! выхватился одинъ изъ гостей...

На средину залы явилась Анна Гавриловна. Желая своимъ примѣромъ, какъ хозяйка, поощрить общую веселость гостей, она появилась переодѣтою. Вмѣсто коротенькой паневки которую такъ любила въ дѣвкахъ Анна Гавриловна, на ней былъ алый штофный сарафанъ, спереди и внизу по подолу выложенный серебряною сѣтью и серебрянымъ позументомъ; еще пониже позумента пристегнуты были гремучіе серебряные колокольчики. Свои пудреные волосы Анна Гавриловна подобрала подъ шитую золотомъ сороку, и чего не вмѣщала она, то прикрывалъ низанный подзатылень и извѣстные махры шелкомъ накищенныхъ сзади снурковъ. Дорогой персидскій поясъ, по узору затканный суценымъ золотомъ, спускался напереди концами и бахрамой, и въ такомъ нарядѣ Анна Гавриловна выступила посереди залы. Всѣ пѣсни и голоса замолкли. Какъ ни тихо и плавно она ступала, но ея

серебряные гремучіе колокольчики встряхивались по слѣду и вызванивали. Анна Гавриловна прошлась немного и запѣла, медленно одушевляясь:

Колокольчики мои бряцнули,
А бубенчики мои звяцнули,
Колокольчики мои бьютъ, гудутъ;
А бубенчики сами въ плясъ идутъ...

И подъ ладъ своимъ гремучимъ колокольчикамъ, Анна Гавриловна звонко ударила въ ладони, повела бѣлыми руками, и этимъ движеніемъ вызвала любимаго собесѣдника Гаврилы Михайловича на плясъ съ ней идти. Хоръ пѣсенниковъ и хоръ сѣнныхъ дѣвушекъ слился вмѣстѣ и грянулъ плавную плясовую:

Ой, по сѣнямъ-сѣнюшкамъ,
По новымъ, стекольчатымъ,
Тамъ ходила погуливала
Молодая боярыня.
Молодая, хорошая,
Она будила-побуживала
Своего друга милаго,
Своего друга сердечнаго.
«Ты устань, мой милый другъ!
Пробудися, надежа моя!
Оторвался твой воронъ конь
Отъ столба точенаго,
Отъ кольца злаченаго.
Узыгрался твой воронъ конь
То съ горы, то на гору,
То по бѣломъ каменю.
Поломалъ плетневый тынъ,
Потопталъ зеленый садъ,
Вишенье, орѣшенье,
Калину и малину,
Черную смородину.
— Не печалься, умная!
Не тужи, разумная...

Анна Гавриловна, живо расплясавшаяся съ своимъ отличнымъ плясуномъ, остановилась здѣсь, вопреки всѣхъ узако-

неній, никакъ не дозволявшихъ и думать о томъ, чтобъ окончить пляску прежде конца пѣсни. «Не тужи и ты, кумъ! повела руками Анна Гавриловна. Споможетъ Богъ, допляшу въ другой разъ; а теперь не время мое, несчастье твое», сказала словами пѣсни Анна Гавриловна и вышла.

Марка Петровичъ посидѣлъ, посмотрѣлъ вслѣдъ вышедшей Анны Гавриловны и себѣ вышелъ, и уже не возвращался болѣе. Гаврила Михайловичъ тоже посмотрѣлъ-посмотрѣлъ, поискалъ глазами вокругъ и, не видя ни зятя, ни дочери, тоже всталъ и вышелъ. Безъ хозяевъ и пиръ занѣмѣлъ. Въ хорѣ между сѣнныхъ дѣвушекъ слышался тревожный шопотъ. Многія дамы начинали припоминать обстоятельства и догадываться; одни мущины удивлялись: почему Анна Гавриловна назвала собесѣдника кумомъ? когда всѣмъ извѣстно что они въ кумовствѣ межъ собою не были...

Но разрѣшая всѣ догадки и недоумѣнія, въ дверяхъ залы показался Гаврила Михайловичъ, очень встревоженный и, начиная говорить, онъ перекрестился: «Не положите вины на насъ, гости наши дорогіе. Подоспѣлъ часъ воли Господней, великій часъ живота и смерти... Дочка моя, Анна Гавриловна,—началъ Гаврила Михайловичъ и не кончилъ... Чѣмъ насъ Господь порѣшитъ, у Святой Богородицѣ знаемо». Во всю свою широкую грудь опять перекрестился могучій старикъ, одолѣваемый сокрушеніемъ тоски и неизвѣстности ожидаемаго исхода. Гости хорошо поняли, что теперь ни хозяйкѣ, ни хозяевамъ не до нихъ было, и съ самыми искренними пожеланіями добра и молитвами спѣшили разъѣхаться. Но время было осеннее, дорога тяжелая и къ тому же совсѣмъ темный вечеръ. Пока собрались, пока выѣхали; не успѣли трехъ верстъ отъѣхать, какъ скачутъ гонцы отъ Гаврилы Михайловича, отъ Марка Петровича, отъ сударыни Анны Гавриловны, и просятъ гостей честнымъ словомъ и великимъ прошеніемъ, чтобъ изволили гости воротиться. Гости не заставили себя долго просить, и всѣ возвратились. Входятъ

они въ залу, а посреди залы стоитъ Анна Гавриловна въ томъ самомъ нарядѣ, какъ она плясала, и держитъ въ рукахъ серебряный подносъ; а Марка Петровичъ, рядомъ съ нею, наливаетъ въ серебряную стопу вино... То есть совершенно такъ, какъ чинъ повелѣваетъ: жена подноситъ, мужъ подчуетъ.

— Гости наши милые, гости наши дорогіе, любимые! начала, кланяясь, Анна Гавриловна.—Не взыщите на такомъ часѣ, что мы васъ привѣтомъ не привѣтили, а безпокойствомъ обезпокоили.

— Поздравьте батюшку со внукомъ, продолжалъ Марка Петровичъ:—а насъ съ сыномъ, съ четвертымъ угломъ въ дому... Четыре сына и самъ въ силѣ! въ радости и въ отцовскомъ удовольствіи говорилъ Марка Петровичъ, широко обнимаясь и цѣлуясь за поздравленіями.

Когда они окончились, и всѣ гости изъ рукъ отца и матери выпили за здоровье новорожденнаго, Анна Гавриловна отдала мужу серебряный подносъ; а сама обратилась къ своему названному куму:

— А что же, кумъ? сказала она вѣдь наша пѣсенка не допѣтая. А ну-те вы, сѣнныя красныя дѣвушки! допойте намъ, ударила три раза въ ладони Анна Гавриловна, и, по этому призывному звуку, сѣнныя дѣвушки появились въ дверяхъ...— Пойдемъ, кумъ! На починъ моему и твоему сыну не бросимъ концовъ.—И Анна Гавриловна, звеня своими серебряными колокольчиками, пощелкивая и поводя руками, прошлась съ нимъ подъ конецъ пѣсни.

— Не печалься, умная,
Не тужи, разумная!
Заплету плетневый тынъ,
Насажу зеленый садъ,
Вишенье, орѣшенье,
Калину и малину,
Черную смородину.

Окончивши, Анна Гавриловна обнялась и поцѣловалась съ своимъ будущимъ кумомъ, поклонилась на всѣ стороны гостямъ и разсталась съ ними. Гости, затворивши наглухо двери, остались въ залѣ пировать до бѣлаго дня, чтобы новорожденный былъ не сонливый и не дремливый; а Анна Гавриловна легла въ парадно-убранную постель, не столько по собственному желанію, сколько по убѣжденію и настоянію няни и всѣхъ важныхъ лицъ, которыя всѣ заодно боялись, чтобъ Анну Гавриловну не сглазили.

Какъ водится, новорожденнаго окрестили въ девятый день, и онъ сталъ неизреченною утѣхою дѣда.

— Малъ да удалъ! бралъ его къ себѣ на колѣна Гаврила Михайловичъ и прозвалъ внука *поспѣшнымъ*. — Вишь ты поспѣшной какой! говорилъ онъ.—Не далъ матери и пѣсни допѣть. И по этому случаю Гаврила Михайловичъ самъ начиналъ припѣвать внуку пѣсню:

Меня мати плясучи родила,
А бабушка бѣгучи повила;
Кумъ былъ кампанейщикъ молодой,
Кума была винокурова жена...
Ай ти-ли-ли калинка моя,
Въ саду ягода малинка моя!

Высоко поднималъ внука Гаврила Михайловичъ и поворачивалъ его на рукѣ.

И этотъ внукъ, этотъ *поспѣшный*, какъ дѣдъ называлъ его, былъ не кто другой, какъ Ѳедоръ Марковичъ, тотъ самый сынъ, у котораго доживала свой замедлившійся вѣкъ Анна Гавриловна. Прошла сила, прошла дѣятельность; синіе снурочки съ рогулечкою и сѣрый котикъ Анны Гавриловны стали ея ближнею заботой и попеченіемъ. Но когда все, что было ея, умирало вокругъ нея, сердце Анны Гавриловны жило. Исполняясь благодушіемъ старости, оно вызвало эту чудную улыбку на поблекшія уста и расцвѣтило ихъ плѣнительнѣе и благоуханнѣе самой свѣжей розы. Оно

одно, это благодушіе въ простотѣ мудраго сердца, не думано, не гадано, перенесло Анну Гавриловну изъ ея забытой, пережитой среды во всевоскрешающую жизнь свѣтлаго искусства, и все то же благодушное простое сердце дало Аннѣ Гавриловнѣ силу ея простой животворной вѣры, и дало ей тихую благодать заснуть вѣчнымъ сномъ, какъ засыпаютъ усталыя дѣти.

СТАРИНА.

СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ.

СТАРИНА.

СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ,

Но прежде нежели начать разсказъ, надобно опредѣлить нѣсколько положеній въ отношеніи его. Что именно онъ можетъ представить? За что онъ отвѣчаетъ и кромѣ чего не беретъ на себя удовлетворенія никакимъ требованіямъ. Повторяю: разсказъ мой есть семейная память о старинѣ, о лицахъ дѣдушекъ, бабушекъ, не исключая и тѣхъ мѣстныхъ происшествій, которыя были на столько важны, чтобъ сохраниться имъ по памяти до нашихъ временъ; но ожидать отъ меня, что, коснувшись одного, я потому должна была говорить и о другомъ—это напрасное ожиданіе. *Далѣе собственно страницъ моего разсказа я ни за что и ни въ какомъ отношеніи не отвѣчаю.* И потомъ, чтобъ поступить, какъ долгъ велитъ въ добросовѣстномъ дѣлѣ, я укажу на тѣ источники, на тѣ живыя, дорогія мнѣ лѣтописи, откуда я почерпаю мои свѣдѣнія: это—мать моя и тётушка, старушки за шестьдесятъ лѣтъ и которыя имѣютъ то важное преимущество, что одна изъ нихъ до самаго замужства жила и воспитывалась въ домѣ бабки съ материнской стороны; а другая—у другой бабки съ отцовой стороны. Одна находилась въ срединѣ быта чисто-русскихъ стародавнихъ помѣщиковъ; а другая жила болѣе новою, смѣшанной жизнію тѣхъ пограничныхъ степныхъ

городковъ, заселенныхъ русскими и черкасскими казаками, которые городки, до указа о губерніяхъ, сохраняли свое войсковое управленіе, и даже въ окрестностяхъ ихъ малороссійскіе крестьяне пользовались правомъ свободнаго перехода еще въ царствованіе государыни Екатерины Второй. Мои объясненія не идутъ далѣе; я не хочу много распространяться и только прошу иногда припомнить что

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ.

I.

Самыя старыя преданія.

Чего не было въ моемъ роду? И татарскаго, польскаго, литовскаго, чисто-русскаго, малороссійскаго, только — ничего нѣмецкаго.

Со стороны моего отца я не имѣю никакихъ преданій кромѣ того единственнаго, что дѣдъ, заднѣпровскій черниговецъ, женатый на благородной полькѣ изъ хорошей фамиліи, маетности которой отошли въ теперешнія владѣнія Пруссіи, прогулялъ показацки триста душъ, бросилъ жену и малолѣтныхъ шестерыхъ дѣтей и бѣжалъ въ Запорожье, гдѣ и пропалъ безъ-вѣсти.

Но со стороны матушки мы ведемъ довольно-далеко свой родъ и довольно-знаменито, именно: относимъ его, по женскому колѣну, къ князю Константину Острожскому, по-крайней-мѣрѣ, такъ говорятъ наши фамильныя преданія. У знаменитаго князя былъ любимецъ его, воспитанникъ, «годованецъ-коханецъ», сирота, сынъ кого-то изъ ратныхъ товарищей князя. Росъ онъ и выросъ въ княжеской семьѣ и до

того привыкли видѣть въ немъ «коханца» сильнаго князя, что, забывая объ отцовскомъ имени, стали прозывать его, *Кохановскимъ*. Затѣмъ преданіе говоритъ неутвердительно: сестра или дочь князя Константина, Марія, полюбила его коханца и, вопреки волѣ сильныхъ родныхъ, вышла за него замужъ. Но не долго она была въ супружествѣ: Кохановскій былъ убитъ на войнѣ, а тогда войнъ было достаточно, чтобъ давнему преданію запомнить, на какой именно войнѣ, Только Марія, пораженная смертью мужа, принесла своего двухлѣтняго сына къ кіевскому митрополиту и положила ему дитя на полу его святительской мантіи. Этимъ она какъ-бы духовно вручила, усыновила своего сына митрополиту и сама удалилась во Фроловскій женскій монастырь, мѣсто исторически-извѣстное, гдѣ постригались особы знатныхъ родовъ. Такимъ-образомъ сынъ Маріи воспитанъ, взросъ при митрополитѣ и посвященъ былъ въ духовное званіе. Горестная ли судьба матери примирила его съ высокими его родственниками, или, очень-вѣроятно, въ томъ участвовали и старанія митрополита, только преданіе положительно говоритъ, что онъ былъ замковымъ священникомъ въ Великомъ-Острогѣ. Затѣмъ, приблизительно, цѣлое столѣтіе проходитъ въ совершенномъ молчаніи нашихъ семейныхъ хроникъ и потомъ мы неожиданно встрѣчаемъ своихъ родичей уже не въ Острогѣ, и не въ Кіевѣ а въ малороссійскомъ мѣстечкѣ Лохвицѣ (уѣздный городъ Полтавской губерніи), и опять при печальной катастрофѣ, поражающей главу рода. «Константинъ Ивановъ сынъ Кохановскій (значится въ памятной выметкѣ моего прадѣда) чиномъ былъ полковый обозный, правилъ должность полковничью; убитъ при сраженіи съ ляхами въ 1649 году»,—и опять жена его Марья и двухлѣтній сынъ Климентъ.

Извѣстно бѣдственное положеніе Малороссіи около этого времени. Годъ ея присоединенія къ Россіи былъ недалекъ, но болѣе чѣмъ вѣроятно, что всеобщему торжественному дѣйствію цѣлой страны предшествовали частные примѣры

выселеній, были выходцы, искавшіе въ единовѣрческой Руси если не лучшей гражданственности, то бо̀льшаго спокойствія и выше всего цѣнимаго блага—свободы своему незапозоренному жидами и уніею чувству православія. Такимъ примѣромъ была наша прапращурка Марья, во главѣ другихъ отраслей Кохановскаго рода. Потерявъ въ мужѣ естественнаго сильнаго защитника и покровителя, бывшаго необходимымъ въ тѣ бѣдственныя времена, Марья съ своимъ малолѣтнымъ сыномъ на другой же годъ послѣ смерти мужа покинула несчастную родину и изъ Лохвицы выселилась на ближайшій рубежъ русской Украйны къ «красному городу» Корочѣ.

Кажется, у насъ нѣтъ еще отдѣльныхъ историческихъ изысканій о линіи тѣхъ пограничныхъ казацкихъ городковъ, стерегшихъ на югѣ степь, которая въ XVI и XVII столѣтіяхъ, и даже за бо̀льшую половину XVIII, была открытой дорогою для хищническаго налета татаръ, для наброда всякихъ людей, мыкавшихъ свою долю и волю по широкому полю. Эти войсковыя сторожки, изъ которыхъ многія давно стали зажиточными слободами и селами, сохраняютъ и доднесь, на языкѣ окрестныхъ жителей, свое первоначальное историческое значеніе—зовутся *городами*, и теперь еще замѣтны по своимъ, заростающимъ съ-году-на-годъ, землянымъ окопамъ, и по близости тѣхъ сторожевыхъ кургановъ, на которыхъ обыкновенно маячилъ очередной казакъ, выставлялись насмоленные шесты и бочки, яркимъ пламенемъ вспыхивавшіе въ минуту тревоги и быстро передававшіе вѣсть объ опасности въ войсковой городокъ, гдѣ билъ набатъ и, живо снаряжаясь, выступали казаки.

Такимъ сторожевымъ городкомъ была Короча, когда къ ней выселилась наша прапращурка, и что, по тогдашнему времени и обстоятельствамъ, она была довольно-зна чительнымъ пограничнымъ пунктомъ, въ этомъ удостовѣряетъ ея названіе *краснаго города Корочи*, еще лѣта 7147 (1639 г.), по государеву цареву и великаго князя Михаила Ѳедоровича указу, въ жалованной на помѣстныя земли грамматѣ коро-

ченскимъ черкесамъ и русскимъ казакамъ, и потомъ, когда упразднена была наибольшая часть этихъ воинскихъ сторожекъ, Короча, напротивъ, собою упразднила воеводскій городъ Яблоновъ и заняла не послѣднее мѣсто въ уѣздныхъ городахъ Курской губерніи. Но если судить по тѣмъ образцамъ великаго государева жалованья, которые получила Короча, еще виднѣе является ея значеніе, какъ бывшаго немаловажнаго степнаго пункта въ государствованіе царя Алексѣя Михайловича до присоединенія Малороссіи. Иначе, чѣмъ другимъ, если еще не желаніемъ дальновидной московской политики ласкать пограничное населеніе въ Южной Руси, можно объяснить причину того, чтобъ маленькій сотенный городокъ, приписанный къ своему казацкому полковому городу Острогожску—въ то время, когда Орелъ и Воронежъ считались степными городами—этотъ еще далѣе ихъ, засѣвшій въ степи на Корочѣ, городишко могъ обратить на себя свѣтлыя очи государевы, чтобъ въ соборную его архистратига Михаила церковь жалованы были: образъ св. архистратига и другіе мѣстные образа, книги и ризы, и всякая церковная утварь? Даже соборнымъ попамъ и діакону велѣно давать, сверхъ жалованной земли и сѣнныхъ покосовъ, государева денежнаго жалованья: *попамъ по три рубли и дьякону два рубли.* Кромѣ того, въ Корочѣ существуетъ любопытный, едва-ли не единственный памятникъ въ этомъ родѣ, особливаго вниманія и благоволенія царя Алексѣя Михайловича къ корочанской казацкой управѣ и ея войсковымъ собраніямъ; это—какъ бы вѣчевой, вѣстовой сборный колоколъ, пожалованный сотенному городу Корочѣ, какъ значится на его надписи: *Лѣта* ЗѢНА *Августа въ* КА *день. Великій государь царь и великій князь Алексій Михайловичъ всеа великія, малыя и бѣлыя Русеи самодержецъ указалъ сей вѣстовый колоколъ въ городъ на Корочу послать. Вѣсу въ немъ 131 пудъ 1 ф.* И это собственно-казацкое, вѣстовое значеніе колокола вполнѣ подтверждается теперешнимъ его положеніемъ. Онъ не виситъ и съ полученія своего никогда

не находился на колокольнѣ; а среди нынѣшней корочанской базарной площади для него устроенъ особый деревянный навѣсъ и сюда, по старинной безотчетной памяти, барабанный бой сбираетъ народъ, когда, въ извѣстныхъ случаяхъ, объявляется что-либо городовому міру (*).

(*) Г. Костомаровъ въ «Богданѣ Хмельницкомъ» (втор. изданіе стр. 270) говоритъ о выселеніи казаковъ на московскую землю вскорѣ послѣ Берестечскаго пораженія. «Менѣе чѣмъ въ полгода, на пространствѣ отъ Путивля до Острогожска, появились многія слободы, изъ которыхъ образовались города и богатыя мѣстечки: Сумы, Лебединъ, Ахтырка, Бѣлополье, Короча и пр...» Но въ отношеніи Корочи это не совсѣмъ такъ. Короча была основана гораздо прежде и прежде еще была населена русскими и *черкасскими* казаками. Въ бумагахъ моего прадѣда, бывшаго корочанскаго казацкаго сотника, находится слѣдующая копія съ указа царя Михаила Ѳедоровича.

«Лета 7147 году іюля въ 1-й день по государеву цареву и великаго князя Михаила Федоровича всея Русіи указу стольникъ і воевода Тимофей Федоровичъ Бутурлинъ писма і меръ... (не разобрано)... Івана Тимофеева сына Вертошена... (не разобрано)... Григорья Никитина сына Арсеньева далъ выпись *Корочанскимъ черкасомъ* и русскимъ козакамъ, пятидесятникомъ и десятникомъ и редовымъ козакомъ Государева жалованья на ихъ помесныя земли: атаманомъ и пятидесятникомъ по сороку четвертей вполе, десяткикомъ по тридцати четвертей вполе, редовымъ по двадцати четвертей въ полѣ, а вдву по тому жъ. Первое поле отъ *красного города* Корочи по Белогородской дороги едучи к Белугороду, на левой сторонѣ, подле леса по последнее поляну по новыя усады Короченскихъ детей боярскихъ Тита Дудорова да Гура Рязанцова і товарищи, стеми полянами, гдѣ было поселилися Короченские дети боярскіе Гуръ Рязанцовъ стоварищи у колодезя и по государеву указу короченские дѣти боярскіе Гуръ Рязанцовъ стоварищи переведены стехъ усадбъ Белогородскому уѣзду въ круглую поляну Короченскова жъ сына боярскаго Тита Дудорова къ усадомъ. А другое городское поле отъ краснаго городу Корочи едучи х Бѣлугороду по правуе сторону вверхъ по Корене реки, по мертвои Корень и за мертвый корень встепь дикова поля. А третье поле городу Корочи за реку за Корочу къ Яблонову городу подле валъ і вверхъ реки Корочи і за валъ въ степь; отъ оной реки Корочи за Ивицкие вершины дикова поля. А межа краснаго города Корочи отъ реки Корочи чрезъ лесъ последнее круглуе поляну что отъ Белогородскаго уѣзду по новые усады короченскихъ детей боярскихъ Тита Дудорова стоварищи; а подле круглой поляны подле лесъ на дикое поле на дубу новая грань; а отъ той новой грани на другомъ дубу другая грань, а отъ другой грани кполю подле пашне пятидесятника Сергея Чепурнова на третьемъ дубу грань; а отъ тои третеи грани повислой верхъ; а отъ вислова верха вверхъ по реке по Корене і за Мертвой Коренекъ і вверхъ Кореня и Корочи по Донецкой Сеймице і Пузатой Сеймице і внизъ по Сеймы Донецкой и по Шу-

Очень-естественно и просто, что первый вопросъ, какой задавался стягивающемуся обозу переселенцевъ, когда они приставали къ какому мѣсту, былъ: «Отколева Богъ несетъ?»—«Изъ Лохвицы», отвѣчала наша прапращурка Марья и мы стали—*Лохвицкими*. Сходствуя въ имени и въ горестной судьбѣ своего вдовства и сиротства сына съ тою княжной Маріею, наша выселившаяся на Корочу прабабка, кажется, довела до донца это сходство и также поступила въ монастырь. Иначе объяснить нельзя старинной выписи въ бумагахъ о Климентѣ, что онъ «и по возрастъ свой бысть въ Старомъ-Осколѣ *въ дѣвичемъ монастырѣ*». Съ именемъ стараго Климента, въ шестьдесятъ-пять лѣтъ надѣвающаго протопопскую камилавку, по изустному приказу Петра Перваго, наши семейныя преданія становятся живѣе и полнѣе.

Послѣ великаго полтавскаго дня, царь Петръ, должно быть, пожелалъ на возвратномъ пути осмотрѣть казацкіе пригороды и посѣтилъ Корочу. Климентъ удостоился чести принимать у себя государя, и Петръ ночевалъ у него. Вдовый

еву и по Ржаву реку отъ Курскова и Осколскова рубежа. А по темъ рекамъ: в корене і в Короче и в донецкой і в пузатои сеймице і внизъ по сеймице по донецкой і в Шуеве і во Ржавои речке и по урочищамъ по всемъ рыбы ловить и бобры бить, и по темъ урочищамъ звериные гони і сетища делать і всякими угодьи владѣть.

Подлинная подписана тако:

Столникъ і воевода Тимофей Федоровичь Бутурлинъ печать свою и руку приложилъ.

Изъ этой жалованной грамматы красному городу Корочѣ видно, что еще царь Михаилъ Ѳедоровичъ давалъ *усады* черкасамъ на московской землѣ и чтобы предоставить казакамъ болѣе простора, сводилъ съ назначаемой имъ площади земель дѣтей боярскихъ. Но что касается до названія *краснаго города*, то это вовсе не значитъ, чтобы Короча была когда-либо прекрасною, а скорѣе относится къ тому *красному*, видному высокому мѣсту на крутой меловой горѣ, на которой былъ первоначально обостроженъ городокъ Короча. Эта гора теперь за городомъ и просто зовется «Мѣловою»; а тётушка еще запомнитъ, когда она именно называлась «красною горою», и древній городокъ, по преданіямъ, сидѣлъ на крутомъ верху ея; но, за недостаткомъ воды онъ снесенъ былъ ниже; и доднесь еще существуетъ та «ясная криница» подъ горою, къ которой жители древняго городка должны были сходить брать воду.

давно, пять сыновъ на службѣ, старъ и важенъ, въ большомъ почетѣ на Корочѣ, проживалъ съ своей красавицею-дочерью Климентъ. Супротивъ воротъ его дома находился тотъ соборный храмъ архистратига Михаила, въ который щедро жаловалъ царь Алексѣй Михайловичъ, и онъ сгорѣлъ около этого времени. На самое Крещенье ударилъ громъ, разразилась молнія и зажгла соборъ; жалованный иконостасъ успѣли спасти, но болѣе ничего. Можетъ-быть, Петръ еще видѣлъ обгорѣлые остатки храма; но то несомнѣнно, что онъ все зорко провидѣлъ въ своемъ царственно-хозяйскомъ обзорѣ. И здѣсь не укрылось отъ него, что выходецъ Лохвицкій усилился нарочито надъ цѣлымъ краемъ, скупилъ у казаковъ земли; по рѣкѣ по Корочѣ у него было двадцать семь водяныхъ мельницъ, то-есть главная рѣка края съ обоими берегами находилась въ рукахъ одного владѣльца. Петръ

Тамъ же, въ бумагахъ прадѣда, находятся и слѣдующія выписи о корочанской древней соборной церкви и о пожалованныхъ въ нее иконахъ и церковной утвари:

«По указу великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексѣя Михаиловича всея великія и малыя и бѣлыя Русіи самодержца, Корочанскія соборныя церкви Архистратига Михаила съ предѣлы попы Гаврило да Назарій да Тимоѳей дьяконъ Леонтій съ церковники устроены землями въ короченскомъ уѣздѣ отъ города сверсту; а у нихъ четвертныя пашни, сорокъ четвертей въ полѣ, а вдву по тому жъ, около сѣтища и долины, что съ колодеземъ вверхъ по рѣкѣ по Корочѣ по лѣвой сторонѣ, смежна съ черкаскими землями Короченскими. За городскими землями сѣнные покосы по обѣ стороны рѣки Корочи; противъ церковной земли лѣсъ хоромной и дровяной, сѣчь той же церковной земли и въ Толстой дубравѣ. А писана за ними та церковная земля по выписи отъ (кажется, *конюшева*) и воеводы князя Дмитрея Петровича Львова 1647 году. (рмз.)»

Вторая граммата государева о подтвержденіи церковной земли прислана и подана на Корочѣ въ приказной избѣ. «Попъ Тимоѳей Черкашенинъ; въ тожъ число какъ прислана съ нимъ государева жалованья на Корочу въ соборную церковь: образы мѣстные, книги и ризы и всякую церковную утварь въ 1652 году, имъ же соборнымъ попамъ и дьякону велѣно давать, сверхъ жалованной земли и сѣнныхъ покосовъ государева денежнаго жалованья изъ Короченскихъ доходовъ, по государевой граммате и розряду за приписью дьяка Григорья Ларіонова, *попамъ по три рубли, дьякону два рубли.* И подалъ тое грамоту на Корочѣ въ приказной избѣ соборной попъ Гаврило въ 1657 году.»

распорядился по-своему. Оставилъ Клименту четыре мельницы, какія тотъ пожелалъ имѣть, а двадцать три купилъ у него въ казну и далъ Петръ по тогдашнему времени очень хорошую плату—три тысячи рублей; но на эти деньги велѣлъ Клименту построить, на мѣстѣ сгорѣвшей деревянной церкви, соборную каменную въ Корочѣ и, вознаграждая одно другимъ, повелѣлъ, чтобы, построивши церковь, Климентъ ѣхалъ въ Москву и поставился тамъ прямо протопопомъ въ новособорный храмъ. Климентъ такъ и сдѣлалъ: построилъ Рождества Богородицы каменный соборъ въ Корочѣ и самъ поставленъ былъ первымъ его протопопомъ.

Эта церковь и поднесь стоитъ и остается городскимъ соборомъ... Есть какая-то трогательно-принимаемая сердцемъ особенность: придти тихо далекой правнучкѣ и помолиться въ древнемъ храмѣ божіемъ, построенномъ однимъ изъ ея дѣдовъ... Сохранилось преданіе: когда окончена была эта церковь и въ день освященія старый Климентъ усердно принималъ народъ, вышелъ онъ за ворота своего дома и увидѣлъ трехъ странныхъ, которые не шли къ нему, а сидѣли противъ новоосвященной церкви и смотрѣли внимательно на нее. Климентъ поклонился имъ до земли, прося принять у него трапезу, и самъ служилъ имъ за столомъ. Уходя, странные люди помолились Богу, да хранитъ Онъ мѣсто сіе отъ мора, огня и нашествія иноплеменныхъ. Живая сила преданія вѣруетъ въ дѣйствительность этой молитвы и указываетъ на то, что до самаго послѣдняго времени Короча никогда не знала пожаровъ, и въ первую холеру, когда въ Бѣлгородѣ и вездѣ въ окружности безсчетно валился народъ, а въ Корочѣ *ни одинъ человѣкъ не умеръ*, и жители прозвали свой городокъ и зовутъ его «богоспасаемою» Корочею. Въ память бывшей церкви архистратига Михаила Климентъ посвятилъ придѣлъ въ новомъ соборѣ. Онъ и теперь существуетъ, и въ немъ находится тотъ жалованный образъ св. архистратига, въ старинной вызолоченной ризѣ и съ довольно-замѣчательною надписью подъ кивотомъ, которая какъ бы свидѣ-

тельствуетъ о существованіи въ древней казацкой Корочѣ стихотворнаго разума. Надпись гласитъ такъ:

Се Михаила зракъ, силъ грозныхъ воеводы,
Кой сатану съ небесъ изгналъ и поразилъ:
Сей образъ Алексій царь въ храмъ сей подарилъ,
Да равно онъ хранитъ отъ врагъ сихъ странъ народы.

Но свѣдѣніями о Климентѣ не ограничиваются наши семейныя преданія петровскаго времени. Не даромъ слыла на Корочѣ красавицею дочь Климента, Агрипина. Она... какъ бы это сказать помягче?—чуть не замахнулась на Петра-Великаго. «Какъ ты смѣешь? Я царь!» сказалъ Петръ. «*А коли ты царь, то и роби по царьску*», отвѣчала малороссіянка Агрипина... «Славная у тебя дочь!» сказалъ Петръ Клименту, уѣзжая. «Сыщи ей жениха хорошаго». И что не мало любопытно въ интересѣ этихъ сказаній, такъ это то, что тетушка слышала ихъ изъ вторыхъ устъ, едва не отъ самой Агрипины. Агрипина жила очень долго. Подъ конецъ ея прекрасные глаза закрылись и слѣпая старушка съ гордой памятью о своемъ прошломъ любила разсказывать о немъ племянницѣ, которая каждый день водила ее въ церковь. А эту племянницу, тоже древней и слѣпою старухою, тетушка всякій праздникъ и воскресенье видала у своей бабки и слышала всѣ эти разсказы даже съ сохраненіемъ такихъ мелочей, что Агрипина сидѣла въ свѣтлицѣ за столомъ и ѣла на завтракъ *гречневый кулешъ*, когда зашелъ въ свѣтлицу Петръ.

Но съ именемъ красавицы необходимо соединяется понятіе о нарядахъ, и въ память прапрабабушки я поговорю о древнемъ малороссійскомъ нарядѣ.

Въ общемъ онъ не разнился съ нарядомъ собственно-великорусскимъ, московскимъ, то-есть, все-равно, женщина Великой и Малой Руси не могла никуда показаться въ люди безъ верхняго платья. У малороссіянокъ это верхнее платье было: лѣтній *кунтушъ* и зимній *байбаракъ*, но оба они суконные. Кунтушъ — того дорогаго «саетоваго» сукна на два

лица: верхъ синій, а исподъ алый, или исподъ синій, а на лицо сукно алое. Большой круглый воротникъ кунтуша былъ или парчевой, обложенный золотымъ позументомъ, или бархатный, шитый по картѣ золотомъ; обшлага у рукавовъ точно также золотной парчи, или шитые бархатные въ узоръ воротника. Широко-раскрытый напереди, чтобы выказать главную гордость наряда малороссіянки—ея шейныя украшенія, кунтушъ никогда не запахивался, былъ нараспашку и сзади его красивые усы и швы по спинкѣ выкладывались узкимъ золотымъ, или серебрянымъ позументомъ. «Байбаракъ» — тотъ же кунтушъ съ усами, на мелкихъ черныхъ барашкахъ, но безъ воротника и, какъ нарядъ зимній, онъ запахивался и застегивался у горла. Далѣе то, что̀ въ малороссійскомъ нарядѣ и теперь называется *юбкою*, вовсе не имѣетъ русскаго значенія этого слова, а совершенно напротивъ: оно означаетъ *кофту*—красивый обтяжный корсетъ съ рукавами и безъ рукавовъ—съ фалдами, съ воротникомъ—съ пуговицами, съ накладными фестонами напереди, обложенными узорчатой тесьмой или ленточкою; а собственно русская юбка зовется по-малороссійски *спідніца*, и въ древности она была богатая *спідніца съ кàботомъ*. Пришивной кàботъ сближалъ малороссійскую спидницу съ русско-московскимъ сарафаномъ; онъ также застегивался на пуговицы и кàботъ былъ родъ богатаго нагрудника, составлявшаго главную красу спидницы. Если спидница была травчатый атласъ, или камчатая объярь (нынѣшній дорогой муаръ), то кàботъ необходимо долженъ былъ быть золотной парчи; если же спидница парчи золотной, то кàботъ бархатный, шитый золотомъ. И на этомъ дорогомъ кàботѣ, почти закрывая его, носилось, спущенное съ шеи, еще болѣе дорогое *доброе намісто* — кораллы, перенизанные свернутыми въ трубку червонцами; за тѣмъ необходимый *дукатъ* золотой, или вызолоченый, медальйонъ на черномъ шелковомъ снуркѣ, завязанномъ у самаго горла. На дукатѣ изображалась Божія Матерь, иногда Богъ Саваоѳъ и воскресеніе Христа. Пониже дуката, мѣ-

шаясь съ нитками коралловъ, носились *орлики*. На серебряной цѣпочкѣ вздѣты бывали въ рядъ три серебряные, вызолоченые орла, схватываясь распростертыми крыльями; ниже къ нимъ прицѣпливались два и еще ниже одинъ орелъ. На самыхъ кораллахъ, чтобъ быть имъ вполнѣ «добрымъ намістомъ», надобно было висѣть тремъ большимъ крестамъ съ распятіемъ: два по сторонамъ, выше, и одинъ, спускаясь ниже, на середину груди. Вотъ своеобразный, богатый нарядъ древней малороссіянки, о которой ея поэты говорили:

Ой, якъ вона заговорить,
Якъ у дзвінъ задзвоніть;
Ой, якъ вона зосміетця,
Дунай розільетця...

Но корочанская рѣчка не была Дунай, хотя тётушка еще запомнитъ ее довольно-глубокою свѣтлою рѣкою, которая обтекала двумя рукавами городъ; съ чрезвычайнымъ обмеленіемъ нашихъ рѣкъ вообще и Короча стала грязнымъ ручьемъ съ топкими берегами и ничтожнымъ теченьемъ. Но городъ Короча къ тому времени, о которомъ я завожу рѣчь, значительно распространился. Не говоря о постепенномъ увеличеніи собственнаго народонаселенія и о набродѣ люду, подбывавшаго изъ степей, даже съ сѣвера прибыла значительная подмога корочанскому населенію. Когда, послѣ бунтовъ и петровскихъ казней стрѣльцовъ, разсылались они на поселеніе по отдаленнымъ городамъ, то и въ Корочу присланы были пушкари и населили при ней Слободу Пушкарную, которая, вмѣстѣ съ другой русскою слободою Казачьей и двумя малороссійскими слободами — Бехтѣевкою и Погорѣловкою, составила порядочный ожерелъ для ядра Корочи. Но ходъ дѣлъ и порядокъ вещей въ войсковомъ городкѣ оставался неизмѣняемъ, и неизмѣнно было для него значеніе нашихъ Лохвицкихъ. Хотѣлъ ли Климентъ увѣковѣчить за своимъ родомъ царскую милость, поставившую его въ протопопы, или онъ слѣдовалъ старому родному

обычаю малорусскаго дворянства—имѣя трехъ-четырехъ сыновъ, назначить одного въ духовное званіе; а у Климента сыновъ было семь, и младшій изъ нихъ, Лазарь, занялъ послѣ отца протопопское мѣсто въ соборѣ. Другіе сыновья Климента, кто былъ убитъ на войнѣ, кто запарился въ русской непривычной банѣ; остальные, служа въ полковомъ городѣ Острогожскѣ, получили тамъ земли, поженились, скоро обрусѣли; но только не мирились съ своимъ прозвищемъ Лохвицкихъ и называли себя: Кохановскими-Лохвицкими и Лохвицкими-Кохановскими, Кохановскими-Острожскими и просто Острожскими. Одинъ изъ внуковъ Климента ходилъ съ своею казацкой сотнею въ прусскій походъ при Елизаветѣ Петровнѣ и началъ отъ того прозываться *Прусъ*; а сынъ его уже былъ *Прусенко*, съ рѣдкимъ прибавленіемъ «Лохвицкій». Но у корочанскаго протопопа Лохвицкаго, Лазаря, было трое дѣтей: дочь Анна Лазаревна и два сына — Иванъ Лазаревичъ и

II.

Еѳимъ Лазаревичъ, *до біса розумнііі*.

Такъ назывался мой прадѣдъ. Короча, теперь совершенно обрусѣвшая, въ то время была малороссійскимъ мѣстечкомъ, въ садахъ вся, какъ и теперь, съ винокурнями, съ преимущественно-малорусскими правами, обычаями и съ владычествомъ южнорусскаго языка, такъ мѣткаго на неотъемлемыя прозванья. И прадѣдушка не даромъ, кажется, носилъ свое прозвище... Несмотря на то, что дѣды наши подались на сѣверъ, родной югъ манилъ ихъ къ себѣ своей образованностью. Сыновья Климента и оба сына Лазаря воспитывались въ кіевской академіи. «До біса розумніій» Еѳимъ Лазаревичъ, кромѣ польскаго и латинскаго языковъ, по какому-то случаю зналъ нѣмецкій языкъ, чему свидѣтельствомъ

оставались его книги, насквозь проточенныя молью. Но ни онъ, ни братъ его не наслѣдовали отцу въ духовномъ званіи, а были казацкими сотниками.

Любопытно видѣть, какимъ сильнымъ запечатлѣніемъ лежало польское вліяніе на высшемъ сословіи малорусскаго народа! Что были наши прадѣды на Корочѣ? — выходцы, утратившіе въ глухой сторонѣ свое сословное значеніе дворянъ, ставшіе обывателями, приписанными въ казаки, и попами, по изволенью Петра. Но «шляхетское посполитство» не вымирало въ языкѣ и было живо въ родовыхъ понятіяхъ, когда оно могло съ такою силою отрыгнуться въ третьемъ колѣнѣ послѣ Климента и въ лицѣ Ѳеима Лазаревича явить на Корочѣ образъ польскаго пана со всѣмъ его магнатски-казацкимъ великолѣпіемъ и съ суровымъ достоинствомъ вѣка, принимавшаго страхъ за почетъ.

Служилый сотникъ черкаской корочанской сотни, Ѳеимъ Лазаревичъ, вѣроятно, въ Кіевѣ, получая образованіе, занялъ всю его польскую внѣшность, начиная отъ латинскихъ цитатъ до желтыхъ магнатскихъ сапогъ на серебряныхъ подковахъ, и, добавляя тѣмъ свои родовыя преданія княженецкаго шляхетства, онъ сталъ на Корочѣ, дыша своимъ казацко-польскимъ магнатствомъ на все четыре стороны... Я не знаю и не могу настояще сказать, въ чемъ собственно заключалась власть казацкаго сотника и на сколько можно было расширить ее; но достовѣрно, что она не ограничивалась одною военной управою ввѣренной сотни. По всему видно, что управа сотника распространялась на самый сотенный городъ и на всѣ слободы, приписанныя къ нему; въ его рукахъ были судъ и расправа — все, что мы разумѣемъ теперь подъ гражданскою, военною и судебной частью. Такимъ-образомъ сотникъ являлся болѣе, чѣмъ окружнымъ начальникомъ недавно-уничтоженныхъ военныхъ поселеній. Отъ его единственно самоуправной воли зависѣли свобода, честь, имущество — только-что не жизнь, а все благосостояніе подвѣдомственнаго казацкаго населенія... Только такъ разумѣя

власть Ѳеима Лазаревича, объясняется его огромное сотницкое значеніе на Корочѣ.

... Господи! что было за время! когда мало-мальски значительная власть, какъ черная туча, была заряжена грозою и начальническій страхъ ходилъ на людяхъ, какъ ходитъ степной буранъ, трепетомъ вселяясь въ сердца. И диво бы начальникъ былъ звѣрь, а не человѣкъ — нѣтъ! по своему времени онъ могъ быть человѣкомъ въ достойномъ значеніи слова, но его властвованіе, какъ законъ Моисеевъ, сходило въ громахъ и молніяхъ. Страшить и карать было признакомъ и достоинствомъ власти.

И это суровое достоинство Ѳеимъ Лазаревичъ являлъ во всемъ польскомъ великолѣпіи своего *шляхетне-урожонаго* казачества.

Начать съ того, что во главѣ всѣхъ «шляхетне урожоныхъ» на Корочѣ онъ ходилъ въ польскомъ нарядѣ отъ собольей угловатой шапки до строченнаго подбора желтыхъ сафьянныхъ сапогъ. Величавый «якъ панъ-отецъ» (сравнивали его съ дѣдомъ Климентомъ) и величавый ростомъ, мужественный красотою лица, онъ палилъ сотницкими очами. Основавшись хуторомъ за двѣнадцать верстъ отъ Корочи, въ благодатномъ прилѣсьи дикаго нетронутаго поля казацкихъ земель, Ѳеимъ Лазаревичъ и здѣсь помнилъ себя, что онъ сотникъ: въ глазахъ его по ту и по другую сторону поселка высились сторожевые курганы и маячилъ дозорный казакъ на конѣ, готовый повсечасно птицею ринуться въ степь и возвѣстить сотенному городу, что повелѣваетъ ему панъ-сотникъ у себя на хуторѣ. Самый поѣздъ и пріѣздъ Ѳеима Лазаревича съ хутора Хвощеватаго въ городъ былъ торжественнымъ выявленіемъ его сотницкой чести и власти. Онъ ѣздилъ попольски: шесть лошадей въ шорахъ, машталиръ съ длиннымъ бичомъ на козлахъ, польская коляса и панъ-сотникъ въ колясѣ; соболья шапка надвинута на брови; впереди и позади, по бокамъ его скачутъ казаки... и развѣ только степной вѣтеръ дулъ безстрашно въ длинные, рано-

посѣдѣлые усы Лохвицкаго сотника, а все встрѣчное бросалось прочь, далеко забирая въ стороны, и чистъ лежалъ путь подъ палящими сотницкими очами на всѣ двѣнадцать верстъ отъ Хвощеватаго до Корочи! Но, подъѣзжая къ Корочѣ, съ горы, машталиръ громко хлопалъ бичомъ, и это въ сотенномъ городѣ должны были слышать, что жалуетъ сотникъ. Съѣхавши съ горы, въ другой хлопалъ бичомъ машталиръ, и въ отвѣтъ должны были звонить въ жалованный вѣстовой колоколъ. Подъ гулъ его, въ третій и послѣдній разъ машталиръ хлопалъ бичомъ — и все служилое казачество высыпало на валъ и встрѣчало своего сотника. По дорогѣ, отъ каждаго дома, мимо котораго проѣзжалъ сотникъ, долженъ былъ кто-нибудь стоять за воротами, если не самъ хозяинъ и хозяйка, то хотя дѣти ихъ — мальчикъ, или дѣвочка, но непремѣнно кто-нибудь, чтобъ привѣтствовать поклономъ въѣздъ въ сотенный городъ пана-сотника.

Насытивъ такимъ гордымъ величаньемъ достоинство своей власти, сотникъ былъ и добръ по-львиному, и богобоязненъ — такой неуклонной правоты и прямоты въ судѣ, что къ нему рѣдко приходили судиться, а шли къ нему за совѣтами: *До вашого розуму, пане сотнику!* кланяясь, говорили ему... Намъ, при теперешнемъ владычествѣ общественнаго мнѣнія, почти непонятнымъ является значеніе одиночной личности, неподходящей ни подъ какой уровень и въ своей средѣ превысившей все и, какъ дубъ непоколебимый въ корняхъ, незнающей измѣны и колебанья въ сказанномъ словѣ. То, чего мы достигаемъ теперь общепринятыми формами, силою и посредствомъ закона, тогда полноправно ввѣрялось одному достоинству подобной личности — и какъ эта личность умѣла вынести на себѣ честь и долгъ довѣреннаго дѣла!

Евимъ Лазаревичъ во второмъ бракѣ былъ женатъ на дочери воеводы теперь упраздненнаго городка Карпова, Вѣрѣ Григорьевнѣ Мухиной; а старшая сестра ея, Катерина Гри-

горьевна, была замужемъ за малороссійскимъ полковникомъ Петромъ Дмитріевичемъ Бульскимъ, который завѣдывалъ всею Слободско-Украинскою частью и былъ нѣсколько по фамиліи и необузданности характера съ-родни другому полковнику—Бульбѣ.

Мы не знаемъ, какъ и гдѣ, по какому случаю могъ тринадцатилѣтній ребенокъ своимъ свѣтлымъ взоромъ и дѣтской красотою лица заглянуть въ суровую душу сорокалѣтняго полковника и возбудить въ ней не менѣе суровое желаніе—взять въ жены себѣ это миловидное дитя. Хотѣніе ребенка, конечно, не спрашивалось: да будь оно и не такъ, могла ли мать ея, вдова, смѣть подумать противостать желаніямъ полковника Бульскаго? И тринадцатилѣтняя дѣвочка, прямо изъ безпечнаго, весело-улыбавшагося ребенка, стала мученицею. Страстная суровость ея властелина и самъ онъ съ головы до ногъ дышали на нее неодолимымъ ужасомъ. Жена-ребенокъ, которая чуть смѣла поднять робкій взглядъ на мужа, могла ли она чѣмъ-либо и какъ отвѣчать ему, или что-либо раздѣлять съ нимъ? И его суровая страстность, требовавшая чувства любви и встрѣчавшаяся съ дѣтскимъ страхомъ, необузданно вырывалась наружу и терзала страшно беззащитное дитя, по мстящему праву той самой любви, которая должна бы была быть заступленіемъ... Онъ накупалъ ей куколъ, дорогихъ нарядовъ и иногда въ тотъ же день изрубливалъ саблею передъ ея глазами куклы, наряды, и опять, весь ярый, слалъ гонца за нарядами и куклами. Онъ истерзалъ и распялъ на стѣнѣ, прибивъ гвоздями, любимую куклу жены, увидѣвъ однажды, что жена-ребенокъ куклу поцѣловала! Вѣроятно, истомивши столько же самого себя, сколько онъ терзалъ несчастнаго ребенка, разбивъ весь пылъ своей бурной страстности о ея робкую покорность, онъ отсылалъ отъ себя прочь жену къ ея матери и въ домѣ у него начинались пиршества. Домъ, огромный и великолѣпный тѣмъ запорожскимъ великолѣпіемъ, которое топтало золото въ грязь и величалось

грязью какъ золотомъ, стоялъ въ сосновомъ вѣковѣчномъ лѣсу и стоялъ онъ основанъ, вмѣсто фундамента, на природныхъ вѣковѣчныхъ пняхъ. По сторонамъ его выведены были огромные флигеля, которые назывались *молодечни*. Въ нихъ жили молодцы избранной почетной сотни полковника, его близкіе люди, составлявшіе вокругъ него гордую казацкую свиту. Изо дня въ день эти люди пировали въ широкихъ полковничьихъ покояхъ, и Бульскій, который — удивительное дѣло! никогда не пилъ, поставлялъ все наслажденіе въ томъ, чтобъ перепоить своихъ молодцовъ и потомъ насмѣшливо любоваться ихъ выходками, сводить ихъ, какъ горячихъ пѣтуховъ, на споры и драки и потомъ, сидя на верхнемъ концѣ стола, только потянуть усы и сказать: «Гмъ!» и чтобъ этотъ звукъ вышибалъ хмѣль и въ-мигъ все мертвенно затихало на пиру.

Но и въ отдаленіи, и въ странной забавѣ своихъ пировъ Бульскій не забывалъ держать жену, тёщу, весь домъ ихъ— всю деревню Березову, гдѣ онѣ жили, въ напряженномъ, чего-нибудь ежеминутно-ожидавшемъ страхѣ. Среди глухой ночи вдругъ весь домъ обхватывалъ крикъ, отрывали ставни отъ оконъ и у каждаго являлся казакъ съ саблею въ одной рукѣ и съ насмоленною зажженной веревкою въ другой. Самъ полковникъ врывался въ двери и осматривалъ всѣ мѣста, сундуки, всѣ закоулки, гдѣ только его ревнивое подозрѣніе способно было представить, что могъ быть спрятанъ кто-нибудь; вытаскивалъ изъ подъ кровати, или изъ-за сундуковъ обмертвѣлую отъ страха жену и маленькую сестру ея и, довольный своимъ обыскомъ, иногда не сказавъ ни слова тёщѣ или женѣ, онъ гаркалъ на казаковъ и уносился опять за восемьдесятъ слишкомъ верстъ въ свою Мерефу. Часто посылались довѣренныя лица узнать, посмотрѣть и обвѣдать, что дѣлается у тёщи и какъ жена? Бывали добрые старые посланцы, которые, покачивая головами, говорили: «Помогай вамъ Богъ, пани! *А що вы тутъ доброго робіте?*» и дебелая мозолистая рука стараго казака протягивалась надъ

молоденькой смятенной полковницею и гладила ее по головкѣ, приговаривая: «Не бойся, пани! ужъ я, старый пёсъ, не стану брехать на тебя.» Иногда скакалъ въ Березовъ казакъ, трубя, что̀ было у него силъ, и размахивая надъ головою письмомъ съ приклееннымъ къ печати перышкомъ. Это онъ везъ безотлагательное повелѣніе, въ какое бы время дня и ночи ни пришло письмо и какая бы погода ни стояла на дворѣ, но, съ полученіемъ его, жена и тёща должны были немедля снаряжаться и сейчасъ выѣзжать въ дорогу, потому что тамъ были разсчитаны часы, когда имъ слѣдовало явиться. Но въ теченіе этихъ часовъ, нетерпѣливое ожиданіе, или страстный порывъ другой какой-либо бури успѣвалъ разбушеваться въ груди Бульскаго, и бѣдныхъ женщинъ, спѣшившихъ, не помня себя, явиться по призыву, вдругъ встрѣчало повелѣніе не входить въ домъ и не подъѣзжать къ крыльцу, а остановиться среди двора подъ сосною. Въ иной разъ по цѣлой недѣлѣ жена и тёща просиживали въ каретѣ и Бульскій только выйдетъ на крыльцо, посмотритъ, посвиститъ и опять уйдетъ! Случалось, что, не допустивъ несчастныхъ женщинъ въ домъ, онъ давалъ заглазное повелѣніе отправляться имъ назадъ; но едва онѣ успѣвали отъѣхать десятокъ верстъ и начинали радоваться своей свободѣ, какъ за ними скакалъ гонецъ и заворачивалъ ихъ назадъ.

Въ одинъ изъ своихъ необузданныхъ порывовъ, Бульскій сбросилъ жену съ балкона двухъэтажнаго дома и сломалъ ей ребро. Страдалица не умерла, упавъ довольно счастливо на песокъ; но самъ онъ, скоро умирая и не имѣя дѣтей, видимо, старался обезпечить положеніе жены и какъ-бы вознаградить несчастную женщину, предоставилъ ей въ вѣчное потомственное владѣніе восемьсотъ душъ въ своихъ лучшихъ деревняхъ—Мерефѣ и Озерянкѣ, и на все остальное имѣніе далъ право полнаго пожизненнаго пользованія безъ всякой отчетности; но жизнь, убитая такъ рано, не могла воскреснуть. Молодая женщина, болѣзненная, почти не оставляла

постели, и хотя она умерла долго спустя послѣ своего мучителя но жила ли она?...

И, умирая, Бульская назначила своимъ душеприкащикомъ Ефима Лазаревича и предоставила ему неограниченное право поступить по его собственному усмотрѣнію — распорядиться всѣмъ остававшимся послѣ нея имѣніемъ, какъ онъ найдетъ лучшимъ, безъ всякого прекословія наслѣдниковъ. А наслѣдниками, кромѣ сестры, жены Ефима Лазаревича были три брата Бульской—молодцы, немного въ чемъ уступавшіе покойному зятю, съ тою одной разницею, что тотъ былъ трезвъ, а эти еще пьянствовали. Забывая все въ своемъ безчинствѣ и радости о полученіи богатаго наслѣдства, они даже не подумали проводить тѣло умершей сестры въ церковь; и въ то время, когда черезъ одну дорогу отъ дома, въ церкви отпѣвали покойницу, они выкатили на средину двора бочки изъ погребовъ съ водкою и наливкою, наняли уличную музыку и, упаивая себя и народъ, буйствовали съ пѣснями и пляскою... Ефимъ Лазаревичъ и говорить не сталъ.

Извѣстенъ нашъ изстари заведенный обычай оставлять до шести недѣль въ домѣ покойника все, какъ было, въ прежнемъ порядкѣ, ничего не трогая и отлагая объявленіе послѣдней воли усопшаго до послѣдняго дня шестинедѣльнаго срока.

Такъ точно поступилъ и Ефимъ Лазаревичъ. Ничего, повидимому, не предпринимая, никому ни о чемъ не объявляя, перенося неумолкавшее вокругъ себя буйство, угрозы и заглазную похвальбу шурьевъ раздѣлаться съ нимъ по-свойски, если онъ посмѣетъ въ чемъ либо обидѣть ихъ, Ефимъ Лазаревичъ шесть недѣль сурово молчалъ, приводилъ въ извѣстность громадную движимость покойницы и сидѣлъ запершись надъ бумагами. Когда окончилось шесть недѣль, послѣ обѣдни и большаго поминальнаго обѣда, въ присутствіи тѣхъ лицъ, которыя были свидѣтелями переданнаго ему полновластія отъ покойной Бульской, Ефимъ Лазаревичъ всталъ и объя-

вилъ, что, вслѣдствіе, свидѣтельствуемыхъ всѣми, буйныхъ и безчинныхъ поступковъ ея братьевъ, неуважившихъ память сестры даже въ день ея христіанскаго священнаго погребенія, онъ, по совѣсти и данному ему праву избрать наслѣдникомъ достойнѣйшаго, находитъ ихъ всѣхъ недостойными, и слободы Мерефу и Озерянку со всѣми землями, лѣсами и хуторами предоставляетъ въ вѣдѣніе казны и людей отпускаетъ на волю. Ефимъ Лазаревичъ не остановился передъ тѣмъ, что его жена должна была получить значительную долю изъ имѣнія; онъ и ее отчуждилъ отъ наслѣдства, для недолжнаго раздробленія идущихъ коронѣ имѣній. Мухины подняли было дѣло; но Ефимъ Лазаревичъ сталъ и отстоялъ свободу Мерефѣ и Озерянкѣ. Теперь это богатѣйшія слободы верстахъ въ двадцати-пяти и тридцати отъ Харькова—и Озерянка еще тѣмъ особенно-примѣчательна, что въ ней обрѣтена на озерѣ явленная икона Божіей Матери, особенно чтимая въ цѣломъ краѣ подъ нѣсколько измѣненнымъ, именемъ—*Озарянской*. Богато наградивъ комнатную и дворовую прислугу Бульской при отпускѣ на волю, Ефимъ Лазаревичъ раздѣлилъ между шурьями всю движимость до послѣдняго: переломилъ пополамъ серебряную столовую ложку, которую иначе дѣлить было нельзя, и на свою долю, въ лицѣ жены, Ефимъ Лазаревичъ взялъ только древній списокъ Озарянской Божіей Матери—и ничего болѣе.

Затѣмъ я не могу сказать въ какомъ именно году царствованія Екатерины изданъ былъ указъ объ уничтоженіи казацкихъ сторожевыхъ городковъ, упраздненіи ихъ войсковаго управленія и о перечисленіи жителей изъ казаковъ въ иное вѣдомство. Но только этотъ указъ состоялся, Ефимъ Лазаревичъ изъ всемощнаго сотника черкаской корочанской сотни переименованъ былъ въ чинъ провинціальнаго секретаря и на городъ на Корочу прибыла иная власть—воевода Акимъ Поповъ.

Извѣстно, какой высокой почитательницею Петра Перваго была Екатерина Вторая. И вотъ, какой-то «милости-

вещъ» тогдашнихъ временъ представилъ ея величеству истинно-любопытную вещь майора Акима Попова, который въ петровское время былъ солдатомъ и еще работалъ при набиваніи свай въ Петербургѣ. Государыня была слишкомъ милостива, чтобъ не поискать награды такому любопытному живому памятнику петровской реформы, и Акимъ Поповъ посланъ былъ на городъ на Корочу сѣсть воеводою. Старъ и дряхлъ, почти-выжившій изъ ума, онъ умѣлъ ли читать — неизвѣстно; но милостивецъ озаботился выучить его подписываться: *Воевода Акимъ Поповъ*. И прибылъ воевода Акимъ Поповъ въ бывшій сотенный городъ, и сѣлъ на воеводство. Но воеводскимъ товарищемъ была у него, говоритъ преданіе—естественная бестія, въ лучшемъ значеніи этого слова, умная, веселая; запрягала она старую клячу, своего воеводу и ѣздила на немъ на потѣшанье всему міру. Разъ какъ-то озлобился воевода на своего воеводскаго товарища и не мирится съ нимъ, не дается въ упряжь старая кляча: заупрямилась, понурила голову и стоитъ — ни съ мѣста...

А было въ корочанскомъ соборѣ (и теперь есть) одно извѣстное мѣсто, у котораго всегда становился молиться во всеуслышаніе воевода. Это мѣсто въ родѣ небольшаго придѣла для особенно-чтимой иконы чудотворца Николая, которая замѣчательнымъ образомъ найдена въ одной ветхой опущенной церкви незапамятно когда оставленнаго и заросшаго лѣсомъ монастыря. Преслѣдовали разбойниковъ, которые, спасаясь, разбѣжались по лѣсу, и человѣкъ шесть ихъ нечаянно попали въ эту оставленную церковь. Вбѣжавъ туда и увидя на стѣнѣ образъ чудотворца Николая, разбойники сказали въ радости: «Ну, теперь намъ нечего бояться, мы спасены: св. Микола съ нами!» Вдругъ отъ образа какъ молнія сверкнуло на нихъ! Они пали ницъ и, ничего не видя, начали кричать и звать къ себѣ—и ихъ, ослѣпшими и ползавшими по землѣ, забрали изъ церкви.

Вотъ передъ этою иконою всегда становился молиться воевода, и до того ему въ слабую старую голову засѣло его воеводство, что онъ и на молитвѣ взывалъ: «Батюшка Миколай, святой! помилуй ты меня, воеводу Акима Попова!» Вдругъ во время одной вечерни, на свой обычный возгласъ воевода слышитъ тихое: «Не по-ми-лую».—Воевода обмеръ; на колѣни палъ, обѣщаетъ свѣчу въ свой ростъ поставить... «Не ставь свѣчи, говоритъ голосъ, «а замирись ты съ своимъ воеводскимъ товарищемъ». И замирился воевода Акимъ Поповъ!

Другая исторія, которою запамятовалъ себя на Корочѣ ея первый воевода, состояла въ безпримѣрной торговой казнѣ козла.

Дѣло было такого рода.

Какъ-то колодники пріучили къ себѣ большаго стараго козла. Чуть утро — козелъ являлся къ острогу; а острогъ былъ обыкновенная изба, обнесенная частоколомъ. Всѣ козла знали; онъ входилъ свободно на дворъ и прохаживался гдѣ ему было угодно. Колодники, по извѣстной русской потѣхѣ, и пріучи козла биться, и еще какимъ образомъ? Выискался молодецъ, который живо *лицедѣялъ* воеводу: какъ Акимъ Поповъ старчески ходитъ, стоитъ, отставившись назадъ, и еще пуще всего, какъ воеводскимъ своимъ голосомъ, схожимъ на козлиный, онъ кричитъ и ругаетъ колодниковъ. Другіе въ это время наталкивали на лицедѣя, раззадоривали Ваську и довели козла до того, что едва только воевода показывался въ острогъ, козелъ приходилъ въ азартъ. Напрасно его выталкивали вонъ со двора и запирали ворота: козелъ слышалъ знакомые ему звуки голоса, прыгалъ чрезъ частоколъ и, такъ или иначе, а улучалъ поддать рогами, никому больше, какъ воеводѣ. Воевода, убоявшись козла, хотѣлъ-было перестать ѣздить въ острогъ: но воеводскій товарищъ, негодуя о наносимомъ оскорбленіи высокой воеводской чести и еще кѣмъ же? старымъ козломъ, предложилъ —казнить его, для примѣра прочимъ, позорною торговою

казнью. Составили письменное опредѣленіе, занесли его по всей формѣ, какъ слѣдовало, въ протоколъ, воевода и подписалъ свое: *Воевода Акимъ Поповъ;* но у воеводскаго товарища что-то случилось на рукѣ, и онъ не могъ дать своей подписи подъ опредѣленіе. По положенію резолюціи, какъ уже объявленнаго и приговореннаго къ казни преступника, засадили козла въ острогъ и можно себѣ представить, что̀ за потѣшная ночь проведена была собратіями козла по заключенію! На утро ударили въ набатъ. Народъ повалилъ, обступая козла, котораго торжественно вели за рога на площадь. Тамъ, въ присутствіи воеводы и всѣхъ градскихъ властей, собравшихся на позоръ, прочитали громогласно козлу опредѣленіе и отрубили ему голову. Мясо его, по рѣшенію воеводскому, поступило на покормъ колодникамъ; а преступная голова съ наиболѣе-виновными рогами на три дня была выставлена на колу передъ воротами острога.

А между-тѣмъ не шутовскому воеводѣ, а головѣ дѣльной и разумной, съ смысломъ во лбу слѣдовало бы сидѣть въ это время на Корочѣ. Старый порядокъ казацкой управы, безъ приготовленія, безъ опредѣленныхъ положительныхъ мѣръ, внезапно смѣнился новымъ, и вопросъ о поземельной собственности между простыми казаками и ихъ бывшими начальниками показывался и росъ, какъ грозовая туча. Прежде казацкій сотникъ говорилъ: «мое!» не только тому, что̀ онъ обниметъ, а что̀ глазомъ окинетъ; а теперь и простые казаки, освободившись изъ-подъ ига сотницкой власти, начинали говорить: *се все наше!* памятуя, что земли жалованы казачеству за службу. Столкновеніе не преминуло объявиться на хуторѣ Хвощеватомъ Ефима Лазаревича.

Ефимъ Лазаревичъ взоралъ новую землю по близу хутора и посѣялъ горохъ; а Василь Макуха, заможный казакъ и, видно, не только посмѣлѣе, но и позадорнѣе другихъ, пріѣхалъ за двѣнадцать верстъ изъ подгородней слободы Бехтѣевки и провелъ свои борозды какъ-разъ наравнѣ съ бороздами своего бывшаго сотника. «*Подивлюсь: що вінъ, до*

біса разумний, мині зробіть?» говорилъ Макуха. Ефимъ Лазаревичъ пришелъ взглянуть на свой горохъ и истинно подивился о такомъ близкомъ сосѣдствѣ. Слѣдовало бы Ефиму Лазаревичу подать челобитную Акиму Попову, кланяться униженно и молиться рабски его воеводской чести о своемъ конечномъ разореніи и о завладѣніи землею отъ бывшаго казака, нынѣ завѣдомаго разбойника, Васьки Макухи. Но для этого Ефиму Лазаревичу надобно было бы *завѣдомо* переродиться. Не въ силахъ человѣческой души такой личности, какъ бывшій корочинскій сотникъ, бить челомъ передъ гороховымъ пугаломъ воеводской власти Акима Попова и наравнѣ съ козломъ поставить себя на шутовскомъ судѣ! Ефимъ Лазаревичъ будто смолчалъ Макухѣ и уѣхалъ по своимъ дѣламъ въ Москву. Воротившись къ осени въ свой Хвощеватый хуторъ, онъ увидѣлъ, что Макуха не удовольствовался однѣми бороздами; а вздумалъ подселиться собственнымъ хуторомъ подъ самый бокъ Ефима Лазаревича. Поставилъ Василь Макуха хату и уже началъ свозить къ хатѣ посѣянный хлѣбъ. Ефимъ Лазаревичъ дождался, пока Макуха свезъ весь свой посѣянный хлѣбъ.... А у тогдашнихъ малороссіянъ было въ обычаѣ работать цѣлую недѣлю на хуторѣ, а въ субботу въ вечеру отправляться въ городъ, или въ свои слободы «до церкви», проводить праздникъ съ своею семьею и съ сосѣдями на старомъ хозяйствѣ, въ обжилыхъ домахъ и старозаведенныхъ садахъ, и потомъ опять въ понедѣльникъ утромъ возвращаться на уединенный хуторъ. Точно по этому обычаю поступалъ и Макуха. Къ своей новопостроенной хатѣ, безъ кола и двора, торчавшей на раздольѣ казацкаго поля, онъ свезъ весь хлѣбъ и, подъ какой-то праздникъ, отправился за двѣнадцать верстъ на старое домосѣдство. Ефимъ Лазаревичъ въ ночь сжегъ Макухѣ все до тла! Къ утру бабы заполами переносили въ кухню уголья, а на разметенномъ пепелищѣ Ефимъ Лазаревичъ смолотилъ горохъ и разбросалъ по немъ гороховепье. И таково было ничтожество воеводской власти, завѣдомое безсиліе защиты на

ея судѣ, что Василь Макуха даже не подалъ жалобы, живя въ Бехтѣевкѣ, подъ самымъ бокомъ у корочанскаго воеводы! Какъ настоящая макуха, то есть крѣпко-сбитый хохолъ и казакъ, Василь обошелъ нѣсколько разъ свое пепелище; «Сказано: до биса разумній!» махнулъ онъ рукою и кончилъ тѣмъ. Уликъ никакихъ не было. Оставалось одно выжженное мѣсто посреди дикаго поля; но оно было средствомъ къ оправданію, а не обвиненію Еѳима Лазаревича. По Малороссіи и теперь это случается; а тогда оно было въ обыкновеніи: не возить горохъ въ гумно, а тутъ же въ полѣ выжигать точекъ и молотить его. Еѳимъ Лазаревичъ такъ и сдѣлалъ: на пепелищѣ смолотилъ горохъ и разбросалъ по немъ гороховенье (*).

Но если не находилось болѣе смѣльчаковъ подселяться къ самому хутору Хвощеватому, то вообще охота выселеній изъ слободъ по хуторамъ росла съ каждымъ годомъ, съ каждой зеленѣющей весною. Нарядъ казачества держалъ все населеніе сбитымъ вокругъ сторожевыхъ городковъ, и теперь, миновавъ и унесши съ собою самую память той необходи-

---

(*) Не думая ни мало оправдывать поступка прадѣда, я должна, однакожь, замѣтить, что по тому времени это былъ вовсе не такой страшный и неслыханный, какъ онъ показывается намъ теперь. Бывали примѣры и не такого рода.

Графъ Гендриковъ, по осени, проѣзжалъ съ своей графской охотою мимо одного селенія. Собаки графской охоты, невзятыя на своры, бросились къ телятамъ, которые ходили по выгону, разорвали трехъ или четырехъ и, преслѣдуя остальныхъ, внеслись въ селеніе. Мужики и бабы выскочили защищать свои животы и, въ свалкѣ, уколотили любимую графскую собаку. И что же сдѣлалъ графъ? Онъ, не съѣзжая съ мѣста, подложилъ со всѣхъ четырехъ концовъ подъ селеніе огонь и сжегъ Устинку до чиста, разровнялъ мѣсто, на которомъ было селеніе, вспахалъ его и посѣялъ озимь, такъ, что когда судъ выѣхалъ на слѣдствіе, то ни слѣда, ничего не было, никакихъ признаковъ селенія, безмолвно и ярко на тучной пажити зеленѣла рожь! И когда дѣло пошло выше и достигло самой высоты, то единственнымъ слѣдствіемъ было, сказываютъ, писаніе: *«Эй, Генрихъ! не шали.»* Если это была шалость, то поступокъ моего прадѣда, хотя, конечно, онъ былъ не Генрихъ, можетъ показаться чистымъ дѣтствомъ: сжечь одну хату казаку, который вздумалъ на задоръ помѣряться съ своимъ бывшимъ сотникомъ!

мости, которая вызывала его, онъ разорвалъ путы народонаселенія; оно зашевелилось и поползло всякъ себѣ искать приволья на огромной площади жалованныхъ съобща казацкихъ земель. Не стѣсняясь воеводскою властью, бывшій казакъ, по произволу, оставлялъ за собою слободскую усадьбу, или вовсе покидалъ ее и переселялся на полюбившееся мѣстечко куда-нибудь къ водѣ, къ лѣсу, на пастьбищный просторъ, вообще на *царину*, какъ поэтически зовется въ южно-русскомъ нарѣчіи свѣжая дѣвственная почва, какъ-бы еще царствующая земля, пока не поработилъ ее желѣзомъ плугъ человѣка. На царинѣ, по старому повѣрью, всякій скотъ сытѣе и бодрѣе; а что казацкій конь, то онъ вдвое быстрѣе. Но эти вольныя займища, незнавшія никакой межи между собою, никакой грани, съобща дѣлали одно: обсѣтивали орлиное гнѣздо Еѳима Лазаревича. И если оскорбленное самолюбіе бывшаго сотника не могло забыть того времени, когда онъ, какъ хотѣлъ, широко распространялся вокругъ своего Хвощеватаго, то съ тѣмъ вмѣстѣ и выбывшіе изъ-подъ его власти, подчиненные не прочь были дать почувствовать свою свободу. Начались неисчислимые сосѣдскіе задоры и раздоры; завелись безчисленныя дѣла по бумагамъ у Еѳима Лазаревича съ хохлами. Едва наступала новая весна, какъ поступали новыя жалобы съ той и съ другой стороны, уже доходившія до «его сіятельства, высокоповелительнаго господина генералъ-фельдмаршала, главнокомандующаго кавалеріею и украинскою дивизіею, сенатора малороссійскаго, слободско-украинскаго, коллегіи малороссійской президента и пр. пр. графа Петра Александровича Румянцева-Задунайскаго». Жалобы состояли въ выкошеніи травы на лугахъ, той и другой стороною присвоиваемыхъ себѣ, въ заборѣ сѣна, въ побоѣ хлѣба, въ загребленіи лошадей, поминалась и та сожженная хата Макухи и пр., и пр.

Казалось бы, однихъ этихъ бумажныхъ дѣлъ могло стать на то, чтобъ занять сполна всю дѣятельность человѣка, давая ему прозвище «сутяги,» и не оставляя времени ни на что болѣе. Но

Ефимъ Лазаревичъ былъ не таковъ. Малороссійско-польскій панъ, который, по завѣтамъ стариннаго барства, долженъ былъ бы ничего не дѣлать, а Ефимъ Лазаревичъ все дѣлалъ, какъ самый практическій человѣкъ нашего времени. Живя на Корочѣ и въ своемъ хвощеватомъ, онъ умѣлъ составить дружескія тѣсныя сношенія въ Москвѣ и войти тамъ въ торговые обороты. У Ефима Лазаревича были два винокуренные завода, и онъ поставлялъ въ Москву спиртъ; у него было до шести, если не болѣе, садовъ на Подкопаевкѣ, на Погорѣловкѣ, на Бехтѣевкѣ, на Коломійцевой пасѣкѣ, въ самомъ городѣ и въ Хвощеватомъ: и тетушка еще запомнитъ огромныя жолобковыя корыта, въ которыхъ гнетились вишни, и Ефимъ Лазаревичъ поставлялъ вишневый морсъ въ Москву. Съ курскимъ богачомъ Переверзевымъ онъ держалъ на откупу Корочу. Плѣнные Турки, по наемной платѣ, выкопали ему пруды въ Хвощеватомъ и цѣлое озеро на Бехтѣевкѣ для винокуреннаго завода. Любопытна вольнонаемная плата работника тогдашняго времени. У Ефима Лазаревича было все, даже хозяйственная тетрадка, вся писанная его рукою, въ которой подробно обозначалось, что вотъ тогда-то было столько-то рабочихъ хохловъ и турчанъ. Плата хохламъ *по алтыну*, то-есть три копѣйки мѣдью, а турчанамъ—по *двѣ копѣйки*. Но, недоумѣвая о возможности подобной вольнонаемной платы, намъ надобно знать, что и мѣшокъ овса въ двѣ мѣры продавался тогда по алтыну съ денежкою, значитъ по теперешней *копейкѣ серебромъ*; а такой же мѣшокъ ржаной муки стоилъ *два алтына* менѣе двухъ копѣекъ серебромъ, слѣдовательно рабочій, получавшій въ день три винныя порціи и состоя на хозяйскихъ харчахъ—и надобно замѣтить, *на хорошихъ хорчахъ* (въ скоромный день баранъ, а въ постный непремѣнно рыба)—вольнонаемный рабочій столько же могъ жаловаться на свое положеніе, какъ и нанимавшій его хозяинъ.

Но помощникомъ и, что называется, «правою рукою» во всѣхъ дѣлахъ и распоряженіяхъ Ефима Лазаревича былъ

Максимъ Ивановичъ. Пока прадѣдъ состоялъ на казацкой службѣ паномъ-сотникомъ, онъ, какъ казакъ, не могъ имѣть крѣпостныхъ людей и ихъ у него не было, кромѣ трехъ четырехъ семей, которыя пришли за воеводской дочерью въ приданое и принадлежали собственно не ему, а женѣ его. Но будучи изъ сотника переименованъ въ чинъ провинціальнаго секретаря и прослужа въ этомъ чинѣ годъ службы всемилостивѣйшей великой монархинѣ, Ефимъ Лазаревичъ получилъ лично и потомственно всѣ права и достоинство россійскаго дворянства; а съ тѣмъ вмѣстѣ и главное изъ этихъ правъ— владѣніе душами. При своихъ поѣздкахъ въ Москву, онъ купилъ тамъ Максима Ивановича съ женою и двумя маленькими дочерьми, и Ивана московскаго, за которымъ осталось это прозвище и который былъ женатъ на сестрѣ Максима Ивановича... Въ самомъ-дѣлѣ, отмѣтное лицо былъ Ефимъ Лазаревичъ для своего времени! Если онъ не выше другихъ понималъ вообще достоинство человѣка, то самъ разумный, какъ звали его, онъ высоко цѣнилъ достоинство ума въ человѣкѣ. Разумность Максима Ивановича почти снимала съ него желѣзно-барскій ошейникъ власти Ефима Лазаревича. Не говоря о томъ, что Максимъ Ивановичъ никогда не слышалъ холопскаго полуимени Максимки, а Ефимъ Лазаревичъ говорилъ ему: «Друже ты мой, Максимъ Ивановичъ, изволь ты мнѣ сослужить такую службу...» И если Максимъ Ивановичъ служилъ, то служилъ одному Ефиму Лазаревичу и никому болѣе. Имъ не помыкали. За жизнь Ефима Лазаревича никому не подалъ тарелки Максимъ Ивановичъ. Пріѣзжали гости, бывалъ намѣстникъ Бѣлгородскій: но и самому намѣстнику служилъ Иванъ московскій и другіе, если не его собственная наѣзжая челядь; а Максимъ Ивановичъ, въ гостяхъ и дома, стоялъ за стуломъ у одного Ефима Лазаревича, только ему подавалъ тарелку и у него одного принималъ ее. Максимъ Ивановичъ никогда не торчалъ на запяткахъ. Не только въ саняхъ, а даже въ польской колясѣ онъ сидѣлъ рядомъ съ Ефимомъ Лазаревичемъ. Говоря словами древней пѣсни:

Съ одного блюда онъ пивалъ-ѣдалъ:

и если не *съ одного плеча платье нашивалъ*, то это потому, что Максимъ Ивановичъ носилъ французскій кафтанъ, косу съ чернымъ бантомъ и пудру, а Ефимъ Лазаревичъ по конецъ своей жизни не снималъ польскаго куртуша и не разувалъ желтыхъ сафьянныхъ сапогъ. Максимъ Ивановичъ былъ грамотный, и они вмѣстѣ съ бариномъ читали по постамъ духовныя книги и разсуждали вмѣстѣ о писанномъ. Держась, въ отношеніи своихъ челядинцевъ, такого львинаго правила стариннаго барства—что̀ *мое*, тому должно-быть хорошо, потому-что оно *мое*—Ефимъ Лазаревичъ настояще смотрѣлъ, чтобъ было хорошо, и иногда, что̀ случалось лѣтомъ, воротившись съ осмотра разнородныхъ вольнонаемныхъ и ненаемныхъ хозяйственныхъ работъ, онъ не садился за столъ, хотя прабабушка, внутренно выходя изъ себя, говорила покойнымъ голосомъ: «На столѣ, Ефимъ Лазаревичъ, кушанье стынетъ».—«Сейчасъ, моя Вѣра Григорьевна! Вотъ только съ Максимомъ Иванычемъ мы по серебряной выпьемъ», и полновластный баринъ выглядывалъ въ окно и поджидалъ замѣшкавшагося на хозяйствѣ слугу выпить съ нимъ по серебряной!

А между тѣмъ, переставъ быть сотникомъ, Ефимъ Лазаревичъ былъ все тотъ же властительный громкій панъ на Корочѣ, къ которому бѣлгородскій намѣстникъ пріѣзжалъ охотиться, и бѣлгородскій архіерей обѣдни служилъ и который поступая такъ человѣчно съ своимъ слугою Максимомъ Ивановичемъ, могъ и не съ слугою поступить совершенно иначе.

Разъ особенно широкимъ размахомъ растворились двери въ корочанскомъ домѣ Ефима Лазаревича и онъ, входя и бросая на полъ свою соболью шапку, повергнулся ницъ передъ образами. «*Азъ рабъ твой, азъ рабъ Твой и сынъ рабыни Твоея*»... въ могучемъ исповѣданіи своего сердца псаломски говорилъ онъ Богу. «Ты меня, Господи, создалъ! Ты меня воспиталъ—человѣкомъ межь людьми поставилъ и днесь сподобилъ недостойнаго меня воздать должное Іудѣ-преда-

телю, Ивану Башилову!» Ефимъ Лазаревичъ всталъ и трижды земнымъ поклономъ поклонился Богу.

Но любопытно знать: въ чемъ состояло это «воздаяніе должнаго» и кто таковъ былъ нарекаемый «предатель» Башиловъ?

Иванъ Ѳедоровичъ Башиловъ былъ лицо немаловажное, особливо по тогдашнему времени. Онъ былъ какой-то полковникъ, вмѣстѣ землемѣръ и курскій губернскій архитекторъ, проводившій дороги... Умѣлъ ли онъ составить какой-либо планъ по своей архитектурной части—это еще находилось подъ сомнѣніемъ; но сплетать сплетни, строить разныя маленькія каверзы, помогать *нашимъ* и *вашимъ* и выгораживать себя изъ общей бѣды наушничествомъ и шпіонскими продѣлками—на это было взять губернскаго архитектора. Побывалъ онъ не разъ на Корочѣ и побывки его непріятно отзывались въ Курскѣ. Иванъ Ѳедоровичъ не удовольствовался и еще пожаловалъ; протискивался вездѣ и всюду, явился и въ ратушу для *пріятельскаго курьезу*, говорилъ онъ. Но здѣсь его встрѣтилъ самый неожиданный курьезъ. Его—просѣкли. Среди бѣлаго дня, въ ратушѣ, десятскіе высѣкли губернскаго архитектора, и только Ефимъ Лазаревичъ, неизмѣнно-вѣрный польскимъ шляхетскимъ преданьямъ, велѣлъ подостлать, вмѣсто ковра, собственную медвѣжью шубу архитектора!

Перенесши пріятельскій курьезъ въ благоразумномъ молчаніи, Башиловъ отмстилъ Ефиму Лазаревичу по-своему. Онъ провелъ большую дорогу съ Новаго-Оскола на Старый черезъ Корочу и мимо самаго Хвощеватаго; хотя былъ давній путь на Яблоновъ, проложенный еще татарами, по которому они шли, какъ муравьи: и доднесь этотъ путь называется большимъ «муравскимъ шляхомъ».

Мщеніе Башилова *теперь* не имѣетъ смысла, когда всякій землевладѣлецъ, что бъ далъ, лишь бы большая дорога шла черезъ его имѣніе! Но *тогда* было иначе. Большія дороги, не принося нынѣшнихъ выгодъ, въ то время вели за собою

большое разореніе. Выбитый хлѣбъ, стравленный сѣнокосъ были постояннымъ бѣдствіемъ, за которымъ слѣдовали драки и цѣлыя свалки обозовъ съ народонаселеніемъ деревень, выбѣгавшимъ съ косами и вилами защищать свои поля. Особеннымъ наказаніемъ для жителей были огромные обозы съ казенной солью, тянувшіеся, тяжело нагруженные, на волахъ, подъ присмотромъ медленно-выступавшихъ хохловъ, которые рѣшительно не признавали никакой межи, ни возможной грани. «*Ге! мы казенный интересъ веземо!*» говорили они и располагались кормить и поить своихъ воловъ гдѣ имъ было угодно. Обыкновенно эти обозы сопровождалъ соляной приставъ, и только для того, чтобъ тѣнью казеннаго интереса попирать всѣ права интереса частнаго и оставаться безнаказаннымъ въ своей офиціальной личности. Ефимъ Лазаревичъ все это хорошо зналъ и сдѣлалъ не болѣе и не менѣе, какъ переоралъ поперегъ дорогу, проложенную Башиловымъ, и тѣ высокія хворостяныя плетушки, которыми тогда дороги обозначались по обѣимъ сторонамъ, Ефимъ Лазаревичъ перенесъ ихъ отъ Хвощеватаго на муравскій шляхъ. Но это было предѣломъ самоуправства Ефима Лазаревича. Законъ, подстрекаемый Башиловымъ, наконецъ воздѣйствовалъ, и Ефимъ Лазаревичъ умеръ подъ судомъ въ Курскѣ съ 11 на 12 декабря 1783 года. Такъ записано въ Святцахъ. Но его тѣло изъ Курска перевезли на Корочу и легъ Ефимъ Лазаревичъ своими смертными останками тамъ гдѣ онъ жилъ и властвовалъ! (*)

(*) Немножко любопытно сличить и видѣть громадное возрастаніе нашей откупной суммы... Въ годъ своей смерти Ефимъ Лазаревичъ съ Переверзевымъ Никаноромъ Ивановичемъ держали вмѣстѣ на откупу Корочу со всѣмъ уѣздомъ и платили 7000 ассигнаціями; а эту же самую Корочу теперешній откупъ держитъ за 105,000 рублей серебромъ. Прогрессъ достаточно-великъ!

III.

Анна Лазаревна сотничка.

Она была сестра своему брату по основной силѣ характера и по дѣятельности, по ея уму; но сурово-житейскій умъ сотнички былъ грабитель, искавшій только подобрать чужое. Никакимъ человѣчески-живительнымъ чувствомъ необлагодатствованное сердце женщины сжалось и закрѣпло, какъ кремень, въ изувѣрствѣ и жестокостяхъ.

Вторая жена сотника русской казацкой сотни на Корочѣ, она не приняла отъ мужа фамиліи, а, напротивъ, сама принесла ему въ приданое прозвище съ почетомъ отъ своего рода. Мужъ ея изъ зятя *протопопова* сталъ зваться всѣми «Протопоповымъ» и потерялъ свою фамилію Гурьева. По времени состарившійся и беззубый, бывшій сотникъ Гурьевъ обыкновенно сидѣлъ на крылечкѣ своего корочанскаго дома, и когда приходили къ нему судиться, или разбираться по какимъ дѣламъ, онъ отправлялъ: «А штупайте къ шударынѣ Аннѣ Лажаревнѣ! Ея милошть вшѣхъ вашъ ражберетъ и ражшудитъ». И судила суды Анна Лазаревна неправедные и лихоимные, съ посулами и поборами, съ тюрьмою и кандалами. Она была женщина въ высшей степени притяжательная, неумолимая и въ своихъ опредѣленіяхъ и порѣшеніяхъ неизмѣнима была ничѣмъ и ни почему! Вотъ женщина, которая въ нравоописательной исторіи нашихъ прошлыхъ суровыхъ временъ могла бы занять видное мѣсто «грозной судьбы» и своимъ негромкимъ, тихо-сказывающимся словомъ положить неодолимую преграду и, лучше меча, разсѣчь какой придется узелъ.

Въ нашей семейной памяти особенно-явственно обозначается Анна Лазаревна въ ту пору, когда мужъ ея давно умеръ, всѣ пять дочерей розданы были въ замужство, пять сыновъ ея кто въ должности, кто на службѣ и она — маленькая, неутомимо-подвижная, сухая старушка, всюду сама

по дѣламъ бываетъ, всѣхъ знаетъ и всѣ ее знаютъ, съ намѣстникомъ дружбу ведетъ и живетъ на островѣ у своей мельницы, какъ въ крѣпости: только чрезъ собственную ея плотину и есть доступъ къ ней.

Рѣка Короча верстъ за тридцать отъ города, запушаясь лозами, обмеляясь и затѣмъ отступая отъ своей окраины горъ, поросшихъ лѣсомъ съ мѣловыми прохватами и лысинами, широко загибается колѣномъ и въ загибѣ рѣки остается совершенно правильный и довольно-большой островъ. Хотя въ сторонѣ, черезъ рѣку, было селеніе (теперь Большая Слобода, а по старинному прозвищу «Городище», по огороженной бывшей крѣпости на превысокой горѣ), но близость населенія ничего не производила въ безмолвіи и пустынной захороненности острова. Съ одной стороны, наклоняясь надъ нимъ съ горъ, шумѣлъ и колыхался недремлющій лѣсъ, съ другой, ревѣла водяная мельница, и этотъ неумиряющійся шумъ и плескъ воды, шептанье робкое вербъ на островѣ, поопустившихъ свои вѣтви... чѣмъ и какъ оно наполняло душу суровой обитательницы? Собственно въ ея лицѣ представляется намъ образецъ страннаго и печальнаго — не то, чтобъ суевѣрія, а совершеннаго непониманія благодатнаго духа вѣры Христовой. Суровыя усилія запечатлѣть святыню вѣры не освященіемъ сердца въ духѣ заповѣданной любви и милосердія, а думать найти ее въ суровыхъ, истязательныхъ лишеніяхъ постничества, угрюмаго и само-по-себѣ безплоднаго! При поступкахъ Анны Лазаревны, при ея угнетательной притяжательности, несправедливостяхъ, ея немилосердіи къ своимъ должникамъ, при грозѣ ея внутренняго домоуправства, она была величайшею постницею и богомолкою. Лѣтъ за тридцать до смерти она уже никогда, ни въ день свѣтлаго праздника, не ѣла скоромнаго; круглый годъ *понедѣльничала*, то-есть, не только въ среду и пятницу, но даже по понедѣльникамъ совершенно постилась до захожденія солнца. На страстной недѣлѣ, поужинавъ въ вербное воскресенье, она только обѣ-

дала въ чистый четвергъ; а поужинавъ въ чистый четвергъ, разгавливалась на свѣтлый праздникъ, и какъ разгавливалась! постною пасхою, едва-испеченною съ орѣховымъ масломъ; даже краснаго яйца она не отвѣдывала. И молилась Анна Лазаревна по цѣлымъ долгимъ часамъ... Изумительно, какія странныя, ужасающія душу преданія идутъ о ея молитвѣ!

Былъ у пея прикащикъ Кирюшка, который, для принятія приказаній и ежечаснаго отчета во исполненіи ихъ, почти неотступно находился въ домѣ. Вотъ становилась Анна Лазаревна на свою утреннюю молитву. Молельная комната была вмѣстѣ и кладовою съ разными мѣшечками, кадочками, со всевозможною рухлядью и еще со стекольцемъ въ дверяхъ, чтобъ часомъ молитвы не мѣшало заглянуть: а что тѣмъ временемъ дѣлается по дому? Съ глубокимъ воздыханіемъ начинала Анна Лазаревна:

— *Господи Іисусе Христе, Сыне Божій...* Кирюшка!... Пока являлся Кирюшка, договорилось: *помилуй мя грѣшную...* А что ты тутъ? спрашивала Анна Лазаревна, не отводя глазъ отъ образовъ и начиная между-прочимъ:—*Матерь Божія!*

— Я здѣсь, сударыня. Чего изволите? произносилъ у стекольца Кирюшка.

— А что ты себѣ думаешь? А задалъ ты лозана вонъ тому цыганскому племени?... *Благодатная Марія, Господь съ тобою!* поклонялась до земли Анна Лазаревна...

И такъ она, впродолженіе своей страшной богохульной молитвы, разъ пять Кирюшку призоветъ и отпуститъ, донесеніе отъ него приметъ, человѣкъ трехъ въ кандалы засадитъ и закажетъ булокъ спечь, и тутъ же сама отвѣситъ, сколько слѣдуетъ, фунтовъ муки!

Слухъ объ Аннѣ Лазаревнѣ, о великомъ достаткѣ ея, расходился далеко; а въ то время это былъ слишкомъ-опасный слухъ. Воры и разбойники чуяли его и бѣда висѣла надъ головою. Не она ли заставила Анну Лазаревну основаться на неприступномъ островѣ? Однакожь и сюда не однажды подбрасывали записки съ увѣдомленіемъ сотничкѣ: «что,

вотъ, придутъ ее разорять, жечь и грабить, буде она не заплатитъ назначаемаго выкупа». Это была обыкновенная уловка тогдашнихъ разбойниковъ и воровъ: запугать первымъ дѣломъ, чтобъ вытребовать порядочную сумму, которую слѣдовало отнести и положить вечеромъ въ какое-нибудь означаемое дупло въ лѣсу, или подложить подъ извѣстный камень. Но на подобную уловку нельзя было поймать Анну Лазаревну. Она жгла записки и не думала отплачиваться; но за-то, какъ она была всегда насторожѣ!

На конюшнѣ у нея постоянно стояло три четверки лошадей; къ каждой опредѣлено было по кучеру и имена кучеровъ сохранились: Андрюшка, Гаврикъ и другой Кирюшка. Всякій изъ нихъ долженъ былъ знать собственно своихъ лошадей, чтобъ онѣ были выкормлены, вычищены и всегда наготовѣ. Въ какое бы время ночи и дня Анна Лазаревна ни скалала: «запрягать!» и чтобъ лошади были запряжены, пока она прочитаетъ три раза *Отче нашъ*. Но кто изъ кучеровъ поѣдетъ съ Анной Лазаревной и думаетъ ли она сегодня, или завтра, ѣхать и куда она ѣдетъ, и когда домой пріѣдетъ?—*Никогда никто ничего не зналъ*. Анна Лазаревна пріѣзжала и уѣзжала во всякое время дня и ночи. Напримѣръ, она ходитъ по дому, распоряжается всѣмъ, какъ обыкновенно, заказала на обѣдъ свои любимые бурачныя щи съ грибами; наклонилась надъ какимъ-нибудь сундучкомъ, роется тамъ, перебираетъ разные моточки, клубочки и вдругъ говоритъ своимъ тоненькимъ голоскомъ: «Эй! кто вы тамъ? А сказать скажите-ка Гаврику, чтобъ лошадей запрягалъ». Свареныя щи выливаются въ чистый кувшинчикъ и крѣпко затыкаются; лошади уже готовы. Анна Лазаревна, благословясь, садится въ желтую коляску одна, безъ дѣвки и лакея; ставятъ ей кувшинчикъ со щами и Гаврикъ съѣзжаетъ на плотину, потому-что ѣхать больше некуда. Но переѣхавъ плотину, Анна Лазаревна говоритъ: «направо!.... налѣво!.... поворотн туда!... ступай сюда!...» такъ-что Кирюшка и Андрюшка, и кто бы кучеромъ ни ѣхалъ, сидятъ на козлахъ,

только держать возжи; а куда они ѣдутъ, они не знаютъ, *и тѣмъ болѣе никому не скажутъ*. Такъ Анна Лазаревна оберегала свой выѣздъ отъ засадъ, измѣны и какого-либо предательства. Скорѣе можно было неожиданнымъ случаемъ захватить ее, но никакъ не умышленнымъ дѣломъ.

Само-собою разумѣется, что, при указанныхъ обстоятельствахъ, домъ былъ достаточно-укрѣпленъ засовами и запорами, внутренними желѣзными защепами, и Анна Лазаревна часто пріѣзживала къ себѣ за-полночь. Хотя въ домѣ всѣ точно знали, что это пожаловала она и слышали ея голосъ, и она приказывала отворить двери; но еслибъ это сдѣлали, Анна Лазаревна тутъ же на порогѣ дома, еще не переступивъ его, страшно бы наказала всѣхъ изъ головы въ голову. «А почему вы знаете, собачьи дѣти, можетъ то разбойники говорятъ моимъ голосомъ?» И водъ, изъ-за крѣпко-затворенныхъ дверей, долженъ былъ начинаться опросъ такого рода. Кирюшка не вѣритъ, чтобъ это была сударыня, Анна Лазаревна. Почему ея милость поздно пожаловала? Пусть она изволитъ назвать: кто съ нею эту рѣчь говоритъ? Анна Лазаревна называетъ Кирюшку. «А кто еще въ домѣ съ Кирюшкою есть?» идетъ дальнѣйшій допросъ. И Анна Лазаревна обозначаетъ по именамъ всѣхъ, живущихъ въ домѣ и нѣкоторыя примѣты ихъ описываетъ — поминаетъ даже кота бѣлоухаго на печи; но и здѣсь Кирюшка не смѣетъ удовольствоваться и перемѣняетъ обыкновенные вопросы на довольно-странные.

— *А что въ горшкѣ кипитъ*? спрашиваетъ.

— *Огонь*.

— *А что на полицѣ пече паляницѣ!* (*)

— *Вода*, отвѣчаетъ Анна Лазаревна.

И тутъ только засовы и запоры съ дверей падаютъ и Кирюшка впускаетъ свою грозную госпожу.

Удивительная женщина! Живши лѣтъ подъ девяносто, она не ослабѣвая, по самую смерть сохранила свою подвижность и безпрерывную, неутомимую дѣятельность по хозяйству

(*) А что на полкѣ печетъ лепешки.

Вслѣдствіе огромнаго скотоводства, молочные сборы въ то время составляли одну изъ главныхъ статей хозяйства и каждый день, съ весны и до поздней осени, Анна Лазаревна ѣздила за десять верстъ въ свои хутора, съ кувшиновъ сметану сбирать. Сама сниметъ сметану по-крайней-мѣрѣ съ сотни кувшиновъ; при ея глазахъ собьютъ масло; она освидѣтельствуетъ вечерній и утренній удой молока; приметъ новостворожденный сыръ, посолитъ его, сложитъ въ огромныя кади; поѣдетъ на пасѣки и тамъ еще огребетъ рои! Въ Аннѣ Лазаревнѣ изумительно является — утраченная нами, внучками и правнучками — эта способность нашихъ старыхъ людей не выпускать дѣла изъ рукъ, всегда что-нибудь да работать. Даже въ дорогу, вмѣстѣ съ кувшинчикомъ постныхъ щей, Аннѣ Лазаревнѣ ставили въ коляску витушку, на которой разматываютъ тальки, и она, сидя въ колескѣ, дорогою постоянно, или щелкала щипчиками орѣхи на масло, или разматывала пряжу и нитки. По бо̀льшему, или меньшему запасу орѣховъ и мотковъ нитокъ, домашніе даже могли приблизительно догадываться: въ далекій ли путь, или нѣтъ, ѣдетъ Анна Лазаревна? Одинъ разъ отъ сильнаго нажиманья щипчиковъ, у нея разболѣлся большой палецъ; сдѣлалась воспалительная краснота, потомъ это почернѣло и образовался антоновъ огонь. Анна Лазаревна приказала вскипятить большой мѣдный чайникъ воды, туго перевязала ниткою палецъ повыше больнаго мѣста и опустила его въ кипятокъ. Продержавъ въ кипяткѣ палецъ, пока боль совершенно занѣмѣла, Анна Лазаревна вынула его и осталась жива и здорова.

Тогда настояла нужда въ народонаселеніи. Послѣднее окончательное закрѣпленіе малороссійскихъ крестьянъ совершилось, и понятно, съ какой готовностью владѣльцы большихъ земель старались захватить въ свои руки эти рабочія силы, которыя правительство предоставляло имъ въ полное и безотчетное распоряженіе. Анна Лазаревна завела на островѣ винокурню и стала населять тѣсную деревушку. Владѣніе

всѣмъ имѣніемъ безраздѣльно находилось у нея; сыновьямъ Анна Лазаревна ничего не давала, и между-тѣмъ безпрестанно прихватывала новыя усадебныя мѣста, лѣсныя урочища, луга, сады, разнородныя угодья. Надобно было только Аннѣ Лазаревнѣ захотѣть вбить колъ возлѣ какого мужичка, котораго поселокъ почему-нибудь ей начиналъ нравиться, какъ бѣднякъ, стращаемый опаснымъ сосѣдствомъ, самъ являлся къ сотничкѣ и Христомъ-Богомъ просилъ положить цѣну, какую угодно, его усадьбѣ и взять ее себѣ. Тогда деньги были за рѣдкость. Серебряный рубль и въ глаза мало попадался. Анна Лазаревна давала свои рубли въ заемъ и непремѣнно подъ залоги. У цыганъ и даже вольныхъ поселянъ она брала взрослыхъ дочерей въ залогъ; только отцы не уплачивали къ сроку, Анна Лазаревна забирала на островъ дѣвокъ, отдавала замужъ за своихъ людей и населяла хутора свои и островскую деревушку.

Сохранилось преданіе, какимъ-образомъ Анна Лазаревна составляла браки своихъ людей. На хуторахъ у нея по одной и по двѣ свадьбы никогда не бывало. А когда собиралось достаточное число шести, или семи дѣвокъ, оставшихся у нея въ закладѣ и къ нимъ подростало нѣсколько своихъ, тогда вдругъ Анна Лазаревна (у нея все подобное дѣлалось неожиданно) призывала отцовъ и матерей, у которыхъ были сыновья, молодые парни, что женить пора и говорила: «А что вы сидите да съ пусту думу думаете? Ребятъ женить пора».—«Да, коли милость твоя великая будетъ!»—кланялись отцы и матери въ ноги Аннѣ Лазаревнѣ и она повелѣвала представить предъ себя всѣхъ женіховъ и невѣстъ, Размѣстивъ ихъ въ два ряда другъ противъ друга, она проходила между ними и указывала пальцемъ: «тебѣ вотъ эта! а тебѣ, вотъ, та... а ты, вотъ, эту бери», и прекословія никакого не могло быть! Затѣмъ тутъ же отрѣзывались красныя юбки невѣстамъ и сорочки женихамъ барскаго пожалованья; приказывалось Кирюшкѣ отпустить извѣстное количество пшеничной муки на короваи; жаловала Анна Лазаревна прямо изъ куба водки на веселье и, чтобъ все было живо,

какъ горѣло— на послѣзавтра чтобъ и свадьбы были окончены. Спарованные женихи и невѣсты уже, по обычаю «молодыхъ», а отцы и матери ихъ, въ благодареніе Аннѣ Лазаревнѣ за великія милости, поклонялись ей до земли большимъ поклономъ, и менѣе чѣмъ въ три четверти часа вся жизненная участь молодаго поколѣнія была рѣшена безвозвратно.

Теперь мнѣ слѣдуетъ разсказать довольно-странный случай. Не позволяя себѣ никакихъ истолкованій на него, я только перевожу на свои страницы необычайное сказаніе, за истину котораго могли поручиться въ свое время цѣлыя сотни людей, волею и неволею участвовавшихъ въ дѣлѣ.

Я уже говорила, какъ Анна Лазаревна давала свои рубли съ займы. Одинъ бѣдный мужикъ изъ того ближняго, напротивъ острова, селенія Городища, приневоленный неминучей нуждою, вымолилъ Христомъ-Богомъ у Анны Лазаревны мѣдный рубль алтынами. Взрослой дочери у него не было, что взять ее подъ залогъ, а было только четверо маленькихъ дѣтей, и потому Анна Лазаревна сказала, что она возьметъ корову, буде должникъ не уплатитъ къ сроку. Нѣтъ сомнѣнія, что бѣдный человѣкъ изъ всѣхъ силъ старался, чтобъ удовлетворить свою грозную заимодавицу къ назначенному дню. Но легко ли было въ тѣ времена заработать этотъ несчастный рубль, когда лучшему работнику у Евпма Лазаревича была поденная плата менѣе теперешней копѣйки серебромъ? и къ тому еще бѣдняку пошло на несчастье: родилось у него дитя и потомъ умерла жена. Волею и неволею, онъ долженъ былъ истратиться на крестины и похороны, а затѣмъ и срокъ сближался. А у Анны Лазаревны было свое обыкновеніе: передъ окончаніемъ срока призывать къ себѣ должниковъ и спрашивать ихъ: «А что они думаютъ: платить, или нѣтъ?» Затѣмъ Анна Лазаревна принимала свои предусмотрительныя мѣры. Такъ и здѣсь, она послала за мужикомъ. «*А що ты собі, человіче, яку думку маешь*?»—спрашиваетъ его. «Сроку тебѣ остается одна недѣля». Бѣднякъ упалъ въ ноги, молитъ и разсказываетъ свое горе... «Уже то тебѣ такъ Богъ далъ;

а ты меня, человіче, знаешь», сказала Анна Лазаревна: «корову возьму». А эта корова была матерью, которая одна питала четырехъ осиротѣлыхъ дѣтей и пятаго новорожденнаго! Прошла недѣля и наступилъ конецъ сроку. Анна Лазаревна снарядила Кирюшку и еще нѣсколько человѣкъ, чтобъ они пошли, взяли съ двора у мужика корову и вмѣстѣ съ коровою привели его самого: «засадить его, собачьяго сына, въ островскую тюрьму, чтобъ онъ зналъ, какъ брать деньги и платить въ срокъ». Но мужикъ самъ входитъ къ Аннѣ Лазаревнѣ, кланяется ей низко и подаетъ на ладони *серебряный рубль*. Анна Лазаревна смотритъ и видитъ, что это петровскій рубль и что онъ долго лежалъ въ землѣ, потому-что заплеснѣлъ и позеленѣлъ по краямъ. Мысль *о кладѣ*, вѣроятно, промелкнула въ головѣ Анны Лазаревны. «А гдѣ ты, человіче, сей рубль взялъ?» спрашиваетъ она. «У тебя денегъ не было... Это такой рубль, что моему дѣду ровесникъ. Гдѣ ты его взялъ?»—«Заработалъ» отвѣчалъ, смущаясь, мужикъ. За одну недѣлю у тебя такіе заработки стали?... Кирюшка, въ кандалы его! засадить вора... Онъ подъ государеву тайную казну подкопался!», рѣшила Анна Лазаревна. Мужика схватили и заковали его въ кандалы. Всѣми святыми отпрашиваясь и клянясь, что онъ ничего того не знаетъ и что онъ истинно заработалъ рубль, мужикъ обѣщался разсказать все, какъ было, безъ утайки...

И вотъ что онъ разсказалъ:

Идучи отъ Анны Лазаревны, онъ былъ въ великомъ горѣ—думалъ наложить на себя руки и даже въ избу не вошелъ, а сѣлъ на заваленкѣ. Стали сумерки. Мимо его кто-то быстро прошелъ. Онъ поднялъ голову и тотъ человѣкъ, остановясь, оборотился къ нему. «Другъ, говоритъ, нѣтъ ли здѣсь кого, кто бы взялся мнѣ ось поддѣлать! Въ лѣсу у меня поломалась ось. Я заплачу». Человѣкъ былъ какъ-бы купеческій прикащикъ и о чемъ говорилъ онъ—было дѣло вполнѣ вѣроятное. Черезъ лѣсъ у Городища лежала большая проѣзжая дорога изъ Бѣлгорода и когда, по осени, начинали портиться дороги, то здѣсь ломка бывала частая, какъ она и теперь

есть. Мужичокъ обрадовался случаю заработать сколько-нибудь; попросилъ обождать, пока онъ сходитъ въ избу, возьметъ топоръ—и тотъ человѣкъ стоялъ, ждалъ его на улицѣ и потомъ они пошли. Бѣдняку, въ его горѣ, было не до разговоровъ, и тотъ тоже молчалъ и шелъ нѣсколько впереди. Пришли они точно въ лѣсъ и на бѣлгородскую дорогу; тотъ своротилъ нѣсколько въ сторону и указалъ на одно дерево. «Сруби, говоритъ, другъ, и обдѣлай ось». Мужичокъ срубилъ дерево и обдѣлалъ, какъ слѣдуетъ ось. «Теперь, говоритъ, бери съ собою. Пойдемъ». Пошли они прямо въ лѣсъ. Шли они тоже молча и что-то какой-то трепетъ сталъ пронимать мужичка. Показался свѣтъ. Они пришли къ отворенному погребу. Тотъ человѣкъ вошелъ первый и говоритъ: «Неси, другъ». Когда мужичокъ, въ робости, вступилъ туда, онъ увидѣлъ, что свѣтъ шелъ отъ иконы, передъ которой горѣла лампадка, и въ погребѣ, подъ стѣнами, стояли на колесахъ боченки, какъ-бы ихъ собирались везти куда, и подъ однимъ боченкомъ точно передняя ось подломилась. Тотъ человѣкъ указалъ мужичку на нее, и когда, въ робости и недоумѣніи, мужичокъ началъ возиться, подлаживать ось, онъ и самъ помогъ ему приподнять тяжесть. Когда дѣло было окончено, этотъ человѣкъ открылъ закладку у того самаго боченка, подъ которымъ поддѣлана была ось, опустилъ въ него руку и, вынимая оттуда, подалъ мужичку рубль. «Теперь ступай, Богъ съ тобою!» сказалъ ему.

Можно судить, какимъ образомъ подѣйствовалъ на Анну Лазаревну этотъ разсказъ, существенное доказательство о которомъ она держала въ рукахъ—старый петровскій рубль, заплеснѣлый и позеленѣлый вслѣдствіе обыкновенной сырости въ погребахъ. Не выпуская мужичка изъ кандаловъ, она послала гонца въ Корочу, гдѣ было у нея два сына—одинъ городничимъ, а другой засѣдателемъ—чтобъ быть имъ немедля. Тѣ прибыли, сбили громаду мужиковъ изъ всего Городища; сама Анна Лазаревна, распоряжаясь, повелѣла бѣдняку вести на мѣсто, гдѣ онъ говорилъ, что все было.

Мужичокъ, ни мало не запинаясь, привелъ къ тому мѣсту, гдѣ человѣкъ велѣлъ ему срубить дерево и обдѣлать ось— и тамъ точно нашли дерево срубленнымъ и щепы лежали при немъ. Хорошо-знакомый съ мѣстностью роднаго лѣса, бѣднякъ шелъ все дальше и дальше; наконецъ остановился и сказалъ: что именно здѣсь былъ погребъ. Но вмѣсто погреба зеленѣлъ небольшой пригорокъ *и на немъ лежала старая поломанная ось...*

Анна Лазаревна, разумѣется, принялась рыть всею громадою и не вырыла ничего (*).

Я уже говорила, что она жила лѣтъ подъ девяносто, все особясь одна на островѣ. Даже временное посѣщеніе дѣтей было ей въ отягощеніе. Она имъ рѣшительно ничего не давала и сыновья, всѣ женатые и съ большими семействами, рѣшились наконецъ прибѣгнуть къ дядѣ Ивану Лазаревичу (Ефима Лазаревича уже въ живыхъ тогда не было), чтобъ онъ поговорилъ—вѣдь сестра же ему Анна Лазаревна!—и отъ Божества ей поговорилъ, и такъ по человѣчеству, что сыновья старѣются, у нихъ свои дѣти взрослыя; а она, что называется, куска хлѣба не даетъ имъ въ руки! Иванъ Лазаревичъ видѣлъ, что племянники вовсе правы, и въ назначенный день съѣхались сыновья съ женами и дочери къ Аннѣ Лазаревнѣ; пріѣхалъ и онъ. Сыновья просили и братъ говорилъ и просилъ, и на совѣсть отдавалъ—не послушалась Анна Лазаревна. «А коли такъ» сказалъ Иванъ Лазаревичъ, раздосадованный, уѣзжая: «*пожаловать, волною морскою*». Это была несчастная метафорическая фраза, какъ-бы дававшая племянникамъ свободу поступить такъ же бурно и своевольно, какъ ходятъ волны въ морѣ. И (страшно

(*) Въ 1857 году мнѣ случилось быть въ Городищѣ и мнѣ даже вызывались показать въ лѣсу это мѣсто погреба, которое доднесь будто-бы обозначается ямою,—разсказывая при томъ, что Анна Лазаревна, мало того, что начала рыть, а что она будто-бы дорылась до желѣзной рѣшетки погреба и своими глазами увидѣла стоявшіе на колесахъ боченки; но вдругъ подъ землею что-то страшно загуло и показавшійся погребъ провалился сквозь землю, отчего и осталась доднесь существующая яма.

сказать) остался слухъ, что сыновья Анны Лазаревны, жестоко огорченные ея отказомъ и, нѣтъ сомнѣнія, разгоряченные обѣденнымъ пиршествомъ, безъ котораго не могъ обойтись такой съѣздъ родныхъ, будто они—буквально принимая слово дяди: *волна* и видя ее такъ близко у себя передъ глазами—тащили мать. Говорятъ, Анна Лазаревна прокляла дѣтей; но, по-крайней-мѣрѣ, ничего не давая сыновьямъ и дочерямъ, она стала много раздавать на церкви и монастыри и начала отправлять большіе вклады въ Кіевъ.

Наконецъ она умерла... И хотя это невѣроятно, какъ ходили слухи, будто послѣ ея смерти сыновья мѣрками дѣлили серебряныя деньги, но, нѣтъ сомнѣнія, что имъ много досталось въ вещахъ и въ имѣніяхъ, и вообще въ хозяйственномъ добрѣ: мельницы, сады; а земли сколько было! И что же? Я знала старыхъ внуковъ Анны Лазаревны — и у нихъ уже ничего не было. Они только не просили милостыни, но имъ можно было подать ее. И не то, чтобъ эти люди до конца безпорядочной жизнью растратили свое состояніе—вовсе нѣтъ; но какъ-то оно разошлось, расползлось... Вода и огонь пришли на него—и на беззаконность дѣлъ бывалаго времени возсталъ законъ съ своимъ судящимъ правомъ. Началось генеральное размежеваніе земель; потребовались отъ потомковъ Анны Лазаревны документы на право ихъ владѣнія тѣмъ или другимъ участкомъ земли; а что они могли представить? Въ тѣ времена письменныя обязательства были не въ большой силѣ. Анна Лазаревна покупала свои притяжательныя покупки на бо́льшую часть безъ купчихъ, и въ закладѣ у нея оставшіяся земли тоже были безъ закладныхъ. У наслѣдниковъ начались дѣла, пошло разореніе, и на дѣтяхъ Анны Лазаревны исполнилось слово сказанное: *кто не собираетъ со мною—расточаетъ...*

Но кромѣ своихъ дѣтей, у Анны Лазаревны была еще падчерица, Анна Егоровна. Мать ея, изъ рода Веригиныхъ, оставила ей хорошее состояніе. Анна Лазаревна завладѣла

всѣмъ и выдала силою бѣдную молодую дѣвушку за одного пьянаго архіерейскаго пѣвчаго, который, однако, былъ изъ дворянъ.. Пѣвчій и умеръ съ вина гдѣ-то у чужихъ воротъ; но сынъ его былъ священникомъ. А знаете ли, кто былъ сынъ этого священника?

О, Котляревскій! бичъ Кавказа! (*).

IV.

Немножко среднихъ вѣковъ.

«Мы не имѣемъ среднихъ вѣковъ ни въ государственномъ, ни въ общежительскомъ бытіи», сказалъ князь Вяземскій въ своемъ Фонвизинѣ. Можетъ-быть, оно и такъ; но когда вдоволь наслушаешься и наберешься разныхъ сказаній и вспоминаній о старинѣ, какимъ собственно Русскимъ средневѣковымъ царствомъ и государствомъ сдается царствованіе Екатерины-Второй. По-крайней-мѣрѣ въ нашемъ общежи-

(*) Тётушка однажды въ жизни только видѣла Анну Лазаревну и въ ея дѣтскихъ воспоминаніяхъ живо сохранилось, какъ Анна Лазаревна, подъ какой-то праздникъ, лѣтомъ пріѣхала въ Корочу на вечерню и привезла большую серебряную вызолоченную ризу на ту икону чудотворца Николая, что въ соборѣ. Вечерня еще не начиналась и Анна Лазаревна вошла въ домъ къ нашимъ. Старшихъ никого въ домѣ не было: Евнимъ Лазаревичъ давно умеръ, а прабабка Вѣра Григорьевна еще не прибыла изъ хутора и тётушка одна, безмолвнымъ ребенкомъ, просидѣла съ своей гостьею. Слышавши прежде, какъ часто произносили съ какимъ-то страхомъ: «Анна Лазаревна! Анна Лазаревна!» и видя, какъ теперь старая няня и вся прислуга въ робкомъ изумленіи жались къ сторонкѣ и шептали между собою «Анна Лазаревна!» тетушка и сама любопытнымъ, замѣчательнымъ взглядомъ ребенка устремилась къ Аннѣ Лазаревнѣ. И теперь она помнитъ ее всю и весь ея нарядъ: маленькую, худощавую старушку у окна, повязанную, какъ тогда называлось, «уточкою»,— темно-фіолетовымъ шелковымъ платкомъ. На Аннѣ Лазаревнѣ была шелковая гро-де-туровая юбка болотняваго цвѣта и *ситцевый* шушунчикъ. Насъ, женщинъ, можетъ поразить несообразность въ статьяхъ наряда: но для этого надобно знать, что въ тѣ времена аршинъ гро-де-тура платился *тридцать копѣекъ мѣдью;* а самый плоховенькій ситецъ былъ не дешевле *двухъ рублей съ полтиною.*

тельномъ быту, вы не отнесете это царствованіе ни къ грозной сиверкѣ Петра-Перваго, ни ко временамъ Александра-Благословеннаго; но это самъ-по-себѣ отдѣльный вѣкъ Екатерины-Второй. Мы еще не отошли отъ него на полныя пятьдесятъ лѣтъ (потому-что, говоря съ разсудительностью, не смерть Екатерины, а жизнь ея вѣка, выживавшаяся у насъ сполна и на раздольи до «славной памяти двѣнадцатаго года»—одинъ конецъ этой жизни можетъ обозначить рубежъ); а между-тѣмъ, не представляется ли онъ намъ, какъ-бы давноминувшимъ, что слухи о немъ и даже живыя изустныя сказанья зовутся у насъ *преданіями екатерининскихъ временъ?* И въ этихъ преданіяхъ, въ несозданной еще исторіи екатерининскаго вѣка, сколько, если хотите, *исходно* средневѣковаго въ слагающемся смыслѣ нашего общества, которое мало-по-малу получаетъ новыя потребности; въ немъ безсознательно шевелятся новыя силы; немножко просвѣщенія перестаетъ быть офиціальнымъ лоскомъ, чѣмъ-то въ родѣ парадной формы при дворѣ; а являются Шварцъ и Новиковъ, народно-сатирическіе типы Фонвизина. На его широкой пятѣ начинаетъ колебаться нашъ закоренѣлый феодализмъ невѣжества и предразсудковъ, и при этомъ судите, сколько должно было возникнуть борьбы на жизнь и умиранье! Какія суровыя личности, совершенно въ духѣ средневѣковаго выявленія грубой матеріальной силы и съ нею нераздѣльнаго насилія и самоуправныхъ жестокостей, должны были выйти и показаться въ нашемъ обществѣ предъ тѣмъ, какъ исчезнуть этимъ личностямъ мало-по-малу!

У насъ ли не было тѣхъ грозныхъ феодальныхъ бароновъ, нашихъ старинныхъ баръ, которые, выславъ отъ себя въ передовые государственные удальцы цѣлую семью Орловыхъ, заявя свою жизненно-поэтическую силу въ стихахъ Державинымъ и въ жизненной прозѣ великолѣпнымъ княземъ Тавриды, обозначивъ себя столькими лицами вельможнаго вѣка Екатерины — засѣли наши остальные бары въ своихъ помѣстьяхъ, ни чуть неуступавшихъ по значительности фео-

дальнымъ баронствомъ, и что они тамъ дѣлали на свободѣ, на раздольи своей барской воли, принимавшей за рубежъ себѣ свою силу? Какія легенды могли бы составиться со всею грубою суевѣрной чудесностью среднихъ вѣковъ и съ ихъ суровыми принадлежностями подземельныхъ темницъ, желѣзныхъ запоровъ, жертвъ, узницъ!... А эти красующіяся картины великолѣпныхъ охотъ съ травлями на вепрей и медвѣдей, и даже на шутовъ и дураковъ, прикрытыхъ медвѣжьей шкурою! И разгульные пиры послѣ охотъ въ нашихъ дубовыхъ лѣсахъ и заповѣдныхъ рощахъ, съ сверкавшей обстановкою цыганскихъ плясокъ и пѣсенъ, заплетавшихся вокругъ хороводовъ—гудки и гусли, роговая музыка и наша полуазіятская роскошь, ярко и странно смѣшивавшаяся съ утонченной французской нѣгою и соблазнительной роскошью восьмнадцатаго столѣтія! Наконецъ, для показанія отваги и удали, лихое молодечество, ночные наѣзды — этотъ чистый разбой феодальныхъ бароновъ при большихъ дорогахъ, который даже не назывался у насъ разбоемъ, а говорилось о немъ просто: «выѣхать въ ночь попробовать охоты».

Удивительно, какъ у Русскаго человѣка слово *разбой* почти не придается дѣлу! «Пошаливаютъ тамъ-то», говоритъ онъ, и скорѣе *разбойникомъ* назоветъ уличнаго озорника, подставившаго ногу, или подтолкнувшаго чарку... Какъ хотите, народный духъ очень чутокъ и первый судья въ вещахъ этого рода. Не указываетъ ли онъ, что преимущественно такъ-называемыя «шалости» въ нашихъ лѣсахъ и при большихъ дорогахъ—въ своемъ народнопобудительномъ началѣ — были чистое молодечество, неусидчивость отваги, удаль залихватская, выступавшая поразмять руки, попотѣшиться? Теперь это другое дѣло. Время потѣхи прошло, молодечество отгулялось; теперь время мирнаго великаго дѣла, но встарину, въ нашъ средневѣковой вѣкъ Екатерины, это именно было такъ.

Повторяю, что̀ было дѣлать огромной фалангѣ нашихъ «столбовыхъ» и «нестолбовыхъ» дворянъ, которые отслу-

жили свое, или, по дарованной *вольности дворянства*, вовсе не собирались служить, а замуровались они въ своихъ муромскихъ и немуромскихъ лѣсахъ и, какъ сычи, засѣли по своимъ помѣстьямъ? Пировать? Они и пировали. Охотиться? Они ли не охотились, когда даже оставили въ народѣ насмѣшливую пословицу своихъ распоряженій: «семеро — по зайца, одинъ — молотить». Но этого было мало, не захватывало всей удали молодецкаго духа и вотъ они — *пошаливали*. Какъ всякая шалость, слишкомъ-увеличивающаяся, заводитъ далеко: такъ и эта, тѣмъ съ наименьшимъ исключеніемъ, переступала всѣ границы, дозволенныя въ благоустроенномъ государствѣ и прямо подходила подъ уголовное преступленіе.

Обыкновенно, дѣло начиналось почти такъ: что какому-нибудь вдоволь-напировавшемуся и наохотившемуся, извѣстному по околотку богатому барину приходила мысль выместить на комъ свою досаду. Выбравъ удобное время, въ ночь, посадя на конь свою дворню — доѣзжачихъ и стремянныхъ у стременъ — баринъ молодецкимъ налётомъ налеталъ къ своему противнику, зажигалъ ему гумно, амбаръ, подпаливалъ деревню и уносился съ гикомъ и хлестаньемъ арапниковъ прежде, чѣмъ противникъ, какъ поднятый заяцъ, успѣвалъ рѣшиться на что-нибудь. Отвѣдавъ разъ отваги и пыла ночнаго наѣзда, баринъ разгорячался. Онъ хорошо зналъ, что только слабые пытались находить защиту у суда, а равносильный соперникъ поищетъ помѣряться собственными силами. «Долгъ платежемъ красенъ», наша старинная пословица, и зачинщику-барину слѣдовало быть наготовѣ... И кромѣ того, огни, зажженные собственной рукою и пылавшіе заревомъ на ночномъ небѣ — эти огни и усиленный скокъ его коня, упоительная, можетъ-статься, темнота лѣтней росистой ночи, раздражительное щекотанье отмщенія, удачи совсѣмъ опьяняли голову барину, на половину опьяненную виномъ. У него въ крови сохранялось ощущеніе этого мгновенія и на пирахъ уже обыкновенный хмѣль не

бралъ его; голова горѣла. Иного хмѣля отвѣдалъ баринъ и его раздражительнаго опьяненія, пыла, захватывающаго духъ, хотѣла душа—и внезапно поднимаясь съ пира, нашъ баринъ кричалъ: «коня!» Не заставъ противника или, можетъ-быть, испытавъ пораженіе, ватага неслась назадъ и на пути своемъ находила дерзкаго, который осмѣлился повстрѣчаться ей. «Бери его! держи! ату его!» бросалась ватага на потѣху, хватала и ловила... Этимъ людямъ или, вѣрнѣе сказать, одному изъ нихъ необходимо было какое-нибудь возбужденіе. Распалясь немного, онъ несся прытко на свой неоконченный пиръ и, заполевавъ новаго звѣря, виномъ праздновалъ свою побѣду и заливался смѣхомъ надъ воимъ приключеніемъ. На утро онъ могъ и съ наградою отпустить захваченнаго; но стоило только начать... Нашъ баринъ много изволилъ потѣшиться своей новой охотою; онъ входилъ во вкусъ ея и скоро узналъ, что при большихъ дорогахъ, налетая налётомъ, можно захватить того раздражительнаго опьяненія, котораго не ставало ему за его барскимъ столомъ. Извѣстно, что эти столы большихъ баръ обыкновенно окружали мелкопомѣстные прихлебатели и приживатели. Волею и неволею они должны были участвовать во всякой потѣхѣ своего милостивца. Посмѣть прекословить было нельзя, потому-что сильное убѣжденіе арапниковъ могло воспослѣдовать въ ту же минуту; и вотъ у большаго барина, затѣявшаго средневѣковое рыцарство при большихъ дорогахъ, была своя готовая шайка.

Но, что̀ изумительнѣе всего, такъ и женщины принимали участіе въ подобныхъ «шалостяхъ», и даже находились такія, что предводительствовали ими, играли первую роль въ нихъ! Въ Путивльскомъ уѣздѣ судилась и была сослана въ Сибирь Марѳа Дурова, у которой было тысяча душъ, и она съ тремя сыновьями сама выѣзжала подъ разбой, то есть «на охоту», какъ тогда говорилось.

Гражданская неурядица, безпрестанныя войны, бѣглые солдаты, ребята, спасавшіеся въ лѣсахъ отъ некрутчины —

все это приливало сильнѣйшей подмогою къ барскимъ охотничье-дворовымъ шайкамъ. Этого мало: духъ предпріимчивой совмѣстности сближалъ нѣсколько такихъ шаекъ и дѣлалъ ихъ владычество непрерывнымъ на протяженіи пятисотъ или шестисотъ верстъ. Такъ шайка, о которой я буду говорить, имѣя свое главное развѣтвленіе въ Мценскомъ и Ливенскомъ уѣздахъ, концомъ своимъ далеко уходила въ новороссійскія степи. На всемъ этомъ протяженіи у нея были свои притонныя станціи, свои этапы, по которымъ безпрестанно передвигалась и передавалась добыча: такъ-что вещь, пропавшая въ Мценскѣ, или въ Ливнахъ, въ ту же ночь была уже далеко на пути въ Малороссію и въ новороссійскія степи, и производить о ней поиски на мѣстѣ было дѣломъ совершенно безплоднымъ. Можно судить, до чего доходила спокойная дерзость этихъ шаекъ, когда онѣ цѣлыя партіи ворованныхъ лошадей препровождали среди бѣлаго дня изъ села въ село, имѣя людей переодѣтыхъ солдатами и офицера при нихъ, который будто-бы велъ ремонтъ и по всему пути требовалъ и получалъ безплатное сѣно и овесъ лошадямъ, постой и кормъ людямъ.

Къ отросткамъ этихъ шаекъ, на границѣ Корочанскаго и Новооскольскаго уѣздовъ, принадлежала многочисленная фамилія Деревицкихъ. Гнѣздо ихъ была маленькая разбросанная деревенька Пады. Впослѣдствіи, по рѣшенію суда, она была срыта и имя ея уничтожено; но память о ней залегла въ народной мѣстной поговоркѣ того времени: «какъ проѣхалъ Пады, то и подь да пади!» Уноси ноги поскорѣе, чтобъ голова была цѣла. Деревенька лежала подъ лѣсомъ и, миновавши ее, начинались странныя лѣсистыя впадины, не отвершки лѣсныхъ овраговъ, а просто большія округленныя углубленія, густо поросшія лѣсомъ. Эти-то западины — пады — какъ дали названіе деревушкѣ, такъ и много способствовали утвердившимся въ ней промысламъ.

Но въ Курской губерніи особенно этими промыслами извѣстенъ былъ Путивльскій уѣздъ. Угрюмая, суровая мѣст-

ность, по всему теченію Семи, покрытая непрерывавшимися лѣсами, развила и придала особенно мрачный характеръ отправлявшемуся дѣлу. Въ немъ проглядывало суровое звѣрство, ѣдкость потѣхи надъ свершеннымъ злодѣяніемъ, что вообще несвойственно русскому человѣку. Такъ помнятъ, что на берегу Семи былъ найденъ трупъ съ приподнятой вверхъ рукою, въ которой онъ держалъ записку: *Семь съѣла Семъ—осьмой на берегу, семерыхъ берегу.* Кромѣ сказанной шайки Марѳы Дуровой, въ Путивлѣ была еще сильно распространена шайка нѣсколькихъ братьевъ Воронòповыхъ. Тамъ въ промыслъ входили всѣ крестьяне. Днемъ они ничего не работали на господина, не справляли никакой барщины; но черезъ каждую темную ночь, на утро, крестьяне должны были представить заработанныхъ денегъ по рублю на человѣка. Но, принимая разсудительно во вниманіе, что въ лунную ночь подобные заработки достаются труднѣе, то и цѣна соразмѣрно сбавлялась на половину въ тѣ ночи, когда свѣтилъ мѣсяцъ. Шайка Воронòповыхъ была наконецъ выслѣжена по пятамъ, не смотря на всѣ ухищренія изобрѣтательнаго плутовства скрыть свои слѣды. Для этого они подковывали лошадей, оборачивая задомъ на передъ подковы и подвязывали имъ къ ногамъ лапти, тоже пятками наоборотъ и такимъ образомъ оставляли позади себя самый ложный слѣдъ, который не только не наводилъ на нихъ, а напротивъ, въ другую совсѣмъ сторону направлялъ преслѣдованіе.

Если смотрѣть на жизнь не какъ на случайное сцѣпленіе тѣхъ или другихъ происшествій, а надъ всѣми ими видѣть написаннымъ: *есть Богъ*, то поразительно, какія судьбы правды Божіей объявятся иногда передъ нами!

Когда открыта была передъ закономъ эта шайка Воронòповыхъ и судъ приступилъ къ разбирательству всѣхъ обстоятельствъ страшно-сложившагося дѣла, оказалось, что одинъ изъ Воронòповыхъ, отецъ, выѣзжая подъ разбой съ тремя сыновьями, бралъ съ собой еще и четвертаго, лѣтъ тринад-

цати мальчика. Поступивъ съ другими со всей карающей строгостью своихъ опредѣленій, законъ остановился передъ несовершеннолѣтіемъ этого мальчика; и хотя доказано было, что онъ участвовалъ съ отцомъ; но какъ это участіе могло быть невольное и принужденное, то судъ, смягчая кару закона до простаго исправительнаго наказанія, присудилъ мальчику, по достиженіи имъ совершеннолѣтія, выдержать передъ судомъ тѣлесное наказаніе въ нѣсколько ударовъ розогъ. Лѣта проходили. Мальчикъ, ставшій очень-богатымъ, почти единственнымъ наслѣдникомъ всѣхъ имѣній своей фамиліи, увезенъ былъ въ Петербургъ; учился тамъ, служилъ, путешествовалъ за границею и только черезъ семнадцать лѣтъ прибылъ на свою родину. Какъ самъ онъ едва-ли помнилъ, такъ и здѣсь все прошло, совершенно позабылось и времена наступили другія; да и не было повода вспоминать, что было, видя такого блестящаго во всѣхъ отношеніяхъ и по своему положенію молодаго человѣка... а рука правосудія Божія, часто медлительнаго, потому-что непреложнаго, уже поднималась надъ нимъ.

Подошли выборы. Дѣло было еще вновѣ и сильно возбуждало всѣхъ. Званіе «предводителя дворянства» чрезвычайно льстило и горячило честолюбіе. По богатству своему и лоску образованности, а, можетъ-быть, и по другимъ болѣе-возвышеннымъ даннымъ, молодой Воропоновъ могъ искать избранія своего въ предводители, и онъ сталъ горячо искать. Но ему явился соперникомъ старый, гордый претендентъ, немогшій уже переносить мысли, чтобъ молодой выскочка вступилъ въ соискательство съ нимъ, и Воропоновъ имѣлъ еще несчастную неосторожность оскорбить его чѣмъ-то лично. Лучше бы онъ волку въ пасть вложилъ свою голову. «Господа!» сказалъ тотъ, обращаясь къ полному собранію дворянъ на выборахъ,—«мы поступаемъ вопреки точнаго смысла закона, всемилостивѣйше дарованнаго намъ великой государынею... Между нами дворянинъ, который не только не имѣетъ права искать себѣ какой-либо долж-

ности въ средѣ дворянской, а онъ недостоинъ находиться въ нашемъ благородномъ собраніи, какъ человѣкъ подсудимый и надъ которымъ не исполненъ еще приговоръ суда, опредѣляющій его къ тѣлесному наказанію по несовершеннолѣтнему совмѣстничеству его въ грабежахъ и разбояхъ его отца. Я протестую и требую вывести г. Ворононова изъ собранія». Несчастнаго Ворононова не вывели, а попросили его выйти. Но соперникъ его былъ безпощаденъ. На другой день онъ подалъ въ судъ бумагу, въ которой говорилъ: «что какъ довѣдомо ему и всему окружному дворянству, что сынъ такого-то Ворононова, будучи включенъ по дѣлу своего отца о смертоубійствахъ и разбояхъ и прощенный ради своего несовершеннолѣтія, за что вмѣнено ему въ милостивое исправленіе: по достиженіи узаконенныхъ лѣтъ, выдержать ему передъ судомъ тѣлесное наказаніе — то онъ, дворянинъ такой-то, представляетъ во вниманіе, кому слѣдуетъ: *почему*, по давнемъ уже достиженіи совершеннолѣтія имъ, Воронововымъ, не приведено доселѣ въ исполненіе опредѣленіе суда, всемилостивѣйше-утвержденнаго высочайшей конфирмаціею?» Здѣсь отступить было нельзя. Не такъ силенъ и безпощаденъ былъ этотъ представитель и грозно стоялъ за плечами судей, чтобъ судьи могли подумать уклониться, или какъ-нибудь не внять его представленію. По требованію полнаго засѣданія вынуто было дѣло изъ архива и поступило на разсмотрѣніе; но смыслъ опредѣленія былъ слишкомъ точенъ и конфирмація высочайшей воли дѣлала его непреложнымъ. И вотъ послано было требованіе къ г. Ворононову явиться въ судъ по прописанному дѣлу, для выслушанія опредѣленія и для принятія слѣдуемаго по оному исполненія... Воронововъ застрѣлился. Правосудіе человѣческое отступило передъ нимъ, смягчилось при видѣ его молодости; но судъ Божій—не судъ человѣческій, и кровь Ворононова сама воздала за себя божественной правдѣ.

Но это только эпизодъ, запечатлѣнный силою высокотрагическаго ужаса, передъ истиной котораго такъ блѣдны

созданія нашего замученнаго воображенія! а главная кровавая нить проходила не здѣсь. Ее держали въ рукахъ два брата, графы Девіеры, жившіе верстъ на сто другъ отъ друга и въ разныхъ уѣздахъ. Они были центромъ, куда проводились многочисленныя мелкія нити и связывались тамъ въ одинъ крѣпкій, безчестный узелъ. Имѣніе одного изъ графовъ было надъ Донцомъ, въ лѣсахъ; огромнаго устройства водяныя мельницы оглушительнымъ шумомъ своимъ какъ-бы не давали владѣльцу слышать укоровъ его совѣсти. Въ береговыхъ скалахъ вырыты были на дальнее разстояніе потаенныя пещеры, гдѣ содержались преимущественно лошади, собранныя изъ разныхъ концовъ и, говорятъ, когда выводили ихъ ночью поить на Донецъ, то радостное ржанье бѣдныхъ животныхъ, выступившихъ изъ подземельной тюрьмы, бывало до-того сильно, что весь лѣсъ отзывался имъ и рѣка рокотала переливами.

Наша маленькая Макаровка, до покупки нами, принадлежала господину, который имѣлъ когда-то свои пріязненныя сношенія съ этимъ графомъ, и мнѣ разсказывалъ старый дѣдъ Данило, нашъ пасѣчникъ, бывшій кучеромъ у прежняго барина, какіе тамъ порядки бывали въ домѣ, когда пріѣдешь... И до-того живо было въ умномъ старикѣ впечатлѣніе тѣхъ временъ, что, начиная мнѣ разсказывать о *графѣ* (такъ малороссіяне произносятъ *графа*), величавый дѣдъ озирался, точно высматривалъ кого изъ-за кустовъ и значительно понижалъ голосъ... Что это была странность такая, когда пріѣдешь днемъ во-дворъ, точно будто всѣ люди вымерли, на душу живую не натолкнешься, даже двери въ людскія настежь растворены стоятъ и развѣ гдѣ-нибудь послышишь на печи, что больная старуха стонетъ, причитывая къ смерти, да еще одинъ какой-нибудь ребенокъ выглядываетъ, какъ мышь, изъ подполья. Но чуть повечерѣло, то и начнутъ немного показываться люди, сновать изъ угловъ, и что ни дальше къ ночи, то все больше прибываетъ ихъ. За людьми собаки выползутъ изъ конуръ—просто во-

лось на головѣ становится дыбомъ! Даже пріучены такъ, что собаки не лаютъ; а чуть стемнѣло, и пошли рычать изъ всѣхъ угловъ, того и берегись, что не та, такъ другая кинется къ горлу. А когда легъ спать, то и спи, не поднимай съ-дуру головы, что бы тамъ ни слышалъ, а то, ни оттуда, ни отсюда, дюжая рука тотчасъ уложитъ тебя шмелей слушать... «И Господи, Боже мой!» ужасался старый человѣкъ былому: «иной разъ припадешь къ землѣ, ночуя подъ своею бричкою: такъ земля подъ ухомъ стонетъ, какъ живой человѣкъ, болѣзнуетъ утробою!» И какъ ей было не болѣзновать и не издавать стоновъ, когда подъ домомъ были подземелья съ цѣпями и томящимися узниками, а по всему двору находились тайники и скрытые ходы? Графъ былъ двоеженецъ. Справивъ живой женѣ великолѣпныя похороны и торжественно, со всѣми церковными обрядами схоронивъ куль соломы, онъ женился въ другой разъ и семь лѣтъ держалъ въ погребѣ заключенную неумиравшую жену!

Любопытно, что въ рѣшеніи участи обоихъ братьевъ Девіеровъ довольно-сходно участвовалъ *серебряный сервизъ*.

Не знаю, который изъ графовъ, старшій или меньшій, но только тотъ, который жилъ надъ Донцомъ, попалъ на большой пиръ къ одному богатому помѣщику, верстъ за сто, и отличное столовое серебро взманило графа. Какъ опытный въ этихъ дѣлахъ, зная, гдѣ употребить лисій хвостъ, когда не беретъ волчій ротъ, графъ умѣлъ склонить на свою сторону дворецкаго и обѣщалъ ему, кромѣ другаго награжденія, дать вольноотпускную отъ своего имени, если дворецкій бѣжитъ къ нему и снесетъ серебро. Дѣло было обдѣлано такъ ловко, что ни малѣйшаго подозрѣнія не пало на графа, никакихъ концовъ, ни слѣдовъ; дворецкій съ серебромъ какъ въ воду канулъ. Графъ держитъ его въ чести; повидимому, онъ сталъ у него первымъ довѣреннымъ человѣкомъ; но несчастный не понималъ того, что онъ живая улика на графа и что тотъ, навѣрное, постарается избавить себя отъ него. Пріобрѣтеніе серебра случилось по осени... Когда пала зима

и ледъ сталъ по Донцу, въ одинъ вечеръ приказывая назавтра выѣзжать пару молодыхъ лошадей, графъ обратился къ своему довѣренному дворецкому и говоритъ: «пожалуйста и ты, братъ, поѣзжай. Лошади хорошія: посмотри, чтобъ не испортилъ кучеръ». А дѣло было вовсе не въ лошадяхъ а въ страшномъ умыслѣ. Посреди Донца прорублена была съ вечера большая широкая прорубь; къ утру она должна была покрыться тонкимъ слоемъ льда, что замѣтить ее незнавшему никакимъ образомъ нельзя было—и было приказано кучеру: разогнавъ лошадей управить ихъ на это мѣсто, причемъ чтобъ онъ соскочилъ, а кто другой будетъ сидѣть въ санкахъ и съ лошадьми долженъ былъ пойти подъ ледъ. Такъ въ точности оно и исполнилось. Случай вышелъ совершенно-естественный; что молодыя лошади понеслись, кучеръ не могъ сдержать ихъ, да онъ и не зналъ, какъ онѣ наскочили на одно мѣсто, которое мало замерзло; а этихъ мѣстъ по Донцу и теперь достаточно, а слишкомъ за полвѣка рѣка была несравненно-быстрѣе и полноводнѣе, и обстоятельство было вполнѣ вѣроятное, что кучеръ могъ спастись, а другой, кто сидѣлъ съ нимъ, утонулъ. Развѣ мало подобныхъ случаевъ бываетъ? Да графу и не передъ кѣмъ было выставлять на видъ всѣ эти мелкія вѣроятности. Онъ могъ своимъ знакомымъ, кому хотѣлъ, разсказать этотъ случай и пожалѣть, что молодыя лошади пропали, да упомянуть, что и человѣкъ утонулъ тутъ же. Знакомымъ какое дѣло? А судъ не могъ знать о томъ, если самъ графъ не хотѣлъ его увѣдомить — словомъ, на землѣ всѣ концы были запрятаны въ воду, и толстая ледяная кора, затянувъ и загладивъ мѣсто страшнаго преступленія, какъ-бы непробуднымъ безмолвіемъ покрыла его... А оно открылось, и такъ просто и такъ явственно, что закрыть его не было никакой возможности.

Весною, когда пошелъ лѣдъ по Донцу, верстъ за сорокъ ниже по теченію, прибиваетъ въ городъ къ берегу мертвое тѣло. Суматоха поднялась большая. Даютъ начальству знать; тѣло выносятъ на берегъ и всѣ въ недоумѣніи: видятъ, что

человѣкъ не простой. На немъ длинная бекешь на смушкахъ, покрытая хорошимъ сукномъ, и одна рука въ перчаткѣ... Кто онъ такой, откудова—никто не знаетъ и даже слуху не было, чтобъ кто утонулъ за это время; особливо, судя по костюму, что это долженъ быть помѣщикъ или служащій какой, такъ бы вѣсть издалека прошла; ничего неизвѣстно. Слѣдователи рѣшили и самъ исправникъ приступилъ разстегнуть бекешь утопленику, чтобъ посмотрѣть, не найдется ли какихъ указаній, или бумагъ при немъ? И вообразите: въ карманѣ сюртука находятъ бумагу даже не промокшую, сухую совершенно, какъ бы исправникъ вынулъ ее изъ собственнаго кармана, и какая жъ это бумага? Письмо графа, которымъ онъ сманивалъ несчастнаго; говорилъ въ немъ о серебрѣ, о своихъ наградахъ и подписалъ свое имя... Дѣло о серебрѣ было громкое. Помѣщикъ разослалъ объявленія по всей губерніи съ описаніемъ примѣтъ бѣжавшаго дворецкаго. Объявленіе было въ судѣ; его сличили и нашли совершенно-вѣрнымъ. Дали знать съ нарочнымъ помѣщику; тотъ прискакалъ и самъ призналъ своего насчастнаго слугу. И что̀ изумительнѣе всего! почти четыре мѣсяца былъ человѣкъ подъ водою и даже рыбы не тронули глазъ! Мертвое тѣло осталось совершенно-невредимымъ, между тѣмъ какъ о саняхъ и лошадяхъ и помину никакого не оказалось.

Началось дѣло. Помѣщикъ-истецъ скоро умеръ; наслѣдники его были далеко на службѣ; но ни все золото графа, ни вся продажность судей не могли закрыть дѣла, оно тянулось и должно было кончиться со всѣми выступившими наружу злодѣяніями. Одна смерть могла быть спасеньемъ отъ позора и—что̀ жъ? совершилось дѣло, едва-ли слыханное въ юридическихъ актахъ: графъ былъ показанъ умершимъ и еще семь лѣтъ прожилъ этотъ лжемертвецъ, сокрывшись отъ человѣческаго взора! Но жизнь со всегдашнимъ томительнымъ опасеніемъ быть открытымъ, жизнь въ тѣхъ самыхъ тайникахъ и подземельямъ, гдѣ, умирая, томились его жертвы, гдѣ семь лѣтъ стенала его жена, гдѣ обступали

его ежечасно напоминанія совершенныхъ имъ злодѣяній—а они должны были явиться въ ужасающемъ безмолвіи живаго гроба—такая жизнь не страшнѣе ли самой каторги?

Другой графъ Девіеръ жилъ въ Валуйскомъ уѣздѣ, въ своемъ большомъ имѣніи Погромецъ на Осколѣ, и купилъ онъ у одной богатой помѣщицы имѣніе. Часть денегъ положено было уплатить при совершеніи купчей, а остальныя были расчислены по срокамъ. Но проходитъ одинъ срокъ—графъ не платитъ, и время другаго срока прошло—графъ не думаетъ платить. Помѣщица пишетъ къ нему, посылаетъ нарочныхъ, но онъ, подъ разными предлогами, даже не отвѣчаетъ; пріѣзжаетъ она сама. Графъ съ бо́льшими извиненіями говоритъ: что онъ и радъ бы душею, но что у него денегъ нѣтъ. «А когда у васъ нѣтъ денегъ, графъ, то въ замѣнъ я могу взять вашъ серебряный сервизъ», потребовала помѣщица. Графъ, повидимому, охотно согласился; но, будто бы за укладкою сервиза, онъ съумѣлъ удержать даму до вечера. Когда она выѣхала въ ночь, ей приготовлена была засада. Это была первая санная дорога. Осколъ хотя сталъ, но мѣстами еще были продушины и вотъ карету захватили и подволокли къ одной изъ нихъ... Не знаю, были ли прежде утоплены люди: кучеръ, лакей, горничная? Вѣроятно, что такъ. Но помѣщицу спасла ея песцовая шуба: что ее окунутъ въ воду, она будто и потонетъ; но песцовая шуба не обмокаетъ, вздувается и поднимаетъ ее наверхъ. Въ эту ночь везли къ кому-то доктора, сбились съ дороги и, плутая, попали на мѣсто преступленія. Занятые своей страшной вознею съ непотопаемой шубою, графскіе люди ничего не слыхали, какъ сзади подъѣхали къ нимъ и ихъ громомъ поразилъ раздавшійся за спиною вопросъ: «Что вы дѣлаете?» Они бѣжали; докторъ могъ оказать всю нужную помощь полубезчувственной утопленицѣ. Она сейчасъ же назвала графа и подняла дѣло. Но помѣщица была другаго уѣзда и какъ прямыхъ доказательствъ не представлялось на-лицо, то потребовался повальный обыскъ о графѣ, и таково было малодушіе,

страхъ и подобострастіе дворянъ цѣлаго уѣзда, что они всѣ одобрили графа! Но нѣтъ! помѣщица была слишкомъ сильна и уже слишкомъ-давно вопіяли къ божескому и человѣческому правосудію недостойныя дѣла графа! Была доказана ложность подобострастныхъ показаній дворянъ, присланы изъ губерніи слѣдователи, дѣло раскрыто и графъ понесъ все безчестное наказаніе, заслуженное имъ, и сосланъ былъ въ Сибирь.

Любопытно, что всѣ дворяне Валуйскаго уѣзда отданы были подъ судъ, отрѣшены отъ всѣхъ должностей и повелѣно было впредь никуда не принимать ихъ, такъ-что у нихъ даже выборовъ не было. Изъ другихъ уѣздовъ съѣзжались чужіе дворяне и назначали имъ отъ себя предводителя, судей и всѣ чины.

Вотъ истины былой жизни, которыя теперь ужасаютъ насъ! Мы отказываемся имъ вѣрить... По времени это дотого близко къ намъ, до-того живо, что, говоря, должно удерживаться отъ многихъ подробностей и, между-тѣмъ, встаетъ ли между нами хотя малѣйшая тѣнь нашего сочувствія къ этому недавнему былому? Не отвергаемся ли мы его всеполно и всецѣло? Мы возмущены духомъ и наше сознаніе болитъ и негодуетъ горестною мыслью: что не-ужели оно могло быть такъ! Вотъ гдѣ отрадная мѣра нашему развитію, нашему маленькому росту въ томъ, что̀ зовется общественнымъ образованіемъ. Вотъ этакъ, оглянувшись на себя за пятьдесятъ-шестьдесятъ лѣтъ, вѣруешь Богу и перестаешь сомнѣваться въ людяхъ и обществахъ—въ жизненной силѣ того великаго сѣмени, какимъ засѣянъ міръ, какъ пахотное поле, и сѣмя великое прозябаетъ и растетъ, хотя мы, въ нетерпѣніи, готовы бываемъ отрицать: нѣтъ росту!

Но, однакожъ, становится душно въ этой атмосферѣ средневѣковыхъ преданій, и чтобъ освѣжиться немного, я припомню то время, когда семь самыхъ тяжелыхъ осеннихъ и зимнихъ мѣсяцевъ мнѣ довелось прожить съ одною, едва не столѣтнею, почти совсѣмъ слѣпою старухою безъ книгъ, безъ

всякаго общества—она да я —«да еще Богъ съ нами», какъ добавляла она. Днемъ я читала ей «Четьи-Минеи»; а когда короткіе дни рано вечерѣли, не видя меня въ сумракѣ, она ощупью отъискивила мою голову, и чтобъ чувствовать меня ближе къ себѣ, клала голову мою себѣ на колѣни и, лаская мои волосы, въ дорогомъ желаніи развлечь меня и занять чѣмъ-нибудь, она много разсказывала мнѣ о томъ, *якъ було колісь*, какъ они живали встарину; разсказывала мнѣ о кладахъ, о разбойникахъ, о запорожцахъ. Родомъ сербка, изъ фамиліи Витковичей (мать ея ребенкомъ выѣхала въ Россію), она разсказывала мнѣ о знаменитомъ въ екатерининское время генералѣ Зоричѣ, который царькомъ жилъ у себя въ Шкловѣ и которому она съ родни была и въ его домѣ дитятей росла... О чемъ она ни говорила мнѣ! И о томъ, *какъ Богъ дастъ, то и въ окно подастъ*, какъ *горе*, находившись поміру, лежало на печи и выставило свои длинныя ноги въ окошко; какъ *смерть* крестила у бѣдняка ребенка; какъ *солнце*, *морозъ* и *вѣтеръ*, когда еще человѣчьими ногами ходили по землѣ, шли вмѣстѣ и какъ имъ, мимоходомъ, поклонился мужичокъ, и какъ они заспорили: кому поклонился онъ? и какъ онъ отвѣчалъ: «вонъ тому усатому», то-есть вѣтру. Какъ солнце и морозъ обидѣлись за то и грозились мужичка сжечь и заморозить, и какъ вѣтеръ отстоялъ его. «Ты станешь жечь, батько старый!» сказалъ онъ солнцу: «а я стану сиверкомъ дуть; а ты, морозъ, станешь морозить, а я притихну».

И много еще о многомъ говорила старая подруга моя... Величавая и въ тѣ лѣта, когда она, сидя выпрямлялась, ея высокій ростъ становился виденъ, и этотъ типическій сербскій большой носъ, загнувшійся отъ старости, при потухшихъ глазахъ, и черная шелковая шапочка съ падавшими на лобъ черными кружевами—все это вмѣстѣ придавало ей, безмолвно-сидящей и сложившей на колѣняхъ руки, что-то высоко-печальное, что̀ неизобразимо дѣйствовало на меня. Безъ дѣтей, внуковъ и правнуковъ, одна въ своей поздней

старости—други и пріятели ея поумерли—жила она никому ненужная, затѣмъ только, что не умирала. Мы полюбили другъ друга. Я приняла къ сердцу печальный, умный образъ ея величавой одинокой старости; она полюбила мою молодость. Эта любовь или высокая дряхлѣвшая старость называли меня *дитятью*, но развѣ потому, что въ иные годы прожитыхъ и прочувствованныхъ сердечныхъ влеченій нѣтъ для человѣка болѣе сладостнаго наименованія, какъ «дитя мое!» Но она никогда не позволяла мнѣ стать на степень малѣйше-дѣтскихъ отношеній къ себѣ. Подать ей табакерку, или мнѣ наклониться пододвинуть къ ней скамеечку—она въ полной мѣрѣ гнѣвалась: «Что это ты, дитя мое! я не хочу того—не люблю... Ты, мое дитя, посиди да поговори со мною; а это мнѣ и дѣвка сдѣлаетъ».

И семь мѣсяцевъ мы глазъ-на-глазъ сидѣли съ нею и говорили. Ничто постороннее не проходило между нами. Она жила своею сообщительною, нѣжившею меня старостью; я—моей любившей ее молодостью. Когда теперь посужу: мы вдвоемъ, одинокія, затворенныя въ большомъ селѣ, въ уединенномъ домикѣ, развлекаемыя извнѣ только звономъ божьяго храма, на который одна изъ насъ спѣшила выйти, а другая говорила въ слѣдъ ей: «помолись за меня, дитя мое!» и затѣмъ сама передвигалась изъ своей комнатки въ другую и садилась къ окошку ловить единственнымъ своимъ малозрячимъ глазомъ—приглядываться сквозь туманъ и мятелицу, или налегающій сумракъ, не идетъ ли ея пріятельница? «И что она (такъ ей казалось) позамѣшкалась тамъ? И что самоваръ не кипитъ живѣе?» И этакъ мы, тѣсносдружившіяся при крайней противоположности нашихъ возрастовъ, восполняя одна другой недостающее намъ, могли бы представить явленіе довольно-замѣчательное для наблюдателя; только наблюдать насъ было некому. Уставъ разсказывать мнѣ про старину и помолчавъ немного, она протягивала мнѣ свою маленькую, почти совсѣмъ дѣтскую, изсох-

шую руку и говорила съ кроткой нѣжностью: «А ты мнѣ, дитя мое, ничего будто не разскажешь?» И я начинала разсказывать ей—что? трудно сказать? Но развѣ мало у молодости тѣхъ живо и пылко создающихся разсказовъ, на которые самая сухость и уединенность жизни дѣйствуютъ тѣмъ, что вызываютъ ихъ сильнѣе? Можетъ-быть, я слишкомъ много вносила нестрыхъ грезъ въ эти молодыя рѣчи—не знаю, право, только вечера мелькали, какъ тѣни. Между нами столикъ покрывался скатерью для ужина и надолго онъ оставался такъ только накрытымъ... Въ мерцавшемъ небольшомъ освѣщеніи двухъ насъ и въ отраженіи по стѣнамъ нашихъ головъ, являлось что-то странно-слив авшееся, равно живое, что будто тѣснилось въ бесѣду къ намъ; комнатка наполнялась двойнымъ числомъ лицъ и трудно бывало рѣшить: разскащица или слушательница увлекалась наиболѣе? На утро надобно было видѣть эту высокую, чуть движущуюся старуху, когда она осторожно и тихо подступала къ моему изголовью. «Спитъ, мое дитя, спитъ!» шептала она надо мною. «Пусть ей ангелы божіи снятся!... Ты думаешь, дитя мое!» начинала она думать въ слухъ: «будто я не знаю того, что̀ ты мнѣ вчера говорила! Старуха я старая, знаю. Книжку читала? Не начитать того въ книжкѣ! То твоя душа молодая говорила...» Я не давала ей говорить болѣе. Я закидывала кругомъ ея шеи обѣ мои руки и ее, изумленную и вѣрившую въ мой сонъ, разувѣряла поцалуями.

Анна Константиновна Черноглазова—была она. Но въ слободѣ, гдѣ она жила, напрасно кто бы сталъ искать ее подъ этимъ полнымъ именемъ: ее знали и звали *Воеводшею*. Мужъ—бывшій запорожецъ, а отчимъ ея былъ послѣднимъ окружнымъ воеводою, умѣвшимъ высоко поставить свое воеводское достоинство—такъ высоко, что громкаго титла стало на всю окончательную жизнь его самого и вдовы-жены его, потомъ родной дочери, и вотъ даже на долгую, запоздалую жизнь самой падчерицы!

Но, отдохнувъ немного въ дорогомъ мнѣ воспоминаніи, я

забираю изъ него смысла и новыхъ рѣчей къ нашимъ средневѣковымъ преданіямъ.

Хотя мнѣ страхъ не хотѣлось бы возвращаться къ тому, но все мысль должна быть наведена на тѣ обстоятельства суровыхъ данныхъ, которыя теперь, можетъ-быть, гораздосильнѣе возмущаютъ намъ душу, нежели тогда возмущали общество, имѣя на Руси столько простора, гдѣ было имъ разгуляться и растеряться. Но на Украйнѣ и въ Малороруссіи,

Дѣ родылась, гарцовала
Козацькая воля—

эта самая воля, при общемъ ходѣ дѣлъ, должна была сказываться чѣмъ-нибудь, *притаманнымъ* своимъ—и она сказывалась.

«Когда Нечёса-Потемкинъ разворушилъ Сѣчь (были буквальныя слова моей старой подруги), то улья будто и не стало, да жалили пчелы» (*). Запорожцы разбрелись по всѣмъ всюдамъ. Высокая шапка запорожца, какъ воронъ, накликала бѣду. Чуть она мелькнетъ гдѣ—быть худу. Бо́льшаго страха не было какому-нибудь богатому скрягѣ, какъ подъ вечеръ мотнутъ ему передъ окномъ запорожской шапкою... Оно и вполнѣ понятно, что въ созидавшемся тогда Новороссійскомъ краѣ было достаточно всякого рода броженій и передвиженій—суматохи отъ всякого наброда людей, прибывавшихъ на поселенія и, конечно, ничего не могло быть легче для островерхой шапки запорожца, какъ проскользнуть между этимъ народомъ, скликнуться человѣкамъ десяти-пятнадцати между собою, позавести свои ватаги и отправляться промышлять, гдѣ и какъ удастся, дѣйствуя совершенно по тому же инстинкту, какъ волчица, выгнанная изъ своего разореннаго логовища, отправляется рыскать по окружности и драть что ни попало. Но

(*) Извѣстно, что Потемкинъ, по вельможной прихоти, или по чему другому, записавшись будто бы въ запорожцы, получилъ запорожское прозвище *Гриць-ка-Нечёсы.*

надобно замѣтить, что народное чувство было на сторонѣ запорожцевъ и никакъ не смѣшивало ихъ съ обыкновенными разбойниками и ворами. Они стояли степенью гораздо выше и вообще въ ихъ поступкахъ, хотя самыхъ такихъ, что по всему могли назваться чисто разбойничьими, проглядывало ихъ запорожское *лыцарство*, которое трудно себѣ представить и легко увидѣть изъ этихъ самыхъ примѣровъ, что приведу я.

Къ вотчиму Анны Константиновны приходятъ наниматься два работника. Онъ видитъ, что ребята молодцоватые, всякую работу снесутъ, нанялъ ихъ и спрашиваетъ: «Ну, какъ же васъ, хлопцы, звать?»—Просто, пане воеводо!—кланяются они: одного Непытай, а другаго Нешукай. То-есть послѣдняго «не ищи», а перваго «не спрашивай».—«Мудрено что то», замѣтилъ воевода и, какъ вновъ принятыхъ слугъ, отправилъ ихъ къ пани-воеводшѣ выпить по чаркѣ на починъ хозяйскаго дѣла. Хлопцы—ничего, выпили. Живутъ они день, живутъ другой и съ недѣлю живутъ; хотя нельзя сказать, чтобъ хорошо работали—ну, да пообвыкнутъ пока... Но, вѣроятно, хлопцамъ наскучило обвыкать, и въ одну ночь Непытая и Нешукая не стало: ушли они. Когда доложили объ этомъ воеводѣ, онъ взялъ себя за маковку спальнаго колпака и сказалъ: «*бісовы диты*!» И въ правду вышло, что «не ищи» и «не спрашивай...» Гдѣ ихъ теперь будешь искать и спрашивать. *Цуръ имъ! Нехай имъ ліхо пріснітца...*

А лихо приснилось да не имъ. Воевода уѣхалъ куда-то дня на три... «А, пожалуйте, проснитесь, пани! Гдѣ вы свои ключи кладете? *Отъ се мині лихо, не знайду!*» услышала среди ночи мать Анны Константиновны. Открываетъ глаза и видитъ у себя въ головахъ запорожца. Домъ былъ безъ малѣйшаго шума занятъ, прислуга вся перевязана; ставни оставались закрытыми, двери затворенными такъ, что среди многолюднаго селенія производился разбой и домъ былъ внутри и снаружи совершенно тихъ и спокоенъ. Никакой дозоръ ничего бы подозрѣвать не могъ. Пани безпрекословно

отдала ключи и сѣла на концѣ кровати. Вдругъ вошелъ еще запорожецъ, выхватилъ саблю и занесъ ее надъ головой воеводши; она упала безъ чувствъ... Когда она стала приходить въ себя, за нею ухаживалъ тотъ первый запорожецъ, что̀ разбудилъ ее, подавалъ ей воды напиться. «Не бойтесь, пани, говорилъ ей. Богъ знаетъ, что вамъ такое почудилось... *Тю-тю, дурень! злякавъ якъ паню*! обращался онъ къ тому другому запорожцу. «Это онъ, пани, чтобъ свѣчей достать, у казака на все сабля здалася». А въ этотъ самый вечеръ пани-воеводша только насучила большихъ восковыхъ свѣчей въ церковь и, вздѣвъ ихъ на снурокъ, повѣсила въ ногахъ кровати. Ихъ-то отрѣзать замахнулся саблею запорожецъ. Сюда въ комнату входили и выходили, сносили все, что̀ выбирали изъ кладовой и сундуковъ и здѣсь же, въ этой комнатѣ, спала молоденькая, лѣтъ четырнадцати дѣвочка, дальняя родственница пани-воеводши. Ребенокъ, точно подъ какимъ обаяніемъ, спалъ безпробудно, ничего не слыша, что̀ происходило вокругъ. Большія русыя косы дѣвочки разметались во снѣ и одна петлею свѣсилась съ подушки... Тотъ запорожецъ, что̀ первый явился и одинъ не оставлялъ комнаты, подошелъ къ дѣвочкѣ и наклонился посмотрѣть на нее. «Не обидьте ее!» сказала, прося, пани воеводша: «она сирота».— «Русая какая!» сказалъ онъ, подставляя руку подъ свѣсившіяся косы и какъ бы пробуя тяжесть ихъ на широкой ладони... Взялъ расшитое золотомъ и шелками полотенцо, которыя повыбраны были изъ сундуковъ и снесены въ кучу, и накрылъ имъ дѣвочку съ ея косами. «*Щобъ нічого не бачіла!*» сказалъ онъ, отходя и немного улыбаясь пани-воеводшѣ. Это все до того ободрило мать Анны Константиновны, что она попыталась спасти нѣкоторыя вещи, находившіяся поближе. Такъ она, улучивъ минуту, припрятала коробочку съ жемчугомъ; подбросила себѣ подъ кровать лисій дорогой мѣхъ и голову сахару. Вообще, осмотрѣвшись, не было ничего страшнаго; а только удивительно было видѣть, какъ эти люди молча, проворно ходятъ, носятъ и ничѣмъ не сту-

кнутъ, не звякнутъ, не перемолвятся словомъ между собою, точно какъ бы всѣ они нѣмые, и только этотъ, что не отходитъ, «эге?» спроситъ и потянетъ усъ. Воеводша замѣтила, что когда всѣ входили и выходили, одинъ запорожецъ все будто припрятывался за дверью и передавалъ другимъ вносить свои вещи. Она наклонилась впередъ разсмотрѣть, что̀ бъ это значило такое? *Э! не шукай тамъ нічого, пани!* сказалъ запорожецъ, который оставался при ней и тотчасъ уловилъ ея движеніе. «Тамъ-то и есть Нешукай, добрый онъ казакъ. Помнитъ, пани, твою чарку горѣлки. Она ему глаза заливаетъ; а про Непытая и не пытай, пани!...»

Другой случай едва-ли не оригинальнѣе.

Такъ же точно никому неслышно ночью вошли запорожцы въ домъ къ одной богатой помѣщицѣ-вдовѣ; будятъ ее и говорятъ: «А вставайте, пани! Гдѣ ваши деньги? Пріѣхали купцы, славные запорожцы». Опамятовшись, эта женщина говоритъ имъ: «Други вы мои, люди добрые! вотъ вамъ деньги, вотъ вамъ ключи—берите у меня все, что хотите. Объ одномъ я прошу васъ: одинъ у меня и есть сынъ, восьмилѣтній мальчикъ, и тотъ больной всегда—не перепугайте мнѣ сына!»—«*Отъ се, пани!* съ усмѣшкою сказалъ начальникъ: «развѣ мы пугалы, чтобъ дѣтей стращать?» И онъ приставилъ къ ребенку двухъ запорожцевъ забавлять мальчика, когда онъ проснется, и тѣ своими уморительными кривляньями, пляскою и пѣснями до того заняли и раззабавили малютку, который принималъ ихъ за гостей, что онъ ничего не замѣчалъ, что дѣлается вокругъ, выскочилъ изъ своей постельки и хохоталъ до упаду. Когда все было кончено: перебраны всѣ вещи, которыя запорожцы хотѣли имѣть у себя, и другія, что они, по милости своей, оставляли хозяйкѣ, начальникъ сказалъ: «Пани, будь ласкова! Вотъ же на столѣ и чара твоя серебряная стоитъ—поподчуй насъ своей наливкою. Изъ твоихъ панскихъ рукъ пріятнѣйшій вкусъ будетъ. Мы тебя, пани хорошая, и не такъ, чтобъ много обидѣли», говорилъ онъ: «денегъ у тебя мало взяли.

Говоришь ты, что деньги у тебя по добрымъ людямъ и мы знаемъ, что оно есть такъ... Будь же ласкова! Въ свое здоровье поподчуй насъ, пани!» И пани, въ свою очередь, вполнѣ понимая и оцѣнивая эту ласку, съ истиннымъ удовольствіемъ поднесла имъ всѣмъ изъ своихъ рукъ по серебряной чарѣ своей наливки, и они, выпивая, низко ей кланялись. Даже не взяли съ собою, оставили ей эту серебряную чару, изъ которой пани ихъ подчивала. «Не тужи, пани!» говорилъ, прощаясь съ нею, начальникъ: «люди возьмутъ— Богъ дастъ. Мы и сами запорожцы обиженные».

Но запорожцы запорожцами, а на степовомъ раздольи Новороссійскаго края обивала росу знаменитая въ изустныхъ сказаньяхъ *Маты наша*—женщина за пятьдесятъ лѣтъ, которая, выѣзжая на «охоту», одѣвалась во весь турецкій костюмъ, турецкой шалью потурецки заворачивала голову и помужски неслась на рыжемъ степовикѣ впереди своей ватаги. Многое здѣсь— и это наѣздничество, и турецкій костюмъ вполнѣ объясняются тѣмъ, что «Маты наша»—какъ звали ее всѣ подручники— была изъ сербскихъ фамилій и уже большой застарѣлой *дѣвойкою* выѣхала изъ подданства Турціи. Близость Запорожья придавала этой ватагѣ своего беззавѣтнаго разгула до того, что за разсказами о пирахъ ничего не говорятъ о разбояхъ шайки. Послѣ каждой удачливой охоты пиръ пировался три дня. Первый день добычу дѣлили, второй собственно гуляли, пили, а на третій день, на разставаньи, коней поили и ковши сушили. Для этого у пани Маты была отведенная заповѣдная роща, куда, прямо съ охоты, всѣмъ огуломъ съѣзжались молодцы, привозилась добыча и пани Маты садилась подъ старымъ дубомъ дѣлить ее. Кому изъ своихъ сыновъ она хотѣла оказать особенную честь, Маты подавала ему часть добычи на концѣ своего турецкаго кинжала. Послѣ дѣлежа слѣдовалъ обѣдъ и порядочное питье; но это не было собственно пиромъ, а пиръ наступалъ назавтра. Съ утромъ, всякій подручникъ изъ своей доли добычи выбиралъ подарокъ и приносилъ его на поклонъ своей Маты и вотъ, по

принятіи приношеній, Маты уже задавала пиръ своимъ любымъ сынамъ и вообще все пированье трехъ дней происходило собственно на ея счетъ.

Между удалыми сынами особенно отличался одинъ ростомъ, дородствомъ—принимая это за выраженіе мужественной силы—и удивительной красотою лица. Маты часто подавала ему добычу съ конца своего турецкаго лезвея; но до чего никогда не могла достигнуть Маты, это—споить своего любаго сына. Напрасно она подчивала его и слѣдила, чтобы онъ не пропускалъ круговую: онъ пилъ, какъ и всѣ пили; но когда всѣ уже были упившись и засыпали подъ деревьями на дорогихъ коврахъ и зеленой травѣ, онъ, свѣжъ и бодръ, и только зарумянившись, становился хорошъ съ лица какъ намалёванный, спрашивалъ: пріѣхалъ ли его мальчикъ съ дрожками? Садился на дрожки и спѣшилъ къ своей молодой женѣ, не хотя никогда оставаться на окончательныя пиршества, чтобы молодая жена, грустя дома, не догадалася, гдѣ и по какимъ дѣламъ онъ пропадаетъ отъ нея по днямъ и ночамъ. Но пани Маты считала себя обиженною и поставляла не малое безчестье въ томъ, что ея наилюбый сынъ всегда уѣзжаетъ съ ея пира неуподчиванный. Разъ, послѣ одной удачливой охоты, вмѣсто раскаленной подковы, которая бросалась въ общую пуншевую чашу, пани Маты придумала что̀ сдѣлать? Она поставила два самовара и одинъ, какъ обыкновенно, налитъ былъ водою, а другой она налила двойнымъ спиртомъ и еще онъ пригрѣлся въ самоварѣ. Когда начались пунши, другимъ она наливала въ ромъ воды, а любому сыну—этого огневаго спирту. «Маты наша!...» покачалъ онъ головою, отхлебывая изъ стакана... «А что мой мальчикъ пріѣхалъ?» освѣдомлялся онъ. Но, выпивши круговое число этихъ пуншей, и богатырь сломился. Непробуднымъ сномъ проспалъ онъ день и двѣ ночи. На зарѣ другаго дня онъ пробудился. «А я, Маты наша, немножко вздремнулъ», сказалъ онъ, вставая. «А что мой мальчикъ пріѣхалъ?...» Подивитесь бодрой свѣжести этой мысли! Опьянѣть

до упаду, проспать почти двои сутки и пробудиться безъ ничего смутнаго въ головѣ на той самой мысли, на которой остановилось сознаніе: *пріѣхалъ ли его мальчикъ!* Это подвигъ хотя бы гомеровскаго героя, да и тамъ подобнаго не бывало... Когда начали увѣрять его, что мальчикъ не только пріѣхалъ, а что онъ другія сутки ждетъ, чтобы его баринъ проснулся, то онъ рѣшительно не хотѣлъ вѣрить, и только молодая жена могла убѣдить его, что это именно было такъ, жалуясь ему, что она его пять дней и пять ночей не видала. Гдѣ онъ былъ—хотѣла она знать. «Гдѣ я былъ, тамъ ужь больше не буду», сказалъ онъ, и Маты наша съ тѣхъ поръ не видала больше своего любаго сына.

Когда эта Маты заболѣла передъ смертью и почувствовала, что ей уже болѣе не вставать, она собрала послѣднія силы, потребовала свой турецкій костюмъ, встала, одѣлась въ него и вышла на крыльцо. Велѣла, какъ должно быть взнузданному и осѣдланному, во всей сбруѣ, подвести къ себѣ своего боеваго коня. Подвели его. Она сѣла въ сѣдло, посидѣла, подержала поводья, потомъ встала... зарыдала... припала, обнимая шею коня, простилась съ нимъ и, воротясь въ комнаты, уже не пила, не ѣла и умерла.

Въ этой степовой шайкѣ, между другими прочими, участвовалъ одинъ Б... Ихъ было два брата, по матери родные, но разныхъ отцовъ. Старшій, этотъ соучастникъ, по смерти вотчима и матери, долженъ былъ необходимо выйти въ отставку для надзора надъ небольшимъ имѣніемъ, и здѣсь-то, захваченный невыносимой деревенской тоскою и глушью, онъ попалъ въ эту разгульную шайку «Маты наша». Младшій братъ ничего объ этомъ не зналъ, находясь гдѣ-то далеко на службѣ въ глубокой Россіи и, со смерти матери, онъ лѣтъ восемь и свѣдѣній никакихъ не получалъ изъ дома. Наконецъ взмануло его что-то побывать на родинѣ; взялъ онъ отпускъ. При проѣздѣ черезъ Воронежъ идетъ онъ по улицѣ... вдругъ онъ услышалъ позади себя бряцанье цѣпей, оглядывается и видитъ, что это партію ссыльныхъ ведетъ офицеръ.

Съ нимъ произошло что-то странное... Въ непонятномъ смущеніи онъ прислонился къ углу дома и смотрѣлъ, какъ мимо его проходили ссыльные; вдругъ изъ ряда ихъ вырывается крикъ: «братъ!» Не помня себя, не узнавая лица, но весь трепетно подвигнутый наименованьемъ *брата*, онъ бросился къ ссыльному, который, пріостановясь, протягивалъ къ нему скованныя руки... И это точно былъ его братъ. Младшій никогда бы не узналъ его въ лицо; но самъ онъ лицомъ былъ очень похожъ на покойную мать, и старшій едва взглянулъ на него — и изъ души вырвался крикъ узнаннаго брата. Братья цѣлую ночь провели вмѣстѣ и несчастный, прощаясь, сказалъ: «Братъ! ты не соучастникъ мой. Я отвѣчаю передъ Богомъ и царемъ, а тебѣ тутъ грѣха никакого нѣту. Возьми тамъ-то» (назначилъ онъ мѣсто), зарытъ боченокъ золота и серебра. Но младшій братъ не взялъ. Онъ дожилъ до поздней старости (вотъ онъ уже послѣ крымской войны умеръ), имѣньеце у него было самое небольшое и разстроено въ высшей степени; женатъ онъ былъ и взрослыхъ четверо дѣтей было; и жена, и дѣти, и нужды всей жизни напрасно приставали къ нему, чтобы онъ досталъ боченокъ. «Не хочу! Смертнаго грѣха моего брата и безчестья его не съѣмъ и не сопью», отвѣчалъ онъ. И умеръ такъ съ этимъ высокимъ *не хочу* (*).

(*) Вообще если говорить обо всѣхъ подобнаго рода трагическихъ и вполнѣ романическихъ происшествіяхъ «добраго стараго времени», то для этого потребовалось бы исписать немало бумаги. Я разскажу еще одинъ случай. Фамилія *Полуботокъ* очень-извѣстна въ полтавско-малороссійскомъ краѣ и случай, о которомъ я буду говорить, должно отнести къ первому десятилѣтію царствованія Екатерины.

Въ деревнѣ жила богатая вдова этой фамиліи Полуботокъ: ея два сына служили въ гвардіи въ Петербургѣ и при ней оставалась одна молоденькая дочь. Вдругъ къ нимъ пожаловалъ незнакомый гость въ каретѣ съ гайдуками, въ шесть лошадей, весь въ орденахъ; молодъ и хорошъ; рекомендуетъ себя какимъ-то полковникомъ и говоритъ, что онъ много наслышанъ о превосходномъ конскомъ заводѣ Полуботокъ, и вотъ пріѣхалъ купить такъ, какъ-бы онъ знатный ремонтеръ былъ. За цѣной не стоитъ; смотритъ, торгуетъ лошадей; но увидѣвъ за обѣдомъ чрезвычайно-хорошенькую дочь Полуботки, пріѣзжій забылъ про лошадей и, мало-по-малу, увлекая разговоромъ хозяйку,

И вотъ въ это коловратное движеніе, вращаемое средневѣковымъ духомъ нашего общества, въ которомъ участвовали сильные и слабые, графы и запорожцы, въ среду къ нимъ попала и большая голова меньшаго сына Евима Лазаревича.

сдѣлалъ ей предложеніе на счетъ ея дочери. Встарину подобнаго рода быстрое сватовство вовсе не было рѣдкостью, а, напротивъ, даже говорили: «вотъ то-то и любовь есть, что увидѣлъ да и полюбилъ какъ-разъ». И мать Полуботка, видя передъ собою такого чиновнаго и красиваго, всѣмъ взявшаго жениха, пріѣхавшаго въ каретѣ съ гайдуками, не думала много противиться и только замѣтила, что у нея не все приданое готово. Но женихъ объявилъ, что онъ самъ довольно богатъ и что ему не нужно никакого приданаго, что у его жены все есть и все будетъ, и пусть развѣ одна горничная дѣвушка поѣдетъ съ нею, и то потому только, что молодая барышня привыкла къ ея услугамъ. Послѣ подобнаго объясненія, какъ же было еще сомнѣваться и не вѣрить, что это хорошій человѣкъ, отъ Бога взятый женихъ, когда онъ и приданаго не требуетъ? Дѣвочку сговорили и гость, пріѣхавшій покупать лошадей, не выѣзжая изъ дома, въ три дня женился, взялъ жену и уѣхалъ. Проводивъ молодаго зятя, вдова Полуботка опомнилась, что она почти не знаетъ, за кого она отдала свою дочь, Ждетъ-пождетъ—вѣстей никакихъ нѣтъ. Прошелъ и цѣлый годъ—о дочери ни слуху, ни духу. А между-тѣтъ, дочь, какъ въ сказкахъ говорится, ѣхала-ѣхала и пріѣхала въ большой двухъэтажный домъ; всего въ немъ вдоволь; серебромъ хоть мостъ мости. Мужъ даритъ ее дорогими подарками, тѣшится, любуется ею, и все было бы хорошо да въ домѣ что-то пусто и будто немного-страшно. Домъ безъ села, занесенъ широкій дворъ и каменная ограда кругомъ стѣной стоитъ. Мужъ только говоритъ, что поѣдемъ въ Москву и въ Петербургъ и къ матушкѣ заѣдемъ; а между-тѣмъ, молодые никуда не выѣзжаютъ и у нихъ въ домѣ не бываетъ никто. Мало-по-малу мужъ сталъ отлучаться на день и на два, иногда и дней на пять. Спросить его, гдѣ онъ бываетъ—молоденькая, едва пятнадцати-лѣтняя женщина не совсѣмъ смѣла подавляемая всѣмъ чужимъ и незнакомымъ, что окружало ее. Но она стала замѣчать, что во время отлучекъ мужа, въ ту ночь, какъ наутро ему пріѣхать, во дворѣ слышатся свистъ и топотъ, какъ-бы скачутъ верховые и колеса гремятъ. Видѣть она ничего не могла, потому-что на ночь всѣ окна плотно затворялись дубовыми ставнями и потому еще, что парадно-убраная ея спальня была въ садъ; но слышать суматоху во дворѣ, она явственно слышала. Робѣя и не зная, чѣмъ объяснить это, молоденькая женщина рѣшилась наконецъ обратиться къ своей горничной. „Не знаешь ли ты, что у насъ по ночамъ во дворѣ дѣлается?“—послѣ одной такой ночи, спросила она родную свою приданную дѣвушку наединѣ. Та всплеснула руками и бросилась своей молоденькой госпожѣ въ ноги. „Голубочка моя пани!“ со слезами заговорила она: „вы только однѣ ничего не знаете. Пропали наши бѣдныя головочки! Мы у раз-

V.

Александръ Ефимовичъ Голованъ или Головатый.

Во всякое время и тѣмъ болѣе въ пору обновляющихся переходныхъ эпохъ, бываютъ люди, которые выступаютъ впередъ и бодро идутъ на встрѣчу новому порядку вещей; другіе упорно остаются на мѣстѣ и передовое движеніе производитъ на нихъ совершенно обратное дѣйствіе—не выдвигая ихъ, а, напротивъ, какъ бы болѣе осаживая назадъ.

бойниковъ". И дѣвушка объяснила все, что отлучки мужа—его выѣзды на промыслы, и въ ночь, когда слышится суматоха во дворѣ—это онъ возвращается съ своей ватагою, и эту ночь въ домѣ никто на волосъ не спитъ; идетъ гульба, пируютъ, дѣлятъ добычу. Съ разсвѣтомъ баринъ выпроваживаетъ товарищей и самъ будто бы только возвращается домой. Первымъ рѣшеніемъ бѣдныхъ женщинъ было *бѣжать*; но какъ бѣжать? Какія найти средства, чтобъ уйти? Горничная, однако, объявила, что за садомъ у нихъ черезъ рѣчку есть маленькій хуторокъ въ двѣ хатки, что, мывши бѣлье, она познакомилась тамъ съ старухою и пойдетъ къ ней. Такимъ образомъ, дождавшись дня, когда мужъ отлучился изъ дома, бѣдненькая женщина съ своей горничною ночью бросилась черезъ садъ къ старухѣ. Та перерядила ихъ, дала имъ свои старыя плахты, надѣла на нихъ на обѣихъ бѣлые полотняные очипочки и свои простыя серемяжныя свитки. Но куда идти имъ—старуха не могла сказать и онѣ пошли куда глаза глядятъ, опасаясь безпрестанно погони и боясь усильно распрашивать, не зная мѣстъ, посреди которыхъ находились онѣ, и въ какую сторону слѣдовало направляться имъ. И ещѣ въ страхѣ и поспѣшности, или, можетъ-статься, полагая, что онѣ такъ вотъ сейчасъ и дойдутъ домой, ни молоденькая госпожа, ни горничная не подумали запастись деньгами и, блуждая изъ мѣста въ мѣсто, онѣ наконецъ принуждены были питаться мірскимъ подаяніемъ и только черезъ полтора мѣсяца, совершенно въ нищенскомъ видѣ, дочь прибрела къ матери.

Этотъ разсказъ я слышала отъ особы, бывшей во всеобщемъ уваженіи въ нашемъ краѣ, Маріи Ивановны Шидловской, которая умерла въ 1855 году 84 лѣтъ, и она, молодой дѣвушкою, лично знала и видала у себя въ домѣ обѣихъ Полуботокъ, мать и дочь—женщину лѣтъ тридцати, чрезвычайно милую и веселую, которая сама разсказывала всѣ обстоятельства своего страннаго замужства и до конца своей жизни не знала настояще, за кѣмъ она была замужемъ и что сталось послѣ съ ея мужемъ? Онъ не искалъ ее, не покушался воротить къ себѣ, и она осталась жить съ матерью и, какъ кажется, въ тайнѣ женскаго сердца, любя своего покинутаго мужа, она не вышла болѣе замужъ, сколько ни предлагали ей жениховъ.

Эту истину въ лицахъ на своихъ двухъ сыновьяхъ довелось испытать Еѳиму Лазаревичу. Кажется онъ не слишкомъ былъ счастливъ въ дѣтяхъ. Старшій сынъ, дѣдъ мой, былъ вполнѣ человѣкъ *новый*, но, поддаваясь новымъ впечатлѣніямъ, и увлеченіямъ, мѣняя безпрестанно роды службы, онъ не совсѣмъ оправдывалъ ожиданія отца, который писалъ къ нему: «прокаженный твой умъ. Что касается Александра Еѳимовича, Голована, прозваннаго такъ по его большой головѣ, то онъ огорчалъ въ самомъ главномъ, чѣмъ только могъ огорчить отца сынъ Лохвицкаго: онъ вовсе не хотѣлъ учиться. Уважаемая грамота отцовъ и дѣдовъ, какъ бы преемственно наслѣдуемая отъ князей Острожскихъ, отметалась сыномъ разумнаго Еѳима Лазаревича и въ то самое время, когда отецъ всѣми мѣрами старался замѣнить старую грамоту новою, болѣе живою наукою.

Въ Корочанскомъ уѣздѣ находились огромныя имѣнія князей Трубецкихъ и главное изъ нихъ Холань (оно и теперь есть). Тогда въ него пріѣзживала изъ Москвы старая, почтеннѣйшая княгиня, Анна Даниловна. Деревенское сосѣдство и частыя поѣздки Еѳима Лазаревича все по дѣламъ въ Москву сблизили знакомство и довели его до очень-короткихъ, взаимно-обязательныхъ отношеній. Еѳиму Лазаревичу поручалось заглядывать въ имѣнія, посматривать иногда, все ли тамъ какъ слѣдуетъ? И когда случатся какія дѣла, чтобъ относились къ нему, и за то, пріѣзжая въ Москву и живя тамъ по цѣлымъ мѣсяцамъ, Еѳимъ Лазаревичъ не зналъ другаго дома останавливаться, какъ только домъ княгини Анны Даниловны, и вотъ сюда-то, подъ надзоръ французскихъ гувернеровъ и чрезвычайно-уважаемаго княгинею приходскаго священника, Еѳимъ Лазаревичъ помѣстилъ учиться сыновей своихъ, сперва старшаго, а потомъ привезъ и младшаго.

Но младшій, во время частыхъ отлучекъ отца изъ дома, получалъ большія поблажки отъ матери, которая, зная, что и этому ея сыну грозитъ тоже судьба ученья далеко въ чу-

жихъ людяхъ, оставляла дитя: «пусть оно маленько побалуется». Уже дитя и очень баловалось, но мать находила случаи прикрывать его шалости отъ отца; и для сильнаго дѣломъ и словомъ Ефима Лазаревича была совершенная неожиданность, когда его дитя уперлось своей большою головой и стало на томъ, что не хочетъ учиться. Ефимъ Лазаревичъ по отцовски взялся за молодца; но сынъ былъ въ отца упрямъ. Что̀ ни дѣлали съ нимъ, ка̀къ ни бились (Ефимъ Лазаревичъ отправлялся въ Москву и везъ съ собою изъ Хвощеватаго пуки розогъ и, вѣроятно, не для одной заботы, чтобъ только провести ихъ восемьсотъ верстъ); но промаялись годъ и другой съ Алексашенькою и Алексашенька ухитрился какъ-то расчесать себѣ ноги и растравить по нимъ раны. Сколько въ Москвѣ ни лечили, раны не заживаютъ, такъ-что отецъ принужденъ былъ взять къ себѣ домой свое непутное дѣтище. Раны скоро зажили; но Ефимъ Лазаревичъ, въ своей глубоко-огорченной душѣ, стыдясь такого сына, который срамилъ его на̀ людяхъ, не повезъ его болѣе въ Москву. Онъ могъ его опредѣлить на службу, потому-что тогда тринадцатилѣтніе мальчики совершенно могли состоять на дѣйствительной службѣ; но ученье все-таки составляло главную заботу Ефима Лазаревича. Онъ не могъ примириться съ мыслію, чтобъ сынъ его безчестилъ родъ Лохвицкихъ своею безграмотностью! Грозой онъ сталъ надъ сыномъ и, пріискавъ ему въ учители кого-то изъ духовнаго званія, настоялъ на томъ, чтобъ хотя дѣдовская грамота далась Алексашенькѣ, и она, нѣчего дѣлать, далась ему.

Въ это время къ хорошему знакомому и пріятелю нашего дома, нѣкоему Чернову, или Черняеву, пріѣхалъ изъ Могилева его братъ, служившій тамъ главнымъ начальникомъ при таможнѣ. Ка̀къ пріѣзжему довелось увидѣть молодую красивую жену стараго старо-оскольскаго секретаря—не сохранило намъ преданіе никакихъ сказаній; но только гласитъ оно кратко, что понравились они другъ другу. Въ то екатерининское время наши русскіе нравы очень и очень позаим-

ствовались отъ нравовъ французскихъ и украсть чужую жену да еще у стараго мужа было дѣломъ вовсе не необыкновеннымъ и не совсѣмъ-рѣдкимъ. Только въ совѣстливомъ простосердечіи русское благонравіе пыталось еще прикрыть дѣйствіемъ святаго закона вопіющую беззаконность поступка и непремѣнно требовало, чтобъ обвѣнчаться. Но обвѣнчаться отъ живой жены, или отъ живаго мужа, не составляло тогда вовсе никакого затрудненія. Если не совсѣмъ по близу̀, то всегда на слуху̀ находился попъ, который даже и не за большую плату готовъ былъ перевѣнчать молодца съ чужою женою. Спрашивать явившихся къ вѣнцу, попъ ни о чемъ не спрашивалъ и, для спокойствія ихъ совѣсти, даже прималчивалъ при обрядѣ извѣстныя слова: *не обѣщался ли еси, или не обѣщалась ли?* и прямо переходилъ къ вопросу; *хощеши ли пояти сію въ жену?* и, разумѣется, получалъ чистосердечное: *хощу*. Затѣмъ кощунство надъ таинствомъ брака совершалось и нехлопотливая совѣсть лицъ, принявшихъ обрядъ, являлась совершенно-удовлетворенною. Но важнѣе всего, что и общество было довольно и его нравственная потребность только настоятельно освѣдомлялась: вѣнчались ли? Можно судить, что участіе въ подобныхъ дѣлахъ не считалось даже вовсе предосудительнымъ, когда жена Ефима Лазаревича—лицо самое видное въ ея кругу, и она взялась, по дружбѣ съ братомъ, украсть пріѣзжему Чернову секретаршу! И прабабушка украла ее, какъ долгъ по тогдашнему требовалъ, перевѣнчала, и эта чета нѣсколько времени передъ своимъ отъѣздомъ жила въ домѣ Ефима Лазаревича—хотя справедливость требуетъ замѣтить, что въ Москвѣ онъ былъ—не было на ту пору дома прадѣда (*).

(*) Но объ этихъ странныхъ вѣнчаніяхъ и объ этихъ попахъ, стоявшихъ въ-уровень, если еще не гораздо-ниже той нравственной ступени, на которой стояло наше средневѣковое общество, можно было бы написать куда какую живую и очень-занимательную исторію! У насъ въ домѣ была чрезвычайно-уважаемая женщина «мама Ирина» и ея сынъ, Алексѣй; молочный братъ матушки былъ женатъ такимъ образомъ: Полюбилась ему солдатка;

И вотъ, въ большомъ желаніи отблагодарить чѣмъ-либо Вѣру Григорьевну за ея благоуспѣшное содѣйствіе, Черновъ просилъ и неотступно настаивалъ, чтобъ отдали ему на руки Алексашеньку, что онъ опредѣлитъ его при себѣ на службу въ таможнѣ и будетъ ему вмѣсто отца и матери. Кажется, прадѣдушка немного добраго ждалъ отъ сына и, при другихъ своихъ заботахъ, не слишкомъ озабочивалъ себя устройствомъ его служебной участи, тѣмъ-болѣе мать, можетъ-быть, смутно сознавая вину свою, желала всемѣрно устроить судьбу Алексашеньки и очень-рада была случаю отдать его на хорошія руки. Алексашеньку увезли въ Могилевъ, и Черновъ добросовѣстно исполнилъ свое обѣщаніе, опредѣливъ его на службу, и Алексашенька, какъ родное дитя, сталъ въ домѣ настоящимъ семьяниномъ. Черновъ довѣрялъ ему вполнѣ. У

но, вѣдь, что такое солдатка и еще былаго екатерининскаго времени? ни вдова, ни мужняя жена. Живъ ли, умеръ ли ея мужъ?—неизвѣстно. Свидится ли она съ нимъ когда-нибудь, или, оплакавъ его на разставаньи раздирающими душу воплями и слезами, она простилась и увидалась съ нимъ навсегда? Еще въ недавнее время даже существовало постановленіе: если солдатка семь лѣтъ не будетъ имѣть никакого извѣстія о своемъ мужѣ, то она можетъ выйти замужъ за другаго. Но не вышло ли это семилѣтнее время, или по чему другому, только въ приходѣ священникъ отказался перевѣнчать Алексѣя съ солдаткою. Недолго думавъ, Алексѣй отправился въ Васильевъ-Долъ; а въ Васильевомъ-Долу жилъ попъ Ѳедоръ, который не то, чтобъ былъ запрещенъ, а немножко ограниченъ. По маленькому подозрѣнію, что онъ ставилъ бочёнки корчебной водки въ алтарь, у него отобраны были ключи отъ церкви и сданы подъ сохраненіе церковному старостѣ. Когда нужно служить утреню, обѣдню или вечерню, церковный староста идетъ, отворяетъ церковь и попъ Ѳедоръ служитъ; а по окончаніи службы аспидъ глухой и нѣмой—староста преокаянный, затыкающій уши свои отъ прошеній попа Ѳедора, замыкаетъ церковь и беретъ ключи къ себѣ. И вотъ нашъ Алексѣй явился, въ такой бѣдѣ сущему, отцу Ѳедору. «Пойдемъ, дѣти!» сказалъ тотъ, вкусивъ отъ принесеннаго вина умиленія. Привелъ Алексѣя съ солдаткою въ ограду и поставилъ ихъ передъ затворенными церковными дверями. Большой церковный замокъ торчалъ прямо въ лицо пришедшимъ и отцу Ѳедору. «Видите ли, чада моя!» началъ попъ Ѳедоръ съ воздыханіемъ: «сію церковь, мать нашу, и сіи заключенныя врата хитростью злокозненнаго діавола и яко же сей преокаянный замокъ, чада, никоими руками человѣчьими, безъ нѣкоего влагаемаго ключа, отомкнутъ быти не можетъ: тако да будетъ крѣпокъ и цѣлъ союзъ любы вашей, чада моя! Аминь. Цалуйте, чада, замокъ». Чада поцаловали замокъ и бракъ былъ совершенъ.

него, какъ у значительнаго таможеннаго чиновника и богатаго человѣка, была на дворѣ, такъ-называвшаяся, «палатка», большая каменная кладовая, не пустая, уже судя по тому, что стражами къ ней прикованы были на цѣпяхъ двѣ огромныя медіоланскія собаки, страшно-злыя, къ которымъ никто не могъ приступить и ихъ кормилъ самъ одинъ хозяинъ; но впослѣдствіи времени Черновъ и этихъ собакъ кормить довѣрилъ Алексашенькѣ. Между-тѣмъ, не имѣя собственныхъ дѣтей, Черновъ взялъ двухъ племянницъ отъ брата вмѣсто дочерей себѣ, дѣвушекъ уже довольно на возрастѣ. Знаю, что одну изъ нихъ звали Ѳекла. Вотъ и составилась у Чернова замѣчательная семья: чужая жена, двѣ не своихъ дочери да пріемный сынъ. Алексашенька не даромъ лелѣялся на привольномъ житьѣ: сталъ показнымъ молодцомъ, Александромъ Ефимовичемъ, съ большою головою, наполненною хитростью... Конечно, немного хитрости требовалось, чтобъ молодому человѣку сойтись съ молодою дѣвушкою, жившею подъ одной съ нимъ кровлею—и сошелся съ Ѳеклою Александръ Ефимовичъ; а они вдвоемъ положили обобрать благодѣтеля и дядю, уйти и обвѣнчаться, гдѣ найдется удобнымъ. И это было совершенно-удобно для Алексашеньки. Черновъ довѣрялъ ему, какъ самому себѣ. Страшныя собаки, никого недопускавшія на разстояніи своей цѣпи, знали того, кто ихъ кормилъ, давали ему свободный доступъ въ палатку и три ночи выбирался съ Ѳеклою Александръ Ефимовичъ, семь подводъ нагрузилъ, на восьмой они сами отправились. Но, къ счастью, другая сестра ревновала къ Александру Ефимовичу и скоро открыла все: ихъ нагнали и воротили назадъ. Не знаю, какое наказаніе постигло Ѳеклу; но добрый Черновъ, справедливо-взбѣшенный недостойнымъ поступкомъ своего пріемыша, посадилъ его на жидовскую пѣгую слѣпую кобылу и велѣлъ отправляться домой.

Къ счастью, Ефимъ Лазаревичъ уже лѣтъ пять, какъ умеръ и не принялъ на свою голову позора своего недостойнаго сына! Но за то старшему брату, моему родному дѣду, до-

велось претерпѣть всю силу «конфуза». Дѣдушка мой gentil'homme petitmaitre, щеголь, красавецъ своего времени, только-что женился и со всѣми свадебными гостями привезъ къ себѣ свою молодую жену. Веселятся они въ Хвощеватомъ (которое дѣдушка, какъ *новый* человѣкъ екатерининскаго времени, успѣлъ уже переименовать въ *Веселое*); вдругъ гости начинаютъ замѣчать, что съ той большой дороги, проложенной Башиловымъ, что-то странно движется въ Веселое: едва-едва пойдетъ и остановится... Когда это *что-то* додвигалось, успѣвъ возбудить всеобщее любопытство и ожиданіе, то это оказалась пѣгая слѣпая кобыла, едва-переставлявшая отъ усталости ноги, и на ней, въ самомъ неблагопріятномъ видѣ, съ растрепанной большой головою, сидѣлъ братъ родной красиваго, щегольски-наряженнаго и пировавшаго свой пиръ *князя молодаго!*

И такъ Александръ Ѳеимовичъ, учась и недоучившись, служа и недослужившись, пожаловалъ домой. По прибытіи его послѣдовалъ раздѣлъ между братьями. Какъ меньшій, Александръ Ѳеимовичъ получилъ старинное мѣсто жительство отцовское въ городѣ и основался тамъ жить при матери; а Григорій Ѳеимовичъ окончательно занялъ свое Веселое. Но надобно сказать, что былъ еще братъ, Иванъ Ѳеимовичъ, отъ первой жены прадѣдушки; но какъ онъ очень пилъ, еще при отцѣ женился, дѣтей у него не было и старѣе онъ былъ братьевъ по-крайней-мѣрѣ двадцатью годами, то онъ какъ бы отчуждился отъ нихъ и они отъ него. Ѳеимъ Лазаревичъ былъ совсѣмъ недоволенъ имъ, чтобъ давать ему имѣніе при своей жизни; умеръ онъ—раздѣлъ мѣшкался вотъ до пріѣзда Александра Ѳеимовича и бѣдный Иванъ Ѳеимовичъ, еще при своей несчастной слабости, находился въ очень стѣсненномъ положеніи. Онъ жилъ, пожалуй, въ одномъ изъ имѣній отца, но жилъ очень-ограниченно въ своей волѣ. Мачиха—и потому-что она мачиха, и по слабости Ивана Ѳеимовича—не давала ему ничѣмъ завѣдывать и распоряжаться. Анна Лазаревна, какъ близкая родственница, все знала и вѣдала и тотчасъ

демъ глубоко разбирать, въ какой мѣрѣ Григорій Ѳеимовичъ и Александръ Ѳеимовичъ должны были негодовать на Анну Лазаревну, обобравшую кругомъ ихъ брата. Мы только взглянемъ на это дѣло такъ, что Иванъ Ѳеимовичъ, неимѣвшій у себя наслѣдниковъ и при его образѣ жизни не могъ же еще прожить ста лѣтъ, уже проживъ подъ пятьдесятъ; а когда умиралъ онъ, имѣніе сполна поступало братьямъ, а теперь оно поступило къ Аннѣ Лазаревнѣ. Въ третьихъ, Анна Лазаревна, влѣпивъ только свою лапку, по привычкѣ, силилась овладѣть бо̀льшимъ. Такъ, имѣя въ своемъ полномъ и безспорномъ обладаніи Верхнюю мельницу, доставшуюся, какъ я говорила, на часть Ивана Ѳеимовича, Анна Лазаревна не довольствовалась ею, а врывалась еще въ Богодуховскую мельницу на томъ де основаніи, что Иванъ Ѳеимовичъ продалъ ей свою часть *во всѣхъ отцовскихъ имѣніяхъ*; а она, Анна Лазаревна, въ Богодуховкѣ и мельницѣ ея части слѣдуемой не получала.

Можетъ-статься, она бы и получила ее, внѣдрившись силою, потому-что старшій владѣлецъ, Григорій Ѳеимовичъ, вовсе не имѣлъ таланта справляться съ подобнаго рода женщиною и еще родной тёткою. Къ-тому жъ онъ искалъ тогда мѣсто стряпчаго, получилъ его и уѣхалъ въ Путивль; Анна Лазаревна оставалась на свободѣ—но, нѣтъ! Въ своемъ крестномъ сынѣ, Головатомъ Александрѣ Ѳеимовичѣ, она нашла себѣ равносильнаго и по всему достойнаго соперника.

Должно-быть, пренебрегая молодостью и, по ея мнѣнію, неопытностью противника, Анна Лазаревна слишкомъ-самонадѣянно вздумала оскорблять его. *Сынашко мій!* говорила она и только она провѣдаетъ (на то у нея были свои соглядатаи), что «сынашко» уѣхалъ въ Бѣлгородъ и куда въ другое мѣсто, что ему эту ночь и другую не вернуться, Анна Лазаревна сбираетъ изъ своихъ хуторовъ подводы, вооружаетъ людей кольями и дрекольями и, самолично предводительствуя поѣздомъ, наѣзжаетъ въ ночь на Богодуховку. (Отъ острова, гдѣ она жила, это было верстахъ въ десяти.)

смекнула дѣломъ, какъ ей взяться, чтобъ извлечь для себя огромную пользу. Своими сожалѣніями и родственными гореваньями объ утѣсненіи, терпимомъ отъ мачихи и ближнихъ родныхъ, она совсѣмъ осѣтила бѣднаго Ивана Ѳеимовича и, при его нетрезвомъ состояніи, ей было вовсе легко выманить у него форменный актъ, что онъ ей продаетъ во всѣхъ отцовскихъ имѣніяхъ, какъ-то: хуторѣ Хвощеватомъ, Богодуховкѣ, Покидовой, Терновой и Коломыцевскомъ участкѣ, слѣдуемую ему часть, которую онъ имѣетъ получить при раздѣлѣ съ братьями. Въ замѣнъ чего Анна Лазаревна давала тотъ же часъ Ивану Ѳеимовичу, чтобъ избавить его отъ утѣсненья мачихи, тридцать десятинъ земли да плохую колотовку-мельничку на такъ называвшемся Колодезѣ Сагайдачнаго.

Раздѣлъ совершился мирно и довольно-добросовѣстно. Прабабушка брала свою вдовью часть и на долю Ивана Ѳеимовича пришлась половина земли въ Хвощеватомъ, и остальная въ Покидовой и Терновой. Изъ четырехъ мельницъ по рѣкѣ Корочѣ, оставленныхъ Клименту Петромъ, Гнѣздиловская и Куцовская поступили въ родъ Ивана Лазаревича, наслѣдовавшаго по праву меньшаго сына и отцовскую Лазаревку; а во владѣніи нашего рода были мельницы Верхняя и Богодуховская, такъ названная отъ казака Богодуха, у котораго она была куплена съ лѣсомъ и прилегающими вокругъ землями десятинъ на двѣсти. Вотъ Верхняя мельница поступила на часть Ивану Ѳеимовичу, а Богодуховская, при которой было два мукомольные амбара, досталась пополамъ на двухъ братьевъ, Григорія и Александра Ѳеимовичей. Казалось бы, раздѣлившись безъ ссоры, можно было и начать жить довольно-мирно; но вѣдь часть Ивана Ѳеимовича доставалась не ему, а брала ее во владѣніе Анна Лазаревна. Въ этомъ залегала основа всевозможныхъ ссоръ.

Во первыхъ, сосѣдство Анны Лазаревны никому не могло быть пріятно; во вторыхъ, самый способъ ея, какимъ она внѣдрилась въ середину нашихъ Лохвицкихъ, питалъ противъ нея духъ сильнѣйшаго недоброжелательства. Мы не бу-

Тутъ она беретъ мельницу приступомъ, забираетъ въ ней весь помолъ: муку, крупу, пшено, даже кадки, ковши — ничего не оставляетъ, очищаетъ мельницу до порошинки. Разъ, Анна Лазаревна даже мукомольные камни съ ихъ мѣста сдвинула, но не могла поднять и оставила среди плотины. Перенесъ Александръ Ефимовичъ эти наѣзды разъ и два раза, и въ третій удалось Аннѣ Лазаревнѣ; въ четвертый «сынашко» начинаетъ громко поговаривать, что онъ ѣдетъ въ Бѣлгородъ на недѣлю и выѣхалъ онъ прямо по бѣлгородской дорогѣ; за нимъ прослѣдили версты двѣ и четыре. «Ѣдетъ въ Бѣлгородъ», докладываютъ соглядатаи Аннѣ Лазаревнѣ. А еслибъ Анна Лазаревна да не пренебрегала молодостью и, какъ она думала, неопытностью своего «сынашки», она бы обратила вниманіе на слишкомъ что-то явныя приготовленія его къ отъѣзду! Анна Лазаревна велѣла бы слѣдить за нимъ не четыре и пять, а десять верстъ и тогда бы увидѣли, что онъ вовсе не поѣхалъ въ Бѣлгородъ, а поворотилъ онъ въ братнино сельцо Веселое, забралъ тамъ трехаршинныхъ молодцовъ, русскихъ людей, взятыхъ за невѣсткою въ приданое, и къ ночи поспѣлъ опять въ Богодуховскій лѣсъ и залегъ въ засадѣ за сугробами. Ничего того не знала и не подозрѣвала Анна Лазаревна и о полночи огуломъ наѣхала на мельницу. Но здѣсь она уже все узнала... Сынашко, какъ говорится, накрылъ ее. Порубилъ ей всѣ сани, оглобли, отнялъ всѣхъ лошадей и, захвативъ самоё Анну Лазаревну, вовсе не шутя, тащилъ ее къ проруби топить. *Сынашко мій! голубчику!* цѣплялась она ему за ноги... *И до віку, до року не буду!* налагала на себя заклятіе Анна Лазаревна. «Нѣтъ!» гремѣлъ распаленный сынашко: «въ прорубь ее, старую вѣдьму!» и только наконецъ *ради креста* помиловалъ. Анна Лазаревна сдержала свой зарокъ и, уронивъ въ прорубь свои башмаки, съ тѣхъ-поръ уже въ Богодуховку ни ногою.

—«Ну, братъ, люди у тебя—лихой народъ! Одинъ на четверыхъ такъ и лѣзетъ». Въ упоеніи своей побѣды былъ

великодушенъ Александръ Ѳеимовичъ и дѣлилъ славу съ своими подвижниками.—«Я бы тебѣ, братъ, Григорій, за нихъ половину своихъ хохловъ отдалъ».

И такіе молодцы точно были нужны Головану, Александру Ѳеимовичу...

Надобно сказать, что вскорѣ послѣ смерти Ѳеима Лазаревича, сторонники того графа Девіера, который жилъ у себя въ Погромцѣ на Осколѣ, угнали у насъ цѣлый табунъ, такъ-что изъ ста слишкомъ лошадей, остался одинъ маленькій жеребенокъ, связанный и брошенный въ кусты. Сыновья были молоды и находились далеко по разнымъ мѣстамъ на службѣ; а сама прабабушка—женщина, что она могла сдѣлать? Въ ту же ночь табунъ былъ разбитъ на нѣсколько частей и двинутъ разными путями. Пока избитые и скрученные арканами табунщики могли доползти на утро и объявить о случившемся, всѣ поиски были совершенно-тщетны. Нагнать ни одной партіи лошадей не успѣли, и хотя достовѣрно знали, что это дѣло извѣстной шайки графа; но что можно было предпринять? Повести дѣло судебнымъ порядкомъ и въ голову не могло приходить прабабушкѣ. Тягаться съ графомъ, да еще онъ былъ иного намѣстничества? Богъ съ нимъ совсѣмъ! Оставалось покориться несчастью. Но вотъ, когда Александръ Ѳеимовичъ, по прибытіи изъ Могилева, основался дома, его стала занимать мысль: нельзя ли какъ нибудь, если не воротить лошадей, то хотя получить за нихъ какое вознагражденіе. И чтобъ завести объ этомъ переговоры, онъ поѣхалъ къ графу. Графъ принялъ его и сознался, что точно его люди «немного пошалили», и что объ этомъ дѣлѣ можно поговорить и уладить его; но онъ проситъ пожаловать въ другой разъ Александра Ѳеимовича, а теперь не время. И между-прочимъ, онъ чрезвычайно обласкалъ гостя и какъ графу нужно было постоянно сбывать и перемѣнять лошадей, которыя сводились къ нему поодиночкѣ и препровождались цѣлыми партіями, то у него былъ почти заведенный порядокъ: что никто, пріѣхавши къ

нему въ домъ, не выѣзжалъ на тѣхъ же самыхъ лошадяхъ, если онѣ были мало-мальски не изъ-рукъ-вонъ плохи. Обыкновенно гостю предлагалось помѣняться и, въ случаѣ, если гость не соглашался, то обмѣнъ могъ произойти и безъ его согласія. Ему запрягали въ экипажъ лошадей, сажали на козлы его кучера и, угодно или нѣтъ, а онъ долженъ былъ отправляться. Но въ этомъ случаѣ Александръ Ѳеимовичъ могъ поздравить себя: ему предложены были на обмѣнъ такія лошади, что онѣ вполтора раза болѣе стоили его собственныхъ. Онъ уѣхалъ отъ графа съ убѣжденіемъ, что не такъ страшенъ чортъ, какъ уже его красками пишутъ, и не преминулъ отправиться къ нему въ другой разъ, а за тѣмъ и въ третій...

Графъ заманилъ его; побѣда, блистательно-одержанная надъ Анной Лазаревной, пріохотила къ дѣлу и имѣла прямымъ слѣдствіемъ то, что Александръ Ѳеимовичъ со всѣмъ основался въ Богодуховкѣ. Мать, постоянно-жившая въ городѣ и только наѣзжавшая въ хуторъ, очень-долго ничего и подозрѣвать не могла, да и сынъ слишкомъ выросъ своей большою головою и слишкомъ очерствѣлъ сердцемъ, чтобъ ему было внимать словамъ и слезамъ матери!

И вотъ Богодуховка, въ своемъ картинно-уединенномъ положеніи, на мѣловыхъ лѣсистыхъ горахъ и вся окруженная лѣсами, стала новымъ надежнымъ перепутьемъ для передвиженій шайки графа. Но, не довольствуясь быть членомъ, Голованъ, Александръ Ѳеимовичъ, мало-по-малу сталъ самостоятельнымъ дѣятелемъ. Сподвижниками у него явились собственные закрѣпленные указомъ малороссійскіе крестьяне: Васька Рябой, Грицко Кучерявый, какъ баранъ, Иванъ Шуликинъ, Лысько, переименованный изъ Елисея, Ѳеимъ Тарасенко, кучеръ—цѣлая семья: пять братьевъ Пащенко-Швецовъ, да бѣглые солдаты, да приходскаго села дьяконъ Петръ, да еще толстая баба Маманха и всякой, кого приносило попутнымъ вѣтромъ.

Въ Богодуховкѣ, теперь перешедшей уже въ третьи руки

и до конца обезлюденной отъ прежняго народонаселенія ссылками въ Сибирь, выкупами на волю, солдатствомъ, бѣгами и острогами, едва-ли кто, безъ старожиловъ, можетъ сказать: «что это за *Сыченое?*» А между тѣмъ, всѣ говорятъ: «не ходи купаться къ Сыченому. Гдѣ ловилъ рыбу? У Сыченова». Кто и какимъ медомъ разсытилъ одно мѣсто на текучей водѣ, и именно глухое глубокое мѣсто назади деревни? Что могло дать это странное прозваніе «Сыченое» глубокой ямѣ на Корочѣ рѣкѣ?

Этимъ прозваніемъ увѣковѣчилось одно изъ памятныхъ дѣлъ Александра Ефимовича.

У богатаго пчеловода они напали на амшеникъ, забрали пчелъ, сколько могли взять; въ ту же ночь побили ихъ. Ульи къ утру могли сгорѣть на винокуренномъ заводѣ; но куда дѣваться съ медомъ? Его сложили въ кадки, толсто засыпали и затоптали гречневой мукою (а извѣстно, что мука́ не пропускаетъ воду) и вывезли кадки съ медомъ, затопили ихъ на самомъ глубокомъ мѣстѣ Корочи-рѣки. Понятые съ обыскомъ не замедлили явиться и, по сильному подозрѣнію, все осмотрѣли у Головатаго, который не даромъ былъ великъ хитрой головою и у него не нашли, какова есть тѣнь, подозрительнаго ничего. Но, выходя уже совсѣмъ за ворота, вдругъ увидѣли одну золотую пчелку. Эта пчелка, какъ по ниточкѣ, размотала весь клубокъ схороненнаго дѣла. Со дна рѣки вынули затопленныя кадки съ медомъ и прозвище *Сыченое* народной мѣткою навсегда приложилось къ этому мѣсту.

Но у Александра Ефимовича были дѣла и поудалѣе Сыченова.

На «прощеный день» (что, какъ извѣстно, есть у насъ послѣднее воскресенье передъ великимъ постомъ) бѣлгородскій архимандритъ былъ у кого-то въ городѣ съ своимъ прощаньемъ и, разумѣется, послѣ вечерень уже въ поздніе сумерки. Кучеръ, оставивъ лошадей за воротами, вошелъ погрѣться или, можетъ-быть, его зазвали угостить. На ту

бѣду Александръ Ѳеимовичъ проходилъ мимо и помнилъ пословицу: «на то щука въ морѣ, чтобъ карась не зѣвалъ»; онъ сѣлъ въ санки и укатилъ. Хотя это уже была ночь, но все—лошади и санки архимандрита были слишкомъ-извѣстны въ городѣ, ихъ видѣли и тщательными розысками дошли до Богодуховки. Лошадей, конечно, не нашли, и ни санокъ, ни сбруи; но, при неутомимой изслѣдовательности мало-задобреннаго исправника, выгребая золу изъ большой печи на винокуренномъ заводѣ и пересѣвая ее на рѣшетахъ всѣми собранными бабами, высѣяли изъ золы *одно мѣдное колечко*, которое повело къ допросамъ: зачѣмъ оно попало въ винокуренную печь? и наконецъ, къ доказательствамъ, что точно такія колечки были на уздахъ лошадей архимандрита.

Дѣла тянулись, подводились подъ милостивые манифесты; только по тринадцати уголовнымъ дѣламъ судился Голованъ, Александръ Ѳеимовичъ! Мать дарила всѣмъ, чѣмъ можно было дарить: дѣвками, атласами, жемчугами, старинными родовыми серебряными вещами; продала свою собственную приданую землю, десятинъ до пятисотъ, и все выкупала недостойнаго сына! А Александръ Ѳеимовичъ, какъ *буй-туръ*, упираясь большою головою, не унывалъ и всюду являлся съ своей «козою». Но только это была не вовсе коза; а съ козы снятая шкурка, выдѣланная особымъ образомъ, со всѣми ножками, рожками и козьими копытцами. Изъ нея на славу смастерили чучелу, которая крѣпко стояла на ногахъ; а пустая внутренность козы служила Александру Ѳеимовичу влагалищемъ для тяжелой тогдашней мѣди, которая въ екатерининское время была преимущественно въ обращеніи по малымъ провинціальнымъ городкамъ. Куда ни ѣхалъ Александръ Ѳеимовичъ, коза ѣхала съ нимъ и, входя въ домъ, онъ несъ козу на рукахъ. Въ то время ему настояла всегдашняя потребность задобривать мѣстныя власти и онъ часто пріѣзживалъ въ Корочу играть со властями въ карты и коза, тѣмъ болѣе, сопровождала его. Онъ садился за столъ за карты, а его коза, противоестественно котная мѣд-

ными пятаками, становилась при его колѣнѣ (*). Изъ-подъ

(*) Впрочемъ, не надобно думать, чтобъ *коза* Александра Ефимовича была, вполнѣ-оригинальнымъ, ему одному принадлежащимъ изобрѣтеніемъ—нѣтъ. Мнѣ разсказывалъ Николай Егоровичъ Абражеевъ, теперь купянскій помѣщикъ, а уроженецъ казанскій, что во времена пугачевщины дѣдъ его, бывшій въ то время или передъ тѣмъ временемъ, гдѣ-то воеводою, извѣстенъ былъ своимъ *бычкомъ*, то-есть, что у него въ кабинетѣ стоялъ годовалый бычокъ, наполненный серебряными рублями и этимъ бычкомъ хозяинъ не прочь бывалъ похвастаться передъ гостями. Когда развернулся Пугачъ и началъ сильно помахивать своими крыльями, на крыльяхъ страшной молвы долетаетъ вѣсть, что онъ обѣщается пожаловать *къ бычку въ гости*. Съ преданными людьми дѣдъ моего знакомаго успѣлъ зарыть бычка въ песокъ гдѣ-то на берегу рѣки; но самъ онъ не избылъ страшной бѣды. Пугачевъ налетѣлъ на него ночью; спасенья не было никакого. Онъ истерзалъ и изжарилъ воеводу на медленномъ огнѣ, вымогая, гдѣ бычокъ? Жена воеводы спаслась чудеснымъ образомъ. По простотѣ тогдашней жизни, не смотря на бычка, начиненнаго серебряными рублями, и на то, что она была воеводша, бабка моего знакомаго сама прикармливала свиней и для этого въ ея барскихъ сѣняхъ находилось большое корыто. При страшномъ нападеніи, она выскочила въ сѣни, себя не помня какъ-то бросилась къ корыту и опрокинула его на себя. Три дня въ разграбленномъ домѣ пировала неистовая шайка. Воеводшу искали по всѣмъ малѣйшимъ мѣстечкамъ и уголкамъ дома, искали всюду. Пугачевъ кричалъ: «подать старую вѣдьму!» И сыщики, отыскивая воеводшу, садились на корыто, разсуждали надъ самою головою ни живой, ни мертвой женщины: куда она могла такъ спрятаться, что ее найти нельзя—и никому изъ нихъ не пришло въ голову заглянуть подъ корыто.

Затѣмъ еще, по поводу «козы» и «бычка», мнѣ смутно вспоминается разсказъ про екатерининскаго чудака-старика Демидова, который, будучи обрадованъ рожденіемъ внука, посылалъ кого-то благодарить невѣстку и вынесъ въ карету пару забавныхъ *поросятокъ*, которые оказались набиты червонцами.

И вотъ еще свидѣтельство вполнѣ-новѣйшее. Передъ 1848 годомъ мой покойный братъ, служа юнкеромъ, квартировалъ въ Черниговской губерніи и стоялъ по отводной квартирѣ у одного старообрядца. Не пуская табачнаго дыма подъ иконы и вообще уважая людей, потому-что они люди, братъ снискалъ себѣ большое благорасположеніе своего стараго хозяина и такое довѣріе, что тотъ однажды, выславъ свою семью, сказалъ брату: «Знаешь, ты хоть и того... ну да, путь въ тебѣ есть. Пойдемъ со мною. Помоги ты моей головѣ». Старикъ зажегъ восковую свѣчку и открылъ передъ братомъ въ сѣняхъ яму, куда они и спустились вмѣстѣ. «Вишь-ты расперло ее!» началъ говорить старикъ, «гора горой. Еще-царство небесное—покойный батюшка почалъ и я, вишь, жилъ да клалъ, а теперь и умирать пора. Сколько тутъ этой *дряни*—дай ты мнѣ счетъ». Когда братъ осмотрѣлся въ темнотѣ, онъ увидѣлъ, что погребъ занимала большая цѣльная лошадиная шкура, набитая старыми мѣдными деньгами. Братъ не успѣлъ много сосчитать, имъ назначенъ былъ этотъ несчастный походъ.

нижней челюсти, вмѣсто козьей бородки, у нея висѣлъ замочекъ и коза своимъ краснымъ суконнымъ языкомъ только-что не говорила, какъ ея сказочная соименница: «топу-топу ножками, сколю тебя рожками и хвостикомъ замету!» Но козѣ Александра Ефимовича многое приходилось заметать и не заместь всего.

books2ebooks.eu

www.books2ebooks.eu

eBooks from your library by

eBooks on Demand

digitised by

University of Tartu Library

UNIVERSITY OF TARTU
LIBRARY